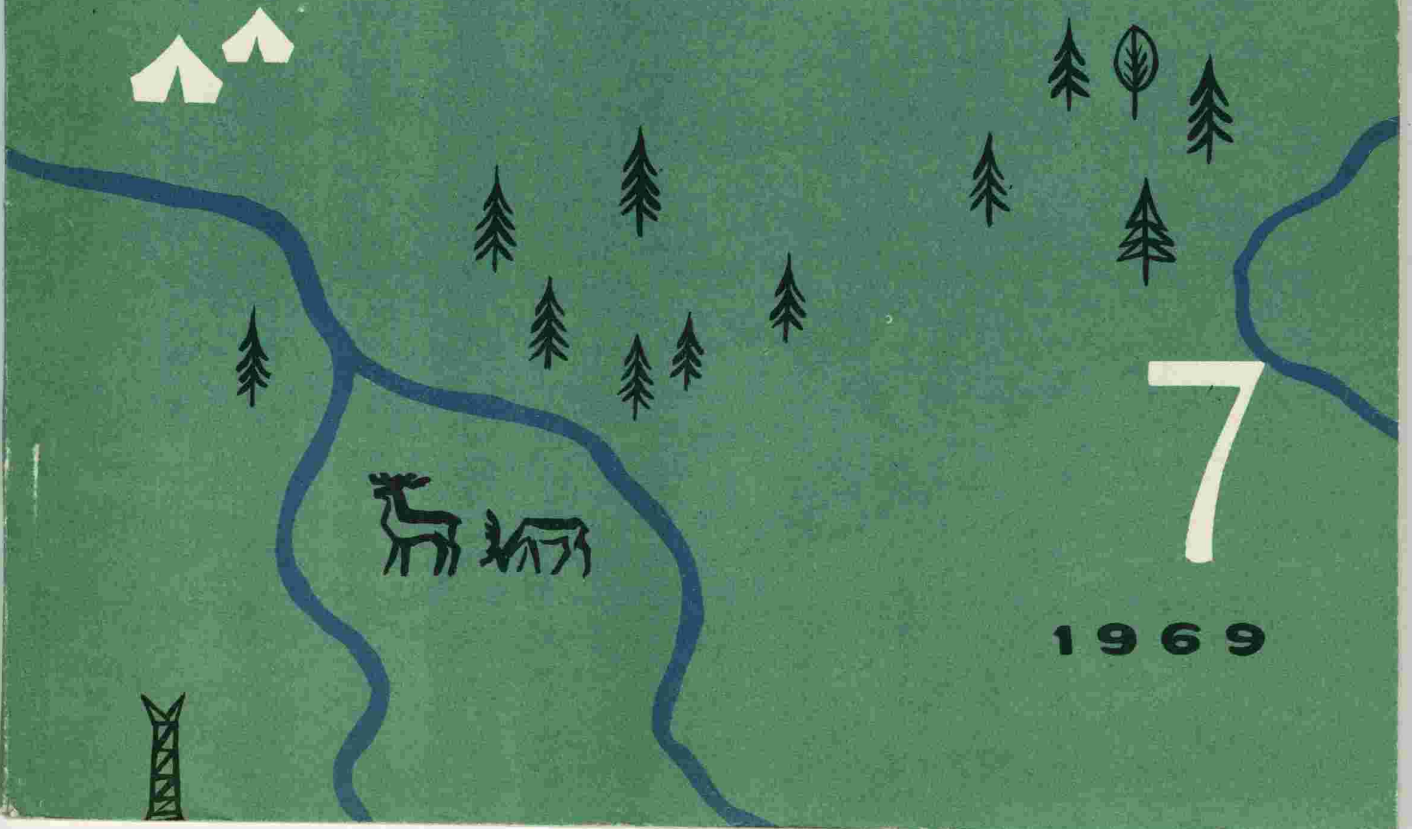
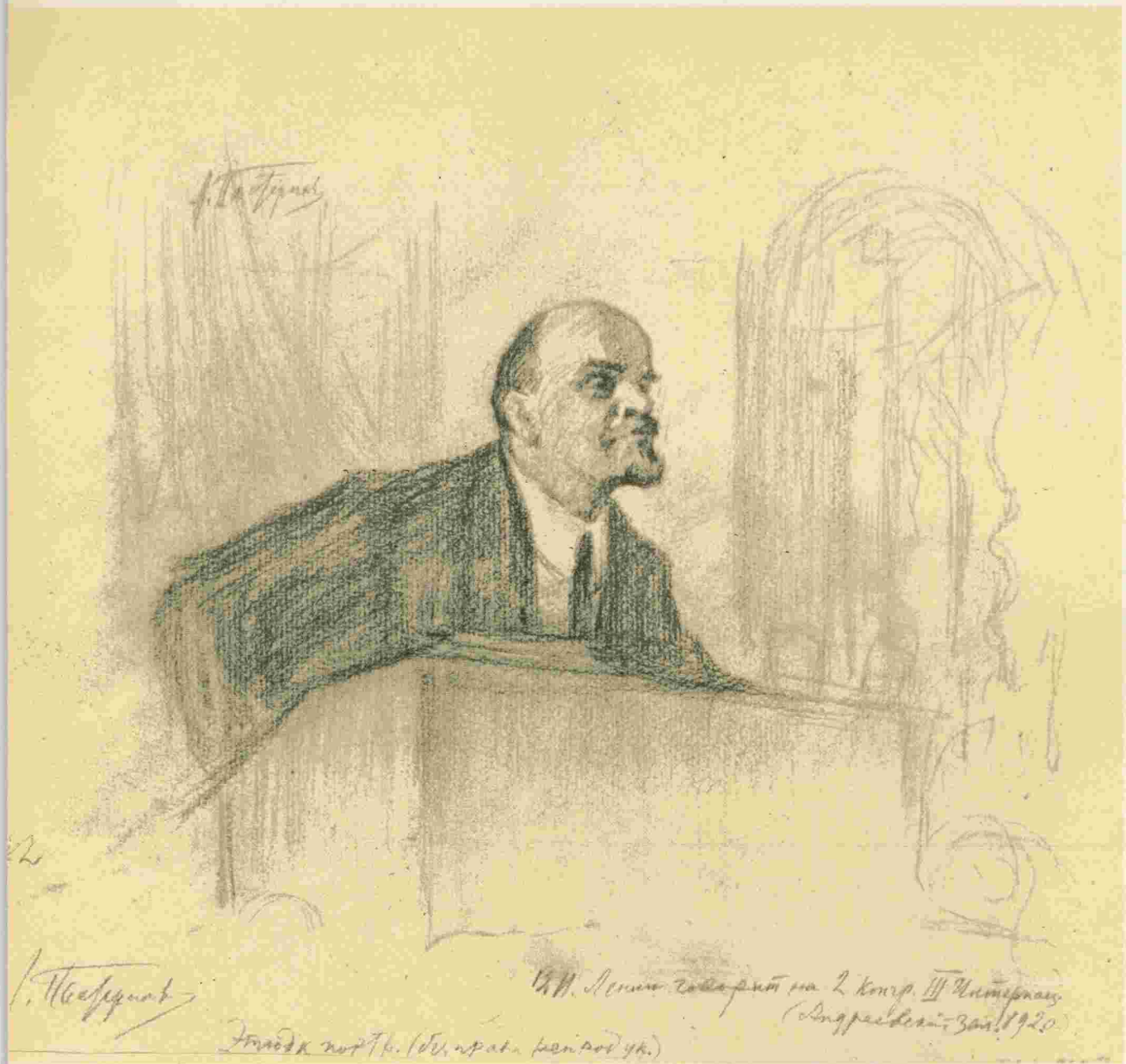




ЮНОСТЬ



1969



Л. ПАСТЕРНАК.

**В. И. Ленин говорит на II конгрессе 3-го Интернационала.
Москва, июль—август 1920 г. Кремль. [Рисунок с натуры]**

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



ГОД ИЗДАНИЯ
ПЯТНАДЦАТЫЙ

7

(170)

ИЮЛЬ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА

- Виталий КОРОТИЧ. Такая недобрая память. Повесть. Перевод с украинского И. Сергеевой 2
- Эдвард РАДЗИНСКИЙ. Капитан Солнцев. Рассказ 47

● ПОЭЗИЯ

- Семен СОРИН. Завещание. «Мы у врага село отбили вновь...». Жить! 42
- Григорий ПОЖЕНЯН. Погоня. Бессонница. Освобождение. «Я старомоден, как ботфорт...» 42
- Владимир ПАВЛИНОВ. Песни. Проводник. Юнна МОРИЦ. В Гурзуфе. «Уже весны преддверье...». Маша. Белое. «Когда мы были молодые...» 44
- Кирилл КОВАЛЬДЖИ. Преображение. Охотник 46
- Олег ДМИТРИЕВ. Детство. Доброта. Воскресенье. Двор. «О, мгновенья тягучие эти!..» 56
- Николай ГЛАЗКОВ. Моим друзьям. Дорога далека 57
- Семен ДАНИЛОВ. Ручей. «Изнурен суетой городской...». «Уж я смотрю на жизнь трезвей и проще...». «Если я в городе занемому...». Перевел с якутского В. Шаргунов 87

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Юрий ЧЕРНИЧЕНКО. Небесная глина 58
- В. СУХОМЛИНСКИЙ. Семья Несгибаемых. Как началась семья 73
- Радий КУШНЕРОВИЧ. Камышинские диалоги 88

● ПОГОВОРИМ
О ПРОЧИТАННОМ

- Феликс КУЗНЕЦОВ. Главная книга. Статья вторая 81

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации 94

● ПУТЕШЕСТВИЯ

- Владимир СТУПИШИН. Через океан на «клочке бумаги» 96

● ДЕБЮТЫ

- Михаил ЛЕВИТИН: «Спектакль — монолог режиссера» 101

● СПОРТ

- Станислав ТОКАРЕВ. Тебе, последнему из золотой шестерки! 103

● «ПЫЛЕСОС»

- Владимир ГОНИК. Красивый досуг Ложкина 106
- Каков вопрос — таков ответ! 108
- Вл. ВЛАДИН. Пятерка за дело 108
- Николай ИСАЕВ. Одуванчик 110

● НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

- Ю. ЦИШЕВСКИЙ. Ритмы Молдавии 112

На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Я. Борисов.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47.

Рукописи не возвращаются.

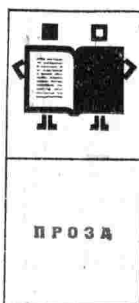
А 06072.

Подп. к печ. 27/VI. Формат бумаги 84×108^{1/16}

Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 100 000 экз. Изд. № 1362. Заказ № 1355.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Виталий Коротич



ТАКАЯ НЕДОБРАЯ ПАМЯТЬ

ПОВЕСТЬ

Рисунки
В. Гальдяева.

Марта напряглась, как стебель под ветром. Самолет занял и качнулся в воздухе, выбросив из дюз длинные витые шлейфы.

— Принесите мне бутылку содовой,— сказал кто-то рядом с Мартой.— И немного льду.

— Девушка,— человек с переднего сиденья повернулся к ней, положив подбородок на высокую спинку кресла,— вы не пьете вина и не смотрите в окно. Девушка, вы прилетите в Европу грустной и одинокой, если не увидите ни одной птицы.

— А разве здесь летают птицы!

Человек с переднего сиденья засмеялся, помотал головой, а потом снова положил подбородок на белую спинку кресла, которое наклонилось к ней еще ближе.

— Нужно искать птиц — и они обязательно появятся. Они вылетят нам навстречу, как только мы приблизимся к земле. Вы должны увидеть огромную птицу в розовом оперении, что одиноко кру-

жит по небу, выматривая нас.

— Вы художник?

— Нет, я военный летчик. Утром у всех птиц перья становятся розовыми, и тогда они могут

взлететь в чистое небо, высоко, туда, где, кроме солнца, нет ничего. Ничего, кроме нас, наверное. Я военный летчик.— Мужчина взял со столика маленький прозрачный бокал, где покачивалась зеленоватая жидкость.— Пью за ваше здоровье. Когда увидите птицу, разбудите меня, хорошо! — Он звякнул тонким стеклом о борт, посмотрел в иллюминатор и выпил, проследив суженными зрачками, как последняя капля скользнула по влажной стенке рюмочки и вытекла из нее.— Как вы думаете, смотрит сейчас на небо моя жена, ожидая наш самолет! — спросил летчик сам у себя и посмотрел на каплю вина, которая расплывалась по белому чехлу кресла у него в изголовье.— Как вам кажется, девушка, она знает, что мы летим!

Марта никогда не думала, что небо бывает таким синим и так одиноко лететь в нем. Словоохотливый летчик задремал; стюардесса опустила плотную занавеску на его круглом окне и усмехнулась Марте. Моторы негромко гудели. В Европе была еще ночь: птицы Испании спали в своих мягких гнездах. Девушка улыбнулась — она очень любила птиц. Она любила даже сову, которая жила за фермой и ухала в лесу и у них на крыше до тех пор, пока петух не прерывал ее своим криком и выходили из конюшни потревоженные рассветом кони, а коровы били копытами в землю, и трава, зажженная солнцем, колыхалась, как зеленый огонь, и роса катилась по ней — прозрачная кровь ночи.

Стюардесса наклонилась к Марте:

— Вам принести содовой со льдом? Сегодня все непрерывно пьют содовую.



Печатается с сокращениями.

Марта отрицательно покачала головой и прислушалась к бормотанию моторов; сквозь шум было слышно, как где-то рядом открывают бутылку с шипучкой. Звук возникали по очереди и по очереди замирали: сперва затих плеск воды, чуть позже отдалились от Марты и легкие стюардессины шаги. Потом для нее смолкли и моторы, к их монотонному гулу, оказывается, можно привыкнуть — тогда уши уже не болят и тишина в самолете не удивляет; Марта несколько раз ловила себя на том, что не слышит моторов, и испуганно глотала слюну, чтобы уши снова заболели от рева четырех двигателей под серыми крыльями «боинга».

Дохнув на Марту мятым запахом жевательной резинки, женщина из заднего ряда просунула голову между кресел:

— Вам не кажется, девушка, что моторы останавливаются, мы упадем вниз, в океан, и никогда не выплывем?

— Нет, — испуганно оглянулась Марта.

Летчик, что спал впереди, проснулся и посмотрел на Марту.

— Лайнер падает иначе. Он свистит, и все внутри вопят. Лайнер очень сильно свистит. — Мужчина подмигнул Марте, свистнул и снова закрыл глаза. Потом приоткрыл один: — У вас есть снотворное? Мне, когда я плохо сплю, снятся самолеты, кабины пилотов, а теперь, только проснусь, вижу красивую девушку. Хотел бы я поменять свой сон на реальность: у вас есть такое снотворное, чтобы можно было крепко спать и одновременно видеть вас?

Марта покачала головой.

— Нет.

— Вы уверены! — Мужчина с переднего сиденья открыл другой глаз и уставился на нее. — Я убиваю вас: бум-бум-бжж! — Глаза над белым чехлом кресла были очень серьезными. — Бум-бжж! — повторил летчик.

— Все, — ответила Марта, — вы меня ранили.

— Все раны в воздушном бою смертельны. — Мужчина все еще не поднимал головы, и она видела только его лоб и глубоко посаженные глаза.

Их лайнер резал голубое небо Испании и, перевалив через невидимые Пиренеи, брел над серединой Европы; в небе нет границ, и самолеты, словно птицы, не всегда знают, чей ветер держит их крылья. Марта знала, что сейчас под ними Атлантика — расчерченные границами берега и ничейный гигантский водный резервуар, где рыбы тоже пересекают невидимые пунктиры границ, заплывая в воды неведомых им держав, и ловятся в сети, закинутые с таких громадных кораблей, что засыпают до того, как увидят флаг на мачте, как поднимают их на высокий борт, как развяжут тугую сетку их последнего плена.

Самолет погрузился в ночь — сверкающая птица в черной беспросветности, он светился только собственным пламенем, собственным дыханием, которое вырывалось из-под опаленных его крыльев.

Летчик взял бутылку и пересел на кресло рядом с Мартой. Он зажмурил оба глаза и дал понять, что ему очень не по себе, потом раскрыл один глаз — он раскрывал глаза по очереди — и прошептал:

— Зовите меня Бобом! — Поставил бутылку и смотрел, как плещется в ней нежно-зеленая жидкость. Боб разговаривал сам с собой: — Самолеты не выносят пьяных пилотов. Летчику можно пить только в пассажирском кресле. И только в присутствии такой девушки, какая сидит сейчас рядом со мной.

Он говорил очень быстро, и Марта временами не могла понять, чего он хочет, этот человек в штат-

ском костюме, стройный, с густыми русыми волосами, разделенными сбоку четкой линией пробора. Она знала уже, что его зовут Робертом, и что пилот должен быть трезвым, и что самолеты свистят, когда падают с выключенным мотором.

— Вы как стебель, — сказал летчик и поставил стакан перед собой на столик. — Вы как стебель травы. Я сидел когда-то в Дахау, осенью мы умирали от голода, и ребята возносились на небо в виде дыма. Весной я увидел стебелек, который продрался сквозь вытопанный наш апельплац и торчал в нем, как маленький гвоздочек. И я понял, что проживу до конца войны и вернусь к себе в Монтану. Вы словно тот стебель на апельплаце.

Марта не знала, что такое апельплац, и лишь краем уха слышала о лагерях для пленных. Но она чувствовала, как хочется мужчине, который сидел рядом, говорить с ней и пить; она не могла оттолкнуть его от себя и в то же время была не в состоянии проникнуться чужой болью, потому что собственная, казалось, раздирает ее...

— Трава в Дахау никогда не бывала зеленее этого вина. — Боб потряс бутылку перед своим лицом. — Мы ели траву и счастливы были найти хоть немножко бледных стебельков, мы подбирали эти стебли, как ничтожные фермерские овцы в засуху. Но перед этим я успел побыть радистом — мы трижды вылетали на Мюнхен. Я был радистом и стрелял, стрелять приходилось мало, потому что нас встречали зенитки. Нас сбили так: снаряд взорвался в моторе, и пилот погиб, не раскрыв парашюта, а я чувствовал под ногами чужую землю ровно три минуты. Пока меня не схватили сзади и не подняли в воздух. Я не видел этих людей и не смог сопротивляться.

— Какой ужас! — Женщина сзади просунула голову меж креслами. — Господи, какой ужас! Почему вы так спокойно слушаете, девушка! Что за молодежь!..

Марта подумала, что сейчас апрель и на их ферме тает снег. Ослепительно белое пространство вокруг тает, прогретое весной, и возвращается по крохам то, что забирало изо дня в день. Сперва возвращаются мокрые тряпки — это лоскутки разорванного платья сдуло с веревки на дворе и засыпало последним мартовским снегом. Потом появляются окурки, раскиданные в феврале фермерами, которые съезжались со всей округи на похороны отца. Когда еще немножко снега вернется в землю, проглянут сосновые ветки, которыми украшали дом на рождество, а еще позже — ржавая подкова, которую отец положил под лавкой в ноябре, перед снегом.

— Что было дальше! — спросила Марта громко.

— Что было дальше! — повторила женщина сзади.

Летчик разговаривал сам с собою:

— Мы бомбили Мюнхен. Уже потом, после войны, я смотрел, как люди раскапывали кучи красной черепицы, в которые я превратил их улицы. Удивительное дело, когда мне рассказывали, что мы уничтожили жилые районы и дети по двое суток плакали в заваленных мною подвалах, я был совершенно спокоен и чувствовал себя правым, — это может быть доступно только истинному солдату, который выполняет все приказы без размышлений. Германия была чем-то единым и враждебным: вся земля стреляла по нашему самолету, а потом — я узнал это в Дахау — не хотела родить для нас даже травы. Вы слышите меня, девушка! Вы, как травинка... — Летчик посмотрел на нее и сделал быстрое движение ладонью вверх, словно проследивал за лезвием стрелы побега, нацеленную острием в небеса.

— Какие они красивые, эти послевоенные дети! — произнесла женщина сзади.

...Марте едва исполнился год, как мать убили. В Мюнхене. Они ее даже не похоронили, потому что улица рухнула вся сразу, как одна стена, и не было слышно криков, не были сказаны последние слова, и все погибшие остались навечно замурованными в камне, в общем своем мавзолее на чужой земле, и чужие слова о них ворочались в черных провалах репродукторов, которые сообщали о новых воздушных налетах, никому уже не страшных, потому что как бы ни тяжело жилось человеку, его нельзя убить дважды. Репродукторы в руинах умершей улицы разглагольствовали не очень долго: бомба взорвалась на радиостанции, лишив ее голоса.

Отец поставил свечу на стол и тихо молился. Отец просил у бога покоя для своей мертвой жены и для Украины, что осталась за их спинами, обгоревшая и невероятно далекая. Отец молился, а потом упал лицом на стол и лежал так до тех пор, пока свечка не догорела, последняя, давно береженная свечка.

Марте был тогда годик, и голос матери так никогда и не вернулся к ней. Марта сидела на том же столе, по другую сторону свечи, напротив отца, и смотрела на его слезы, которые стекали по черному лицу, словно стеариновые. Удивительно, думая потом о своем сиротстве, Марта не обвиняла летчика, который закидал бомбами людный район, завалил камнями мать и убил голос в репродукторах.

В руинах аптеки отец нашел склянки с рыбьим жиром — Марта до сих пор сохранила во рту этот привкус, — так она осталась жить.

— Какие они красивые, эти послевоенные дети! — повторила женщина, держа голову между креслами.

Марта молчала.

— Вы совсем не пьете, — сказал летчик, — не сердитесь, что я делаю это без вас. Оно, знаете, всегда так — трудно одному. Я встречаю парней, которые возвращаются из полетов на одноместных высотных самолетах, — мне уже поздно садиться в такой. Они возвращаются совсем чужие, одинокие, выходят на аэродромные плиты, сдирают с голов прозрачные шлемы и расстегивают, расстегивают, расстегивают узкие комбинезоны на проволочных каркасах. Мне уже поздно садиться в одноместный самолет — я привык разговаривать в полете и смотреть в лицо соседу, — мне тяжело там, в одноместном, и легкие мои не выдерживают. Вы знаете, когда мы сбрасывали бомбы на Мюнхен — на огненную землю, я уже тогда думал, что не смог бы один в самолете. Вам интересно? Я хочу вам рассказать еще об одном, не знаю только, интересно ли вам это? Как вас зовут!..

Ну вот, Марта. Моя жена — немка из недобитого мною Мюнхена, я уничтожил ее отца, мать и еще каких-то родственников, а потом стал ее мужем — она меня любит, единственная, может, женщина в мире, которая еще любит меня. Она и первая моя женщина в то же время, по-настоящему первая. — Летчик ударил обоими кулаками по спинке собственного кресла, которое белело впереди. — Мы выполняем приказы. Мы приходим к своим женам и остаемся с ними, пока нас не позовут для выполнения новых приказов. Играть трубы «та-ра-ра», барабанишки поднимают палочки, сержант стягивает живот — никто не знает, что прикажут, но все рады, как псы. Вы не знаете об этом, девушка. Вы очень много о чем не знаете. Вы как стибелек...

Помолчал. Звякнул стаканом, надев его на бутылку. Покачал — вышло, как маленький колокол. Когда самолет качнуло, стакан зазвенел, даже не стакан — маленький бокал на четыре глотка, пустой, на бутылке, из которой все выпито, на узкогорлой бутылке, которая отражает голос моторов. Стаканчик разбился, упав на колени летчику, влажный в середине стаканчик, из которого теперь нельзя пить. Боб поднял палец перпендикулярно и сидел так, пока половинки стакана не упали с его колен и не разбились вдребезги. Сосед Марты встал и пошел в хвост самолета, прижав бутылку указательным и средним пальцами правой руки.

— Он сумасшедший. — Стюардесса собирала стекло в белый стерильный совок и быстро объясняла Марте: — Он сумасшедший. Не обращайтесь на него внимания. Он возвращается с принудительного лечения в Штатах — меня предупредили, что в Париже его встретят. Он сумасшедший — нам сказали об этом дома. Мы не хотели брать его, но врач, который привез этого человека, сказал, что его больной говорит на одну лишь тему — о взаимоотношениях с правительством. Кого нужно слушаться: правительство или себя самого! Все его зовут летчиком, он сам себя так зовет. Врач сказал, что никакие пилоты здесь не помогут, что таких не вылечивают.

— Принесите мне немного воды со льдом, — сказала стюардессе женщина сзади. — Как вы не боитесь, девушка! Боже мой, это так страшно — лететь с сумасшедшим. А если он зайдет в кабину к пилотам! Вы видели когда-нибудь сумасшедших, девушка! — Она наклонилась вплотную к уху Марты идохнула мятым запахом хорошо пережеванной резинки. — Как родители отпустили вас одну в такое путешествие! Нужно потребовать, чтобы этого сумасшедшего перевели от нас. Вот что значит лететь туристским классом — я постоянно беру первый, там никаких неожиданностей. Вам что, различно все это!

— Я вернулся к вам, девушка, — сказал подошедший летчик. — Так как вы думаете, жена ждет меня в аэропорту! Вы об этом думаете, стибелек!

Он опустился в кресло и сомкнул веки.

Марте спать не хотелось. В самолете погасили верхний свет, и люди посапывали в своих креслах, укрытые пледами с эмблемой авиационной компании.

На всякий случай мимо нее прошел сонный стюард в белом смокинге с тележкой, на которой лежали пробные флаконы дорогих духов и крошечные бутылочки коньяка.

— Доброй ночи, — сказал стюард, зевнув, — доброй ночи. Скоро мы прилетим. — Он исчезал в конце прохода, покачивая белой спиной, и Марта поняла, что вправду уже время спать, и закрыла глаза, не веря в то, что удастся заснуть. Она поставила приемник, шкала которого белела у нее под локтем, на восьмой канал и слушала сказку о маленьком козлике, который бегал в большом лесу, пока его не съели волки. Козлик пел веселым голосом песню про старого удода; Марта заснула, и ей ничего не снилось, потому что сон ее был коротким, глубоким, неожиданным.

Когда солнце ударило ей в зажмуренные глаза, Марта быстро выпрямилась в кресле и выключила свой наушник, где в сотый раз повторялась сказка о козленке, съеденном волками.

Самолет заходил на посадку.

Она посмотрела на Роберта, который прилип к своему иллюминатору, и подумала, что никто не ждет ее. Ни в Париже, ни в целом свете. И Марта заплакала. Впервые за всю дорогу.

ОТЕЦ (1)

«А ты приди туда.— Отцу было тяжело дышать, и он говорил медленно, пережевывая слова черным ртом.— Ты приди и скажи, чья ты дочка. Ты Павлу скажи. Скажи Ольге и Таисе. Найди Григория и ему тоже скажи. У тебя несколько адресов. В конце концов найдешь. Ты приди туда. Скажи, чья ты дочка. И скажи, что я умер». Отец больше ничего не говорил, и Марта подумала, что этой весной ее уже не будет на ферме, что самолеты летают куда угодно, что отец, который выкормил ее когда-то рыбьим жиром, уходит от нее. И не было у Марты ни слез, ни жалости, потому что она подумала, что жизнь переломится и с этих пор все будет совсем по-другому, а как — никто не знает. Она подумала о Киеве, куда должна лететь теперь, — далекий город, о котором уже столько слышала, но не видела его даже во сне. Все начиналось сначала — отцовский черный рот пережевывал слова, которые чем дальше, тем становились тише и оставались потом в черной яме рта, где были источены временем все зубы и десны вяло двигались за потрескавшейся границей губ.

Марта

Уже сидя в самолете, Марта поняла, что она боится-таки этой поездки на Украину и потому гонит прочь мысли о ней. Украина существовала в ее памяти, потому что Марта не всегда умела отделить пережитое от прочитанного, отцовские воспоминания от собственных. Жизнь на ферме продолжилась для Марты во времени за счет жизни отцовской, и она привыкла к этому.

Был еще мир школы, университета — она проросла сквозь первый и едва прикоснулась ко второму. Иногда Марте казалось, что она уже вышла в настоящую жизнь и выдержит любую встряску, а потом снова приходило предчувствие завтрашней беды, становилось до слез беззащитно и одиноко, и Марта чувствовала себя, как самолет в воздухе: постоянно искала свое земное поле, где ждут люди доброжелательные и сосредоточенные, ждут специально ее, караулят, подняв тонкие руки, и останавливают пальцами дождь, чтобы ни одна капля не упала ей под ноги. Зрелость представлялась Марте состоянием абсолютной уверенности в себе, и она не могла даже подумать, что это совсем не так.

Она прилетела на Украину незаметно, как незаметно принимала ее в себя на протяжении всей жизни. И беспокойство, которое снова возникло в Марте, не было предчувствием открытий. Скорей обычным состоянием. Но сейчас ей было особенно трудно.

— Что это внизу! — спросила Марта у стюардессы.

— Центральный киевский стадион. Борисполь — через пятьдесят километров. Сейчас.

Марта не знала, что такое Борисполь. Самолет приближался к земле, и не было ни одной тучи на его дороге. Марта почувствовала, что голова у нее кружится, — все пошло кругом. Переступая через чу-

жие ноги, зонтики, сумки в проходе, она пошла в хвост самолета. Открыла дверь, набрала в ладони воды и побрызгала себе в лицо. Запахло каким-то дезинфицирующим средством — чем-то похожим они с отцом травили крыс. Марту замутило, и она услышала, как сзади испуганная стюардесса уговаривает ее вернуться на место. Марта еще раз плеснула водой себе в лицо и выпрямилась. Стюардесса подала ей стакан, где из воды выскакивали острые холодные пузырьки. Марта сделала глоток, а остальное выплеснула себе в лицо.

— Извините, — сказала она девушке в синем костюме с эмблемой, — я вторые сутки в самолетах. Извините, пожалуйста.

Даже гостиница показалась ей лайнером.

Комната была маленькая, и окно, образующее одну из четырех стен, создавало иллюзию присутствия в самолете, повисшем над большой площадью, где толпятся люди, смотрящие себе под ноги, и не знают, что самолет вот-вот сядет на их головы и покатится, подпрыгивая, вдавливая в землю тела, которым нет спасения.

Марта села на узенький диванчик у стенки.

Киев.

Вежливый молодой человек, который встретил ее, сопровождал в таможню, провел к такси и помог устроиться в отеле, уже ушел. Марта не запомнила его имени, только название фирмы, которую он представлял. То же самое название стояло на первой странице рекламного буклета, оставленного молодым человеком. Под названием — две женщины в розовом и голубом дождевиках смеялись, раскинув красивые руки с зонтиками. Ах, какие веселые женщины!..

Из крана капала горячая вода. Марта повернула ручку — вода хлынула широкой струей, разбрызгиваясь во все стороны, подкидывала кусочек мыла, который упал на дно ванны, текла, текла, текла. У Марты появилось яростное желание смыть с себя всю грязь, все слова и все прикосновения, все, что налипало на нее в дороге, наслаивалось, стало неотделимым, чуждое и враждебное ей.

Она думала сейчас об отцовских похоронах, когда фермеры несли гроб под таким низким черным небом, что, казалось, крышка гроба цепляется за тучи и, облепленная ими и мокрая от них, сгибает до земли последних отцовских гостей.

Она шла за гробом, а потом отстала, ее обходили скорбные люди, и Марта понимала, что каждый из них думает о собственной смерти, о неотвратности последнего пути по грязи, о необходимости вернуться в землю. Тут были шведы, три итальянские семьи, одна немецкая: двое фермеров рассказывали, что их родители приехали сюда в начале столетия, остальные были с тридцатых годов, двое — времен войны, как они с отцом.

Ричард Стефенсон, белый Дик Стефенсон, как звали его, срезал прядь отцовских волос и четыре омертвевших ногтя. Он выдрал титульную страничку из библии и завернул все в тонкую, удивительно пахнущую бумагу; отдал Марте. Она знала зачем.

Марта стояла на обочине и смотрела, как несут отца, которого она уже не увидит, потому что гроб закрыли еще в доме; позади всех брел старый черный пес, ничейный пес, напуганный, наверное, в детстве — так он всех боялся, так он убегал ото всех и так ко всем ластился. Пес ждал ласки и никогда не находил ее, он никого не любил, и его не любил никто.

Марта стояла на обочине, и внезапно ей захотелось раздеться и мыться, мыться горячей водой — прямо задышаться от раскаленного пара, мыться,

раздирая кожу, как делали это библейские плакальщицы на похоронах. Она хотела воды, как очищения, как начала и конца всего на свете, воды хоть из той кружки, что осталась стоять на столе у них, и после похорон все подойдут к ней, наклонятся и по очереди выпьют холодной воды. Так нужно.

Отцовская белая кружка.

Марта упала. Пошел густой снег — поток замерзшей небесной влаги, что возвращается на их незаезженное поле, черное поле без хозяина.

Марта лежала на том поле, подошел жилистый белый Дик Стефенсон, взял ее на руки и понес за гробом, пока Марта не пришла в себя от снега, что падал ей на губы.

— Поезжай туда, — сказал ей Дик Стефенсон.

Приехала.

Телефон зазвонил неожиданно и звенел короткими резкими звончками — она таких еще не слышала, Марта взяла трубку.

— Это я, — сказал парень из «Интуриста». — Вам что-нибудь нужно?

— Нет, благодарю. — Она положила трубку и подумала, что ответила по-украински. И так, она действительно-таки приехала.

Пошла в ванную.

От пара волосы и лицо стали сразу мокрыми, руки набрякли от жары, разлитой под низким потолком. Зеркало покрылось каплями, которые стекали, оставляя за собой прозрачные дорожки. Марта выловила в ванне мыльный брусок, положила его на полочку и быстро разделась. Потом вышла из ванной и голая пробежала по комнате, оставляя на ковре мокрые следы. Открыла окно, немного постояла перед ним — она не стыдилась своей наготы. Так дети не стыдятся матерей. Но Марта не помнила матери. Снова зазвонил телефон. Марта осторожно обошла аппарат, не взяв трубки, и вернулась в ванную.

Телефон названивал до тех пор, пока она не открыла душ и струя, которая вырвалась из тугого стального сита, не поглотила все остальные звуки.

Когда-то отец взял ее в Чикаго. Они остановились в центре, в «Континенталь Плаза», и каждый вечер коридорная клала им на подушки мятные конфетки от управляющего. Такой был порядок.

Марте запомнились от той поездки длинные коридоры отеля с молчаливыми дежурными и зеркалами от пола до потолка. Еще — счетчик внизу, где около каждого номера сменились цифры — счета за телефонные разговоры. В «Континенталь Плаза» останавливались деловые люди, и цифры на счетчике были, как визитные карточки.

Отец, единственный, может быть, не звонил никому, он целыми днями бродил по дымному Чикаго, и Марта не знала его маршрутов. У нее был свой. Через два квартала от отеля стоял институт искусств и там, на втором этаже, — зал с коллекцией Эль Греко.

Марта не могла объяснить, почему ее так тянуло к удлинненным голубовато-розовым лицам, созданным гениальным мастером. Она смотрела на асимметричные, изможденные лица людей на тонконогих белых конях. Удивительные люди и удивительные животные. Она приходила в отель, обессиленная столкновениями с искусством, и вставала под душ — под колючие струйки прохладного дождя. Один раз протерла зеркало и увидела длинное, изогнутое свое тело, оно показалось ей таким похожим на узкие торсы, писанные для церкви Толедо, что Марта сохранила это ощущение дольше, чем другие, хотя даже на исповеди не осмеливалась признаться в кощунстве: что показалась себе похожей на испанских святых.

...Она провела ладонью по зеркалу и попробовала воссоздать образ, который растворился во времени. Зеркало было другое, и молодая женщина в нем печально усмехнулась навстречу, чтобы исчезнуть сразу же в теплом потоке воды из душа.

Когда Марта вернулась в комнату и начала сидеть, заговорило радио. Она не заметила сразу этой черной коробочки в углу и теперь слушала ее, не все понимая, слушала удивленно, как собеседника, который появился неизвестно откуда и говорит, не требуя особенного к себе внимания. Радио рассказывало о съезде в Киеве — значит, здесь, может, рядом с гостиницей, был этот съезд, — называлось много фамилий — людей этих Марта не знала, и сказанное ими казалось ей странным, но слушать было интересно, просто слушать быструю речь диктора, прекрасно поставленный баритон; Марта попробовала представить себе диктора — он обязательно должен быть молодым парнем в белой сорочке, которому очень жарко и который хочет включить вентилятор и не может: идет передача.

Марта послушала еще немного, нашла на черной коробочке круглую головку регулятора и отняла у диктора голос. К ней возвращался покой, и она одевалась, наблюдая, как за окнами темнеет, автомобили вонзают в ночь белые лучи фар, и троллейбусы проезжают, словно аквариумы, где в желтой воде покачиваются человеческие фигуры. Марта подумала, что, может быть, в каком-нибудь из троллейбусов едет ее тетка Таиса, или Ольга, или Павло, а то и дядька Григорий. Сперва мысль эта показалась ей невероятной, а потом Марта привыкла и к ней, потому что у нее и вправду есть родственники в этом городе; конечно же, они проходят по этой площади, почему бы и нет!

Марта погасила свет в комнате, закрыла дверь, дважды повернув ключ, и вышла.

Центральная улица была светлой, как ванная. Все стены освещивали белизной даже в сумерках и на ощупь были холодными и гладкими. Она знакомилась с городом своего отца, познавая его сперва пальцами, глазами, слухом, — приближалась к стенам, еще не обращая внимания на человеческие лица, трогала деревья, понимая, какой странной могла она показаться постороннему наблюдателю.

Но наблюдателя этого не было. В городе наступило время, когда возвращаются с работы последние хозяева окон, оранжево засветившихся вокруг, хозяйки еще не управились с грязными тарелками, а дети не дождались вечернего телефильма. Это был час сосредоточенных прохожих, потому что каждый из них имел перед собой цель; настолько все поглощающую, что вокруг не смотрели, лишь торопились, торопились.

Марта вспомнила фермеров их округи. Когда-то — еще маленькой — она спряталась от отца: села на высокий черный шкаф, который остался в доме от прежних хозяев. («Останется и будущим, — подумала она, — как долго живут вещи...») Отец и выпившие гости искали ее, заглядывая под столы, передвигая тяжелые кресла. Они ходили с наклоненными лбами, шеи налились краской, и никто на протяжении пяти минут не поднял глаз. Так привыкли они к своей земле, что никто не мог предстать, что можно искать наверху, а не только под ногами. Фермеры даже молились, не поднимая глаз, — разговаривали с полом, трогая его коленями и ладонями, почерневшими от земли. Их бог был где-то тут, рядом, словно гном из детских сказок, а если бог поднимался на небеса, то лишь для того, чтобы послать на землю немного дождя, о котором просили эти согбенные мужчины, что смотрели себе на колени, даже разговаривая с богом.



Люди на улице не были похожи на Дика Стефенсона или Рея Крамера. Каждый смотрел просто перед собой, многие взгляды были и на Марту, но никто не обращал на нее особого внимания. Марта шла главной улицей большого города, и каждый, кто спешил мимо нее, стремился к своему финишу, собственному подъезду, ступенькам, дверям, голосу жены — люди пронеслись мимо Марты, как бегуны на дистанции, и она плыла в этом потоке, который принял ее, но не заметил.

Рядом с ее гостиницей люди покупали цветы, напротив пили вино. Это были короткие промежуточные финиши, люди выбегали, стиснув бледный фейерверк букета, или облегченно выдыхали аромат перебродившего виноградного сока, бежали на нее, мимо нее, рядом с нею.

Марта засмеялась, потому что в этом потоке ей внезапно почудилось что-то привлекательное, домашнее и теплое.

Она представила, каким шумом наполнилась бы улица, если бы все мысли озвучить, заставить всех думать вслух.

Длинная очередь около газетного киоска переступала с ноги на ногу, словно сказочное существо, у которого много голов и каждая думает о своем.

Деревья, покрытые почками, шли рядом с Мартой по краю тротуара — все кроны были подрезаны, и ветви ждали своего времени, мгновения, когда вспыхнут зелеными взрывами, и примут птиц, и родят цветы — символ своего бессмертия, — быстро исчезающие белые звезды на зеленом небе.

Марта дошла до памятника, стоящего лицом к ней. Она узнала человека на пьедестале — это был Ленин, обошла монумент кругом, еще раз посмотрела на фигуру, исполненную стремительности, слегка наклоненную вперед.

Памятник блестел в лучах прожектора. Марта потрогала пьедестал — рука скользнула по сухому полированному граниту.

Только тут она заметила, что ладонь, вспотевшая от волнения, оставила на освещенном постаменте влажный след.

На скамейках, расставленных вдоль бульвара, сидели преимущественно парами. Фонарей тут было немного.

Марта шла мимо своих ровесников, не различая их лиц.

Веселые, разноцветные скамейки на бульваре были заняты, люди шептались о любви, об этом вечере, никто из них не смотрел на Марту — она была единственным прохожим на длинной аллее, погруженной в сумрачную тишину.

— Эта девушка должна нас понять, — сказал голос рядом. — Она должна понять нас и утешить. У нее есть сигареты. Правда же, у вас есть сигареты, девушка!

Марта обернулась на голос.

Разговаривали двое позади нее — молодые ребята в плащах нараспашку.

— Простите, девушка, — сказал один из них, — вы одна!

Марта ничего не ответила — ей было интересно. — Она одна, Сергей, неужели ты не видишь? И она ждала нас. Она бродит по бульвару Шевченко и сочиняет стихи, — наклонился светловолосый парень к приятелю.

— Я неграмотная, — сказала Марта и испугалась собственного голоса.

— Сергей, она умеет говорить! — Ребята развели руками почти одновременно. — Откуда вы, девушка, как вас зовут?

— Я из Америки.

— Сережа, она из Львова.

Марта и светлоголовый юноша выговорили эти фразы одновременно и засмеялись.

— Я из Висконсина, — добавила Марта.

— Это там, где негров линчуют! — спросил блондин.

— Это там, где делают сыр. — Марта отвернулась и пошла дальше.

— За что вы застрелили президента! — громко спросили сзади. Блондин стоял подчеркнуто прямо, нацелив на нее указательный палец. Смеялся.

Марта резко остановилась.

— Ребята, не шутите так.

— Сережа, она-таки из Америки. Не сердитесь, девушка, сегодня такой вечер, — сказал светлый. — Я бы объяснился вам в любви, даже если бы вы прилетели с Марса. Прямо с канала. Несуществующего. Ну хорошо, скажите нам тогда: в вашем университете делают атомные бомбы!

— В нашем университете пересадили сердце, и ребенок жил восемь дней.

— Женя, — Сергей наклонился к блондину, — это ее сердце пересадили. У нее в груди пусто, как у меня в кармане. Она не полюбит двух бедных астрономов с четвертого курса.

Марта засмеялась громко и прежде, чем ускорить шаги, помахала хлопцам рукой:

— Вас будут любить земные девчата. А не с каналов. Несуществующих.

— Так все говорят, — серьезно согласились оба, — мы даже выпили сейчас по чарке черного кофе за это — не думайте о нас плохо. Мы повесничаем только после лекций. Но вы нас любите!

— Люблю, — ответила Марта.

Прилетел влажный и веселый ветер ранней весны; Марта, шагая, ловила его ртом, набирала полные легкие, дышала этим ветром, пока не заболели зубы, пока голова не пошла кругом и черные безлистные ветки тополей не заплясали между звездами, — это бульвар, устремленный в небо, вел к горизонту две черные шеренги стройных деревьев.

А еще была церковь справа, как белый взрыв.

Марта зашла в полутемный храм, где в уголках молились женщины, быстро взмахивая сжатыми в щепоть пальцами.

Пожилой мужчина целовал икону в центре — длинные серые волосы лежали у него на воротнике.

«Какая благородная голова», — подумала Марта.

Человек быстро повернул к ней лицо — невероятно усталое старое лицо, где глаза уже почти закрылись от постоянного ожидания сна и одинокая слеза застыла на щеке, покрытой сеткой склеротических жилок.

Марта увидела все это сразу, ее память поглотила лица молящихся, чтобы сразу же забыть эти образы, оттолкнуться от чужой беды и вернуться к собственной.

Марта ходила в университетскую протестантскую церковь, но сейчас ей захотелось постоять тут не потому, что этот дом, где разговаривают с богом

по-другому, был ей нужен. Ей были нужны единомышленники, и она проходила мимо них — двух пожилых женщин, одной молодой в черном, человека на коленях.

Марта не могла заглянуть ни в одно лицо, и тогда она подошла к стене, где была нарисована богоматерь с младенцем, сердитая, величественная богородица, которая не знает еще, что сын ее обречен на муки; Марта посмотрела в лицо этой женщине, которая словно отделялась от стены, идя навстречу ей. Марта попросила у нее милости для покойного отца, попросила по-английски, как привыкла разговаривать с богом дома; потом еще раз посмотрела в неподвижное женское лицо и подумала, что, может, киевская мать божия не примет ее английской молитвы.

Тогда она сказала еще несколько слов по-украински и вышла из-под сводов церкви, где было душно и темновато.

Накрапывал дождь.

Студенты бежали мимо нее, накрыв головы папками, смеялись и разбрызгивали маленькие синие лужи.

В городе зажгли все фонари, и он светился, пробитый косыми струями дождя, он был радостным; как человек, который впервые познал любовь.

— Галя, — схватил ее за рукав высокий парень, — чего ты... Ой, простите! — Он выпустил рукав и побежал за троллейбусом, который выкатывался из-за тополей, словно сказочный сундук со счастьем, который развозит по ночному городу покой и надежду на завтрашнюю радость.

— Купите цветы, — подошла к ней пожилая женщина с букетиками фиалок, — купите, пожалуйста, цветы. Дождь.

Марта перетряхнула карман и увидела, что кошелек остался дома, в гостинице.

— Я заплачу вам завтра. На этом месте, — засмеялась она.

Женщина отряхнула букетик от дождевых капель, подала его Марте, вздохнула и пошла по улице, даже не сказав цены.

Фиалки дрожали, как маленькие мокрые существа, которые хотят спрятаться от дождя.

Ливень усиливался. Марта неторопливо переступала через лужи и ловила раскрытым ртом большие теплые капли, которые падали с невидимого ночью неба.

ОТЕЦ (2)

Марта раскрыла глаза оттого, что ей слышалось пение. И только окончательно проснувшись, поняла, что поет отец. Он сидел в углу на постели и качал головой; Марта уловила только это движение — иначе бы она не разглядела отца в темноте. Слова, которые он повторял, казались странными здесь и в эту минуту, именно в эту минуту. Марта слушала:

Доню моя доню мся, зле на світі жити,
Бошла б я з дігочами в сирій землі гніти.
Маю мужа в Америці, сьомий рік минає,

Ні до мене, ні до роду він ся не признає.
Бійся бога, чоловіче, що тобі ся стало,
Чи тобі ув Америці паперу не стало?
Ті долляри, що послав, я їх не пропила,
То я дітей годувала, ще й поля купила...

Она пошевелинулась; песня оборвалась, отец сидел молча и, Марта чувствовала, видел ее сквозь мрак. Внезапно он засмеялся: «Я не сошел с ума. Ты не бойся. Это женская песня. Я не сошел с ума. Спи». Он еще раз не то засмеялся, не то застонал. И стало тихо.

Ольга

Человек в синей рубашке принес бутылку вина и две кружки, зацепив их ушками за указательные пальцы.

— Сперва выпьем. Я не могу беседовать с такой дорогой гостьей, если передо мной нет кружки вина. Вы пришли — и это праздник. А на праздниках пьют.

Он открыл бутылку, зажав между колен, — Марта заметила, что на правой руке у хозяина дома не было мизинца.

— Я налью вам немного. Вино прекрасное. В этом году мы были у моего переводчика в Грузии, и я привез ящик таких вот бутылок. А знаете, что в этих темных посудинах! О-о, киндзмараули — это пьют к жареному мясу, для хорошего настроения, чтобы в небе зажглись звезды. Пьют всегда, если только есть такое вино. Грузины ничего не жалеют для дорогого гостя. Это напиток богов — темно-красное вино, в которое кладется травка, так называемая киндза. Но оно быстро умирает. Вино, знаете, как женская красота: вчера обмирал, а через месяц — терпкая или кисловатая водица в бутылке. Вы, как самое лучшее вино, гостья...

Человек в синей рубашке говорил быстро, энергично жестикулируя обеими руками.

Марта всегда удивлялась разговорчивым людям. Мужчина без мизинца не был заурядным рассказчиком, но за его велемчивостью скрывалось какое-то невероятное равнодушие, как за потоком фраз, вылитых из репродуктора. Марта пыталась понять, зачем он так много говорит, и неожиданно почувствовала, что человек в синем говорит сам с собой, пьет вино, не чокаясь с ней, и смотрит на противоположную стену, как на экран, где сейчас, немедленно, появится изображение, и тогда он замолкнет, этот человек с бутылкой терпкого вина.

— Вам не нравится!

Мужчина посмотрел на Марту и сделал какое-то неуверенное движение кружкой вверх-вниз.

— Вы мне!

— Да.

Человек удивился ее вопросу. Собрал лоб в морщины и посмотрел под столик, поискал на нем и глянул подо все кресла. Потом взглянул на Марту:

— Как будто бы никого больше нет. Я проверил. Мы в квартире вдвоем. Я разговариваю только с вами.

Засмеялся и еще раз двинул керамической кружкой вверх-вниз. Мужчина держал кружку, не трогая ушка, и оно торчало, как нарост на влажном ее боку. Повторил вопрос:

— Вам не нравится!

— Нравится. Ольга Михайловна скоро вернется!

— Я вам посоветовал ждать ее, потому что знаю, что она вот-вот придет. Откуда вы!

— Я издалека. Мне обязательно нужно увидеть Ольгу Михайловну.

— Она знала, что вы придете!

— Нет.

Человек в синей рубашке удобнее устроился в своем кресле и долил в кружку вина.

— Вы читали новую мою книгу! «Пароль»...

— Нет.

— Хотите, я скажу вам, о ком эта книга! О нас с Ольгой. Прочитайте.

Человек в синей рубашке все время ожидал ее удивления, волнения, беспокойства: он рассчитывал на то, что беседа будет ошеломляющей для его удивительной гостьи, иначе не могло быть. И, внимательно оглядев Марту, он взял из груды книжек в углу одну и быстро начал писать. Поднял глаза:

— Как вас зовут!

— Марта.

Подал книгу.

— Необычное имя. Откуда вы!

— Из Америки.

Марта взяла книгу и положила себе в сумочку.

Повторила:

— Я из Америки. Из штата Висконсин.

— Как ваша фамилия!

— Пирог. Марта Пирог.

— Вы родственница Ольги!

— Да. Она родная сестра моего отца, Василия Михайловича Пирого.

Человек в синей рубашке поставил кружку.

— Так он жив!

— Нет. Умер два месяца тому назад.

— Знаете, как меня зовут! Андрей Степанович Костюк. Отец вам ничего не рассказывал обо мне!

Казалось, Костюк совсем не удивился, услышав сказанное Мартой. Он достал из кармана пачку сигарет и положил перед собою. Закурил. Пододвинул пачку к Марте.

— Хотите! Даже у нас девочки уже понемногу курят. Так Василия Пирого нет в живых, говорите. А я еще хотел с ним повидаться. Но вы похожи на него, Марта. Очень похожи. Вам говорили об этом!

— Да.

— Итак, обо мне вы ничего не знаете! А мы учились с Василем на одном курсе, и в альбоме нашем обязательно должна быть хотя бы одна фотография, на которой мы рядом с отцом.

Марта вспомнила толстые, в сафьяновых переплетках и в толстых пластиковых обложках фамильные альбомы подруг — голопузые дети на белоснежных постельках, толстощекая девочка около куста роз, семейство — дидусь, тато, мама, братик — вокруг обеденного стола в комнате с ковром. Подняла глаза на собеседника:

— У нас нет альбомов. Отец не вывез ничего. Одну только фотографию — мамину.

— Мать жива!

— Нет.

Костюк помолчал. Пошевелил губами. Глотнул немного вина. Внимательно посмотрел на Марту. Усмехнулся:

— Вы неплохо владеете украинским языком. Как я.

Марта пожалала плечами. Обоим было неловко, и у нее стиснуло горло от волнения, потому что она увидела, как меняется на глазах человек в синей рубашке.

Марта посмотрела в окно, там разливался сияющий день. Она сразу же отпустила автомобиль, который был в ее распоряжении три часа в сутки, — новехонькая голубая «Волга» с водителем в зеленом галстуке, который, казалось, не умел говорить ни на одном из существующих языков. Точнее, знал по

два-три выражения на каждом. Когда они с Мартой искали квартиру ее тетки, он сосредоточенно смотрел на темные стены старых переулков, и нельзя было понять, не потерял ли он голову в этой круговерти. «Может, поедем другой дорогой!» — подумала Марта вслух.

— Как скажете, — ответил шофер.

Теперь он уехал в гостиницу, и ей придется самостоятельно выбирать отсюда.

— Мне пора возвращаться, — сказала Марта и поднялась. — Может быть, в другой раз. Когда Ольга Михайловна будет дома.

— Ну почему же! Сделайте милость, подождите, если уж зашли. — Костюк постучал по столу костяшками пальцев и сделал широкий приглашающий жест. — Подождите.

Он притушил сигарету на обрывке бумаги, завернул окурки и выкинул в окно. Подмигнул Марте: «Ольга ругается». Потом посерьезнел и замолчал, выпрямив длинные ноги. Спрятал сигареты в стол.

— Что вы делали во время войны! Хотя это глупый вопрос. Вы не можете помнить войну. Счастливейшее поколение. Вы видели хоть один разрушенный дом, а! Отец, наверное, кое-что вам рассказал. Почему он уехал отсюда! Те, кто работал при немцах в ветеринарном институте вместе с ним, живут здесь, и ничего с ними не случилось.

Человек в синей рубашке развел руками, оттолкнулся от кресла и потянулся. Потом посмотрел на ладонь и сделал такое движение, словно стряхивал с нее крошки. Рывком засунул руки в карманы и сел, расслабленно опустив плечи. Так и слушал.

— Мы говорили с отцом, — сказала Марта. — Он выехал с теми несколькими сотрудниками ветеринарного института, которые испугались и не поверили, что их простят. Я не знаю, где эти люди, куда их разнесло по свету, — отец называл их всех разом — «те, что не поверили», и никогда не вспоминал имен. В немецких газетах печатали всякие ужасы. Отец говорил, что боялся за маму и за меня. Я должна была вот-вот родиться.

Человек в синей рубашке поднялся и посмотрел на Марту сверху вниз.

— Вам не нравится в Америке! Вы жалеете, что родились там!

— Я родилась под американскими бомбами. Это было еще в Европе. Но двадцать лет мне снилась Украина. Двадцать лет отец твердил во сне чужие имена. Двадцать лет он, украинский ученый, пахал землю в чужой степи. Он умер от тоски по родине. Я хочу знать, как жил мой отец, и хочу встретиться с людьми, которые его знали.

— Вы сердитая девушка. — Костюк плеснул ей в кружку вина и добавил немного себе. — Вы сердитая девушка.

Он сидел напротив нее, высокий, стройный мужчина, с серым, болезненным лицом. Волосы Костюка были коротко подстрижены, и черная оправа массивных очков выделялась на лице единственным резким штрихом. Остальное было в полутонах — серое лицо и короткие серые волосы, морщинистая кожа. Рука, которой он держал кружку, слегка тряслась, и зайчик, отражающийся от вина, качался на пыльном потолке — за окном так сияло солнце, что больно было смотреть туда, в синее море, подожженное золотым огнем.

— Скажите... — К Марте возвращалось самообладание, она почувствовала себя, как на экзамене, когда при вступлении в университет вчерашним школьникам раздавали психологические тесты — сложить домики из разрезанных бумажных треугольников, от-

ветить на неожиданные вопросы о своих вкусах и быстро решить простые арифметические задачи. Следовало быть внимательным, внимательным, внимательным — Марта до сих пор помнила тогдашнее свое состояние и улыбнулась, потому что ощутила его возвращение. — Скажите, отец вспоминал коллегу, который вышел из окружения и жил в Киеве, здесь, при немцах, тихо так жил, а за два месяца до отступления немцев из Киева ушел в партизанский отряд к Ольге Михайловне! И закончил войну там. И жил красиво и написал мемуары. У него была какая-то необычная фамилия — вы не знакомы с ним! Мне хотелось бы знать.

Человек в синей рубашке сидел неподвижно.

— Нас окружили под Киевом, и я полз лесом, раненный в плечо. Киев горел, даже каштаны горели — сочные каштаны из туристских буклетов и песен о моем городе. Киев горел. Когда я пришел, мне негде было укрыться. И я отыскал дорогу к партизанам. Для немцев работать я бы не стал: не смог бы. Это сложный разговор, но к ветеринарии вернуться не пришлось. Я стал писателем, и неплохим, как говорили. Вы читали «Память»!

— Нет.

— Хотя верно. Американское правительство вывозит отсюда только удобные ему книги. Там, у себя, вы не достанете настоящих книг о правде. О нашей правде.

— Я многого не читала. Отец иногда привозил из города газету «Правда» — он говорил, что это крупнейшая из здешних газет и в ней наиболее полная информация. Поэтому он и покупал ее. Книг у нас было немного. Уже потом, в университете, я брала кое-что из библиотеки, но «Памяти» и «Пароля» там не было. Может быть, вы правы, их не купили.

— Прогрессивная печать писала о них.

Марте стало неловко, она почувствовала себя даже виноватой перед этим человеком, чья работа осталась вне внимания американцев; хотела сказать что-нибудь успокаивающее, а вышло: «Я вам верю...» Костюк посмотрел нетерпеливо и удивленно.

— Мне не нужно тут вашего доверия или недоверия, я говорю о действительном положении дел. Извините.

— Пожалуйста. Я пойду. Мы с вами поговорили достаточно, Ольга Михайловна задерживается. Я пойду, Марта встала и сделала шаг к двери.

В это время вошла Ольга.

Все было как в старой пьесе, где стреляют ружья на стенах, вовремя отпираются и открываются двери, все встречаются, когда нужно.

Вошла Ольга.

Марта сразу поняла, что это ее тетка, потому что женщина была поразительно похожа на отца — лицом, движениями, цветом глаз. — Марта узнала ее, как узнала бы и на улице.

— Ты дочка Василя, — сказала женщина. — Ты Василева дочка. Боже мой! Мне позвонили из «Интуриста», что ты проверяешь мой адрес, все правильно, я жила тут до войны. Боже мой, Василева дочка. Где он!

— Отец умер. Два месяца назад.

— Умер. Мужчины в нашем роду всегда жили долго. Я думала, это случилось с Василем еще на войне. А он два месяца назад. От чего!

— Не знаю. Он мало говорил со мной последнее время. Он просто жить не мог — это все видели.

— Почему он не возвращался сюда!

— Боялся.

— Кого!

— Не знаю.



— Боялся. Ты слышишь, Андрей, боялся. Бедный Василь! Я очень любила его. Уже привыкла к мысли, что он погиб еще тогда, в той проклятой войне, уже оплакала. А он сейчас. Боже мой, дай я на тебя посмотрю, Марта!

Еще пахло табачным дымом, Костюк поднялся и шире открыл форточку.

Две недопитые кружки и пустая бутылка на полу. В углу комнаты стояла пальма с глянцевитыми листьями и спала кошка, которая время от времени раскрывала левый глаз. Ольга сидела на стуле около дверей в расстегнутом коричневом пальто с деревянными пуговицами и, не отрываясь, смотрела на Марту.

— Какой же он дурень, Василь! Он дважды приходил в лес, в наш отряд, лечить лошадей. Я говорила ему: оставайся, ты же все равно не имеешь ничего общего с теми.

— Ольга,— сказал Костюк,— я как раз тогда был с вами...

— Ой, помолчи!—Ольга махнула рукой и посмотрела на Марту.— Какое это имеет значение теперь! Сколько сделала я, сколько сделал ты. Тебе лучше — ты в меру святой и в меру мученик, немного повоевал, немного попартизанил,— ты святее Василя. Василь умер — с ним все, значит. Он был твоей противоположностью, ничего не изменилось. Но понимаешь, кого не стало? Моего брата не стало, твоего однокурсника, слушай, Андрей...

— Ольга, не смей говорить так при чужом че-

ловеке! Ты не забывай, откуда приехала наша...— Человек в синем искал нужное слово, потом махнул рукой и стал около окна; рубашка его сливалась с сияющим синим небом. Он волновался.

Ольга забрала со столика вино. Подняла бутылку с пола.

Потом поставила кружки обратно, сняла пальто и кинула его на спинку стула.

— Андрей, порадуйся хоть немного, это же Василева дочка!

Марта поднялась и стояла, не в состоянии говорить, потому что все вспомнилось, и вернулась боль, и память возвращала ей слова и образы, которые могли бы исчезнуть, могли бы уйти, если бы она не переступила порога этого дома, где еще до войны ходил по желтому паркету отец. Ей захотелось, чтобы разговор этот начался не здесь, а в степи, в их домике, заколоченном досками крест-накрест, где она, Марта, встала бы к электрической печке и напекла бы им пышных оладий, налила бы кленового сиропа — под конец жизни отец полюбил его и собственноручно упаковывал на зиму высокие банки со сладким соком деревьев. Марта берегла золотистую массу, которая тянулась из банок,— нерукотворный сироп. Кричали бы самолеты, как птицы, подстреленные на лету,— Марта ждалась отцовых гостей и снова подумала о них. Нереальных. Которые не приходили.

Ей стало душно, как, наверное, бывает перед прыжком с горящего самолета, она вдруг вспомнила Ро-

берта, сумасшедшего пилота, и снова отца. Это была очень длинная минута — они молчали втроем, сидя в большой гостиной Костюков, где солнце било в окно, а под пальмой дремала кошка с открытым левым глазом.

— Отец твой, Василь, приходил к нам в лес несколько раз и каждый раз плакал — я запомнила его глаза, красные от слез и острого лесного сквозняка. У нас в отряде не было фотографов — партизан фотографировали только перед расстрелом и то немцы, для себя, на память. А я не могу показать тебе никаких памяток о тех днях, хотя помню, как он выходил из квартиры и всегда говорил только одно: «Если что-нибудь со мною случится, не забудьте о Вере с дочкой». Он знал, что у него родится дочка. Ты где родилась, Марта!

— В Мюнхене.

Марта сидела напротив Ольги, они смотрели друг на друга, узнавая черты Василия Пирого на постаревшем и молодом женских лицах. Два лица эти были так похожи, что Марта казалась дочкой Ольги Михайловны.

— У вас есть дети! — спросила Марта.

— Нет, — Костюк сел за спиной у Марты, шумно отодвинув стул, — война, в которой пролилось столько крови нашего народа, не дала времени подумать о семье. Ваш отец, Марта, отсюда убежал...

— Мой отец не убежал. Он выехал, он вывез меня. — Марта отвечала тихо и смотрела на желтый пол.

— Он бежал, потому что боялся... Думаю, даже Ольга Михайловна может это подтвердить.

— Оставь этот тон. Постыдись, Андрей, — сказала Ольга. — Нам с тобой нечего скрывать перед этой девочкой. Были, как были. Стреляли. Били немцев. Боялись. Шли в атаку. Камни носили на Крещатик. Этими вот руками отстраивали города. Вы знаете, Марта, как пострадали наши города! Андрей, считай, что вернулся Василь. Это его дочка.

— Ольга, я говорю с тобой, как на собрании, ты прости, но напомню тебе, что это дочка эмигранта, — будем последовательны в терминологии.

— Марта, сядьте и не волнуйтесь. Андрей, слушай, эмигрант Василь Пирог умер. И мы обязаны помочь Марте обрести Родину.

Ольга уже перенесла пальто на кресло, но это только усилило впечатление беспорядка в комнате. Она сидела, охватив руками стул под собой, словно собиралась подняться над полом, где скакали по желтым дощечкам солнечные зайчики. Потом спросила:

— Сколько тебе лет, Марта!.. Что ты делал, Андрей, в двадцать три!

— Зализывал рану на правой руке. — Костюк поднял четырехпальную ладонь и потряс ею.

— Это было справедливо!

Человек в синей рубашке поднялся со стула и взглянул на жену:

— А ты не знаешь?

— Хочешь немного жестокости и для нее!

Отвечая, Костюк успокоился, и чувствовалось, что он говорит вещи, давно обдуманые и сформулированные:

— Ты считаешь, что им нужно жить легче, нежели нам! Они не видели войны, не знают горя и так вот и разговаривают теперь. Меня удивляет, Ольга, что ты поддакиваешь. Вообще удрали с Украины, а разговаривает, словно живет здесь и имеет право говорить со мной, будто ровня. Удрали с Украины, и кто знает, куда. Легко они живут — и разве здесь таких мало, — все они...

— Кто они! — Марта стояла посреди комнаты и смотрела на Костюка. — Кто они!

— Не нужно. — Человек в синем был непроницаем. — Вы сперва получите право на то, чтобы читать мне нотации; даже просто на то, чтобы ступить по этой земле, потому что, кто вы такая! Откуда вы!

— Прекрати, — сказала Ольга, — сейчас же прекрати. Ведь ей надо помочь. Нельзя, чтобы она оставалась отрезанным помтем.

— Нет! — Марта оглянулась на тетку. — Я таких видела и дома. Они считают, что я прибуду в их стране, что за каждый кусок хлеба должна им сапоги языком вылизывать, потому что явилась на готовое неизвестно откуда. Я приехала на Украину впервые, но считаю, что меня разлучили с нею не по моей вине. Только у меня есть гордость. Чистая совесть. Меня такие, как вы, тыкали носом в Милвоки за антивоенную демонстрацию. Говорят, чужая и позорю Америку, их землю; а где моя земля, где! Их землю! Кто им отдал ее в монопольное владение! А где мой дом, господин Костюк! Где! Там, куда я приползу на коленях и буду вляничить миску с хлебкой! Я об отце думала долго...

— Довольно, довольно, — остановил ее человек в синей рубашке.

— Это моя жизнь. И жизнь моего отца! — Марта закипала упрямством — это бывало с нею, она знала, что теперь не отступится ни от одного слова. И этот серый человек в синей рубашке только разжег в ней неутолимое желание спорить, потому что она устала от болтовни о своем поколении дома...

— Простите, — сказал Костюк. — Вы наша гостья, но мы люди разных миров. Оставим это. Ты, Ольга, могла быть храброй в отряде, а сейчас уже кое-чего не понимаешь.

Они немного посидели молча, а потом Ольга встала и пошла накрывать на стол. Молчаливо сидел у окна Костюк. Марта подумала, что это снова война, снова война наваливается на ее плечи и еще раз приходится идти теми же дорогами, по которым ее несли на руках — маленькую, выкормленную неизвестно чем и сбереженную неизвестно для чего. Целый мир обернулся ей чужбиной, и ее никто не ждет ни там, ни тут. Легко судить. Ольга. Хорошо, Ольга, она тоже отвоевывала эту землю, тетка ее, отцова родная сестра; она привыкла понемногу и к красивой легенде про Костюка — Андрей Степанович сочиняет ее для самого себя, для жены, для всех остальных. Отец бы не смог разговаривать с ним. Неужели они вместе учились! Ольга простила — значит, отцу нечего было бояться.

Марта опустила глаза и впервые увидела на маленьком столике в углу гипсовые бюсты Шевченко, Маяковского и Толстого.

Отчего Костюк так злится! Отец говорил ей когда-то, что злыми бывают только люди, в чем-то неправые и трусливые. В чем неправ Костюк!

Снова все завязалось тугим узлом, которого не развяжешь, за какой конец ни тяни. Марта обвела глазами комнату, где в углу сидел Костюк, читая газету, тетка Ольга расставляла чашки; захотелось плакать, потому что она почувствовала, что угнетает их своим присутствием, и Марта поднялась с кресла:

— Я пойду. Простите, Ольга Михайловна. Я пойду, лучше уж в другой раз. Я еще побуду в Киеве немного. Позвоню, если можно.

Кошка под пальмой раскрыла левый глаз.

— Останься, — сказала Ольга.

Костюк молчал.

Марта надела пальто, хлопнула дверью и быстро пошла вниз по лестнице. Один только раз, на втором этаже, остановилась и прижала к клеенке высоких узких дверей мокрое лицо.

Она представила, как по этой лестнице, мимо этой

клеенки — она, конечно, была и тогда — шел отец ее, Василь Михайлович Пирог, который был у себя дома, и никто не удивлялся, что он знает украинский язык и ходит здесь. Отцу было столько лет, сколько ей сейчас. Или приблизительно столько.

Наверху скрипнули двери, Марта пошла вниз. Она считала ступеньки — потемневшие, пыльные ступени старого дома — и думала, что, когда она шла наверх, этих ступеней было намного меньше. Возвращение было долгим, невероятно долгим — она устала, пока подъезд не уперся в стену напротив, стена была без единой трещины — плотная каменная кладка, спаянная цементом или еще чем-то.

Надежно спаянная.

Марта остановилась в дверном проеме и прикрыла глаза — таким безжалостно ярким было солнце. Словно костер в небе.

ОТЕЦ (3)

Дик Стефенсон позвонил и передал Марте газету. Марта посмотрела на отца. Ей показалось, что он спит, но тот тихо заговорил: «Ты ее будешь получать долго еще после меня: я подписался на три года. Понимаешь, меня не будет, а газету ты будешь получать. И там будет написано обо всем, что случится на земле после меня. Когда-нибудь появится объявление: «Родственники Василия Михайловича Пирого из Киева, Украина, СССР, разыскивают его с женой Верой Андреевной Пирог и дочкой Мартой».

Марта вздрогнула от неожиданности, хотя знала, что отец дошел до такого состояния, когда трудно сказать, спит он или закрыл глаза и думает о своем. В отцовском рту запеклось еще несколько слов, и он выдохнул их, только она ничего не поняла. Дик Стефенсон стоял за спиной у нее, и, когда Марта оглянулась, она увидела, что старый Дик плачет, а слезы стекают по коричневым морщинам его усталого лица.

Таиса

Кто-то должен был еще поджечь розовым огнем ветви сада, белым огнем — каштановые ветки, лиловым — сирень. Деревья стояли вокруг, зажав кулачками почек завтрашние листья и послезавтрашние цветы, — это был парад не разбуженного еще Ботанического сада. Кто-то должен знать, сколько еще цветений дано деревьям и сколько лет оставлено людям, которые сидят под ними, но эта прозрачная арифметика существовала только в представлении садовников и больных — сейчас все повернулись лицами к солнцу и принимали на себя горячий ливень лучей — люди, дома и деревья. Марта подумала, что солнце никого не обманет — ветви зацветут вовремя, ни одно лицо не будет сейчас обожжено, а стены города высохнут — это весна. Солнце пришло, как утешение, всегда оно должно приходить,

как награда за долготерпение, как надежда на будущее тепло.

Только так.

Она придумывает идеальный мир, в котором никто еще не жил — ни деревья, ни люди.

Деревьям легче.

Марта оглядела ряд высоких черных стволов с раскинутыми ветвями, которые отогревались на солнце.

И засмеялась. Потому что вернулась детская сказка про Пиноккио: плотник нашел кусок дерева и вонзил в него лезвие топора — дерево закричало человеческим голосом. Иногда даже деревья ощущают боль, как мы.

Даже деревья.

Она сидела в Ботаническом саду — это напротив собора, — и Марта знала отсюда дорогу к отелю. Таксист привез ее — теткина квартира осталась уже позади, позади остались подъезд того дома и стена напротив.

Марта сидела между двумя рядами деревьев, которые образовывали устремленную вниз асфальтированную парковую улицу, широкую аллею, по обочинам которой стояли великаны с ветками, набухшими в предчувствии дня рождения листьев.

По асфальтовой дорожке поехал мальчик на трехколесном велосипеде. Он что-то кричал, отпуская руль, поднимал ноги от педалей, пел, задрал голову, — веселый мальчик в зеленых штанишках, так похожий на кого-то из внуков старого Дика Стефенсона. Тоже беленький. Веселый велосипедист, на полтора десятилетия младше ее. Мальчик ехал под музыку.

Марта не сразу поняла, откуда льется эта мелодия, которая так совпадала с веселым трехколесием, где спицы блистали, как серебряные солнца, катящиеся вниз асфальтовой аллеи.

Потом она увидела своего соседа с транзисторным приемником — наверное, он давно уже сидел на скамье рядом с ней, — музыка становилась для всего происходящего в мире таким естественным фоном, что не хотелось верить в ее механическое начало, в то, что играют не деревья, а невидимый оркестр в далекой радиостудии.

— Вам не мешает эта штука! — Сосед повернул лицо к Марте. Он был ровесником ее, может, чуть старше, ненамного, черноволосый парень в синей стеганой куртке.

— Нет! — Марта продолжала смотреть на юного велосипедиста, который врзался в серый край газона и вылетел на него из седла, как автогонщик на бетон. Он и лежал неподвижно, как гонщик, который проиграл, — без шлема, на спине, раскинув руки, — разве что не ревели сирены. Марта вскочила.

Две женщины пробежали мимо нее к опрокинутому велосипеду, который лежал на асфальте и колеса его быстро крутились, как у гоночного автомобиля на трек.

— Ваш! — спросил хозяин транзистора.

Марта засмеялась:

— Нет.

Ей показалось очень забавным, что она выглядит солидной киевлянкой, чей сын едет на желтом трехколесном велосипеде с серебряными спицами.

Парень возился со своим транзистором. Из обрывков чужих слов вырвалась длинная фраза на английском языке.

— Не выключайте, — попросила Марта. Диктор — это, наверное, была передача из Англии — рассказывал о боях во Вьетнаме, у какой-то высоты возле речки с непонятным названием.

— Вы понимаете! — спросил парень.
— Немного. Они говорят о том, что вчера погибло шестьсот солдат. — Марта смотрела на юного гонщика, вымазанного землей, он плакал, идя мимо нее. Как взрослый, который проиграл главное соревнование сезона. Две женщины сзади катили трехколесный велосипед.
— Хватит. — Мартин сосед выключил транзистор.
— Вам не нравится! — спросила Марта.
— Нет. А вам! — Парень быстро взглянул на нее. — Вы думаете, это последние шестьсот убитых на войне!

— Нет, — сказала она и замолчала.
Они сидели молча, и со стороны могло показаться, что эти двое пришли сюда вместе — парень и девушка, — слушают радио, смотрят на трехколесный велосипед и на птиц, которые качаются перед ними на нижней ветке разлапистого дерева. Все соединилось: земля, покрытая жесткой кожей асфальта, деревья, что заплелись ветвями, люди у подножий деревьев, птицы над ними и синий небесный свод, разрезанный белыми пятнами облаков и полосами реактивных шлейфов.

— Меня зовут Виктором, — сказал парень с транзистором. — Простите, что я так знакоюсь с вами. Меня зовут Виктором.

— Марта, — сказала она. — Это — мое имя.
— Вы живете в Киеве?
— Нет, я приехала к родственникам. — Марта утешалась тем, что говорит правду.

— Откуда вы?
— Издалека. — Она посмотрела на крыши домов, которые закрывали горизонт. — Издалека. На земле еще столько места. И я только начинаю присматриваться.

— Вы часто бывали в Киеве?
— Никогда. А вы киевлянин?
— Четыре года. Четыре курса киевлянин. Я учусь в мединституте. С Черкасщины. У нас там еще лучше, чем тут. Бывали!
— Нет, — ответила Марта, — я очень мало что видела на свете.

— Ничего, — сказал Виктор, — вы еще такая молодая, еще и за границей побываете и всю страну объедете, надоеет. У меня один парень знакомый в армии служил до института. Так он говорит, что год ездить — еще ничего, а больше — надоедает, и так хочется на одном месте посидеть. Даже в молодости.

Виктор помолчал немного.
Потом покрутил колесико на черной коробке транзистора.

— Вам не нравится этот агрегат?
— Да ну его! — Марта покачала головой. — Расскажите мне немного о Киеве.

Они поднялись со скамьи и неторопливо пошли к выходу из парка.

Виктор засмеялся:
— Это Ботанический сад имени академика Фомина, там написано при входе, больше я про этот парк ничего не знаю, хотя готовлюсь здесь каждый год к весенней сессии. На деревьях написано, как они называются, только деревья такие сажают специально. У нас в Гиревке такие деревья не росли и не будут расти, а тут словно выставка редких экземпляров, которые приживаются на столичном грунте. Напротив — Владимирский собор. Построен в честь тысячелетия России. Несмотря на то, что бога нет, он очень красивый в середине, этот собор, я там был несколько раз, когда дождь прерывал мою работу над собой. Действительно, прекрасно расписанная церковь, между прочим, с правой

стороны у входа сказано, кто делал роспись. Больше ничего не могу добавить. Пойдемте туда, справа — клиники нашего института. Тут я бываю каждый день. Завяжите мне глаза, я пройду по коридору любой из них и не ошибусь дверью, отыскивая нужную палату. Мой отец был врачом. Моя мать — врач. Я — это уже серьезно, — наверное, плохой гид, потому что Киев для меня в основном складывается из больницы, и я не знаю многого, что расположено за их стенами. У каждого есть свой Киев, для меня это город, где я работаю. Становлюсь врачом. Сдаю экзамены и зачеты. Смешно! Где-то здесь убили моего отца, я когда-нибудь покажу вам могилу Известного солдата. Может быть, это он, мой отец, лежит там. Он попал в окружение под Киевом и не вышел из него. Мама ждет до сих пор. Не говорит мне, а я знаю, что ждет, бывают удивительные возвращения, мама верит. Ваши родители с вами!

— Нет, — сказала Марта. — Они оба погибли.
— Хотите зайти в больницу? Это запрещено, но я проведу вас, — сказал Виктор.

Марта отрицательно покачала головой. Она представила длинные ряды постелей, где каждый человек похож на ее отца.

Ни за что.
Они направились с Виктором той самой дорогой, какой она шла впервые, в первый свой вечер в Киеве.

Присутствие еще одного человека делало эту прогулку несколько иной. Марта осязала город еще и чужими руками и привыкала к нему. Университет прошел рядом с ними, Марте казалось даже так, что они стоят на месте, а улицы проплывают мимо, как в кино.

Они подошли к Шевченко — бронзовый человек смотрел сверху, и лицо у него было суровым и отчужденным. Марта вспомнила портрет из «Кобзаря» — своего учебника грамоты, красноватый портрет в большой книге, — лицо было очень похожим, только тот Шевченко смотрел прямо на нее.

Они сели сбоку от памятника, и Марта подняла глаза на профиль поэта — залитый солнцем, он светился в лучах, и большая птица трепетала крыльями в этом океане света.

— Вам нравится! — спросил Виктор.
— Это Шевченко, — сказала Марта, не поворачивая лица.

— Вы ничего еще не видели в Киеве. Вы давно приехали сюда?
— Позавчера.

— Не удивляйтесь моей болтовне, тут есть на что поглядеть, и сам я кое-что уже видел, можно, я помогу вам осмотреть город! Вы еще долго тут будете!

— Не знаю. — Марта ответила на оба вопроса сразу. Потом подумала и вспомнила номер своего телефона в отеле. — Позвоните мне.

Виктор сидел молча, и они рассматривали вдвоем красный университет, улицу, плоские плиты паркового тротуара, где не спеша ходили толстые птицы с полукрытыми черными и коричневыми клювами.

Виктор кинул камешек — голуби взлетели, тяжело взмахивая крыльями.

— Слушайте, — сказал он, — вы торопитесь! Может быть, мы пообедаем вместе! Не обещаю вам роскошного стола, — мне просто хочется еще немного с вами побыть. Тут через дорогу есть ресторан. Кормят так себе; иностранцам, говорят, нравится, мне — нет. Но посмотрим, чем там богаты. Мы с мамой ходим туда обедать, когда она приезжает. Других ресторанов я просто не знаю. Все

времени не хватает.— Они оба засмеялись, и Марте стало совсем легко.

— Слушайте,— сказала она,— помогите мне найти одну улицу в Киеве.— Марта вытащила из сумочки розовую бумажку, показала Виктору:— Это ваша горсправка.

Он прочитал:

— О, это недалеко. Там кто-то знакомый живет!

— Тетка,— ответила Марта,— тетка Таиса, отцова самая старшая сестра.

— Она там давно живет!

— Давно.

К Марте иногда приходило ощущение, что она знает Киев, когда-то была здесь, встречала этих людей на улицах, училась тут и завтра утром войдет в красное здание университета и поздоровается с однокурсниками.

Чувство одиночества, которое сейчас покинуло ее, не вскружало, и Марта готова была забыть всю горечь, которую приняла от других, и ни с кем не делить ее.

Слева сидел со своим транзистором Виктор, хороший, наверное, парень, который рассказал ей про Киев, про войну, про собственные переживания, которые спелись с историей этого города и с историей его семьи.

Он — дома.

Что бы ни случилось — он дома, и, если не будет человека, способного утешить его, он придет к памятнику Неизвестному солдату, в этот парк — у него есть, где оставить тяжесть собственной печали. Он — дома, Виктор...

Марта в тысячный раз ловила себя на мысли, что нет дверей, за которыми ждали бы ее. Потом вспомнила университет в Висконсине — впервые после приезда на Украину.

— Пойдемте,— попросила она. Виктор поднялся со скамьи.— Я очень вас прошу,— сказала Марта,— подойдем на минуту к университету. Не сердитесь.

— За что же! — ответил Виктор.

— А в ресторан мы пойдем в следующий раз.

Они перешли улицу и остановились между черно-красными колоннами; бежали студенты, разговаривая о всем, перед лицами Марты и Виктора — вплотную — пронесли длинный лозунг цвета университетских стен, две девушки обсуждали завтрашний литературный вечер. Люди эти были тут вчера, год назад, будут завтра. Марта стояла в водовороте чужой жизни, и она лишь прикасалась к ней — чужими словами, чужими шагами, скрипом чужих дверей.

— Может, зайдём в вестибюль! — Это Виктор.

— Нет-нет,— сказала Марта.— Помогите мне найти тетку. Не нужно заходить. Не нужно.

— Ваша тетка живет рядом. Тарасовская — это за углом и вниз.

— Благодарю! — Марта сошла со ступеней.— Благодарю. Тогда я сама.

— Позвольте пойти с вами...

— Нет.— Марта посмотрела на Виктора, и тот понял, что она говорит серьезно.— Нет. Спасибо вам за все. Вы не представляете, как я вам благодарна. Но пойду одна. Так надо.

Она знала об этом и раньше, но тут впервые поняла, что отец не раз спускался по ступеням шевченковского университета и приход на это место приобретает для нее самой новое значение и новый смысл.

То, что киевляне уже участвовали в ее жизни, — а если не участвовали, то становились свидетелями ее

переживаний, — Марте казалось чем дальше, тем естественней.

Киев поднимался над нею, как последнее пристанище всех тревог, — он, который принял в себя столько рожденных здесь, и столько, что приходили сюда умирать, — не располагал к неискренности.

Марта шла, словно по асфальтовому дну гигантского бессмертного моря, где каштаны качались, как водоросли, а следы в небе, казалось, прочерчены острыми киями катеров, которые проплывают в голубой глубине, высоко над головой.

Столько чистоты разлилось над Киевом, пронеслось столько веков и человеческих судеб, что у Марты кружилась голова, когда она смотрела вверх.

Она никогда не принимала человеческой сентиментальности. И ускорила шаги, словно хотела убежать от собственной растроганности; внезапное ощущение праздника не оставляло ее, и сегодняшние волнения вдруг стали менее острыми; она знала, что это — временное облегчение. И все равно радовалась.

Двор тетки Таисы был поделен на несколько тесных клеток; Марта проходила под кирпичными арками, пока не нашла нужного подъезда и не начала бесконечное восхождение по крутой лестнице, где на дверях, обитых одинаковой клеенкой, блестели круглые, длинные, квадратные коробочки звонков с белыми карточками у каждого. Солнце сюда не попадало, и Марта дважды чиркала спичкой, разглядывая номера квартир. Стало страшно, она пожалела, что не разрешила Виктору пойтк вместе с ней.

Нужные двери были на шестом этаже.

Нашла звонок. Нажала кнопку.

Женщина, что открыла, очень хотела спать. Это было заметно сразу, и Марта почувствовала неловкость, как всегда, когда она перебивала деловому человеку его планы. Лицо женщины было бесконечно утомленным.

— Гали нет,— сказала она.— Завтра.

— Мне Таису Михайловну.— Марта снова начала волноваться и виновато взглянула на хозяйку в дверях.

— Это я,— не удивилась та.— Заходи.

Они прошли по коридору, где слева стоял шкаф с длинным замком на дверцах, на стенке висел дамский велосипед с цветной сеткой на заднем колесе, лежали чьи-то лыжи, завернутые в обрывок мешковины.

— Заходи.— Женщина толкнула правую дверь.— Чего тебе? Если насчет квартиры — никого не возмущай больше, и так милиционер ходит через день. Это тебе Галька дала адрес! Выедет она, я еще подумаю, брать ли кого-нибудь — надоели вы мне все. Чего тебе! — Женщина оперлась локтями на стол и положила перед собой руки. Ладони были серыми и потрескавшимися, под ногтями грязь.

Марта обвела взглядом комнату — диван, постель у противоположной стены, стол, кое-как расставленные стулья, буфет с фарфоровыми безделушками и гипсовым бюстом Аполлона. Посмотрела на женщину, которая ждала ее ответа.

— Я к вам, Таиса Михайловна.

— Если хочешь, зови меня хоть «тетя Таиса», только быстрее, потому что я спать хочу,— знаешь ты, что это такое! Ну, так в чем дело!

— Собственно... я к вам, тетя Таиса. Моего отца звали Василь Михайлович Пирог, и он просил разыскать вас в Киеве.

Женщина убрала локти со стола.

— Ты Василева дочка! Врешь. У него не было детей, и он погиб на войне. А ну, покажи паспорт.

Марта достала зелено-золотую книжечку с орлом на обложке, Таиса посмотрела на фото, попробовала прочесть.

— Да ты откуда!

— Из Штатов.

— Каких Штатов!

— Из Америки.

— Этого еще не хватало! — Тетка Таиса испуганно посмотрела вокруг.

— Отец умер два месяца назад.

Таиса молчала, вопросительно поглядывая на поникшую Марту. Обвела ее глазами, подождала немного.

— Жилось вам неплохо. Василь умел. Умел устраиваться, что там говорить. Это я, дурная, тут надрылась, — тетка показала ладони с черными пятнами на пальцах, — Василь умел жить, земля ему пухом. До Америки, значит, доехал. Погоди-ка, давай по глоточку за братову душу. — Открыла буфет и достала две рюмки с золотой каемочкой, початую бутылку водки. Подвинула рюмку к Марте: — Вот все, что осталось из посуды. Квартиранты — чужие люди. Восемь таких рюмок было — все разбили. Тарелки побили, покололи. Да и соседней мне бог дал — только жалуются, а какое им дело, работаю я или нет. Ты скажи мне, что отец велел.

— Повидаться с вами.

— А что завещал мне!

— Ничего.

— Как ничего! Хороший братик у меня.

— Отца уже нет.

— Ну, а когда был, не мог он про меня вспомнить! — Таиса смотрела на Марту ошеломленно, словно не верила, что это ее собственная племянница — девочка на том конце стола. Вспомнила: — Я его из Киева провожала, когда они ехали. Сама, глупая, не захотела. Ждала своего, а он уже живым не был в сорок третьем. Еще в Сталинграде погиб мой Петр. Василь выезжал из дому — целую полку занять успел в поезде, а у него и класть-то туда было нечего. Он два чемоданчика взял да жену. Как твою мать зовут!

— Верой.

— Вот-вот — Веру. Она там, с тобой живет!

— Она погибла.

— И Вера, значит...

Марта оглядывала теткин комнату — бюст Аполлона, буфет, стулья, стол, постель с розовой накидкой. Диван напротив.

Скрипнули двери, и из коридора потянуло горячим.

— Ну, — тетка подняла рюмку, — за твоего отца. — Марта немного отпила и отставила водку. — Э-э, не годится! Постой, я сейчас дверь закрою. — Тетка поднялась, сказала что-то в коридор, села. — Допей! А знаешь, я-таки обо всем помню, даже страшно, когда подумаешь. Помню Василя, словно здесь он, словно вчера его видела. Так с этим и помру, как собака, — с такой памятью разве живут! Ой, доченька, все я помню, как есть все, — только тебя вот не видела. Да и откуда! Допей, допей все...

Тетка Таиса была совсем не похожа на отца, — лицо, руки — все было другое, и Марта никак не могла привыкнуть, что эта женщина — плоть от плоти, ее родное.

У тетки Таисы были такие же глаза, как у висконсинских пьяниц — «бомов». Все это — чад из кори-

дора, портрет мертвого мужа на стене, чужое платье на спинке кровати, буфет с двумя недобитыми рюмками и початая бутылка — было фоном для усталого лица, для рук с грязными ногтями. Тетка Таиса приросла ко всему этому, и Марта с ужасом поняла, что уже не может представить ее в другой обстановке.

Тетка уже выпила третью рюмку и немного опьянела.

— Ты знаешь, дочка, уж я таковская. Не та жизнь, что у тебя, — машины у меня нет, землемер — девчонка из индустриального техникума — спит на моей свадебной постели. Да, да — мы с Петром купили эту кровать в тридцать пятом, — не могу продать ее, хотя она велика — двуспальная. Кажется, если продам ее, помру. А пожить еще хочется. Иногда думаю, что уж хватит, зажилась, а выйду на улицу — солнце светит, воробьи прыгают, — неужто, думаю, им легче. Хотела продать кое-что, собрать немного денег и податься на Петрову могилу, только, где та могила, косточки истлели уже. Вот и живу. Ты к Ольге пойдешь. У ней муж книжки пишет, «Волгу» водит, только не любит его Ольга, — это я говорю тебе, чтобы ты знала, — не любит. Я бы не могла так жить, как она, — зачем! Знаешь, дочка, наших мужей на войне поубивало — моего, ее. Я со своим хоть пожила немного, а она своего и не увидела, взяла того писателя, прости господи, лучше бы оставалась до смерти в девках. Наши-то мужики в блиндажах засыпаны. Как Петро мой, как Павло. — Таиса пересела на диван и начала плакать, положив голову на круглый валик, обтянутый черной клеенкой. Она плакала в голос, всхлипывая, охватив руками седую голову, негустые свои серые волосы. Потом вытерла слезы и посмотрела на Марту: — Устроила я тебе спектакль — по телевизору не увидишь. А ты не удивляйся — не с кем мне разговаривать, да и не хочется иногда. Так, под настроение ты пришла. Есть хочешь!

Марта покачала головой — есть ей не хотелось. Тетка не настаивала.

Потом Таиса взяла в углу черную сумку с обшитыми клеенкой — такой же, как диванный валик, — ручками.

— Ты надолго сюда! — повернулась к Марте. — Пошли со мной — проводишь, заодно поговорим. В баню пойду. Нужно помыться немного — вижу, и тебе мои руки не очень нравятся. Пошли. Хочешь, и сама помоешься, не помешает. — Тетка спрятала в буфет рюмки и бутылку, подняла сумку. — Пошли. Хотела полежать немного, да уж все равно.

Только теперь Марта увидела Таису Михайловну Пирог в полный рост.

Она была много ниже отца, и несходство, которое так удивило Марту сначала, стало еще более разительным.

Она ходила чуть сутулившись, прижав правый локоть к животу, и близоруко искала что-то во всех углах, пока Марта поднималась со стула, чтобы идти с ней.

— Вы носите очки! — спросила Марта.

— А зачем! На черта они сдались — радио слышно и так, а повестки из милиции мне соседка читает. Да и в повестках-то пишется одно и то же: «За нарушение паспортного режима...»

Марта поднялась, вышла из комнаты, слушая, как гремит ключ в теткинских дверях.

Уже на улице тетка спросила у нее:

— Ну как, ты меня такой представляла!

— Не знаю, — ответила Марта. И сказала чистую правду. Все было неожиданным, собственно, Марта и не знала, чего ждать.



Баня оказалась двухэтажным зданием, облицованным белой плиткой внутри и снаружи. Около кассы тетка обернулась к Марте:

— Дай тридцать копеек.

Марта дала монеты и увидела в круглом окошечке кассы лицо, до того похожее на теткинo, что ей стало страшно.

А может, ей это показалось, на свете много женщин с серыми от седины волосами и глазами, опухшими и в мелких морщинках, которые переходят на виски и на лоб.

— Пошли,— сказала тетка Таиса.

На длинных скамейках, что стояли рядами вдоль белых шкафчиков с одеждой, сидели женщины, много, может, сто женщин.

Женщины причесывались, взвешивались, ходили по деревянным решеткам, положенным на мокрый пол.

В глубине дверь все время открывалась, дыша паром, и оттуда выходили молодые, старые, пожилые, белокурые, черноволосые, седые, у всех лица были мокрые, и все быстрым движением собирали волосы на затылке в кулак и накручивали на руку разноцветные пряди волос.

Тетка уже разделась и стала перед Мартой, тело ее было морщинистым и серым, как руки и лицо.

— Чего вытарачилась! — растерянно сказала Таиса. — Раздевайся. Найдешь меня около душа. Полотенце я тебе оставила.

Ей все-таки было неловко.

Марта почувствовала это и отвела глаза.

Та медленно зашагала в конец помещения, где дышали паром открытые двери.

Марта шла вдоль деревянных скамеек, на которых было разбросано бледно-зеленое и сиреневое белье, лежали мокрые полотенца и сидели молодые, пожилые, старые, белокурые, черноволосые, седые женщины, изнеможенно вытянув, как после счастливого свидания, утомленные, распаренные тела.

Марта шла мимо них в тонкой белой рубашке едва до колен и почувствовала себя такой же голой под их взглядами, перед их лицами и телами, которые родились, созрели и состарились на этой земле, которые рожают детей и учат их жить.

На последней перед дверями скамье сидела старая женщина. Культя правого бедра лежала на лавке, и женщина мяла пальцами шрам, шлепала ладонями по розовому обрубку ноги.

— Чего ты уставилась! — сказал голос сзади. — Постыдилась бы. Уже взрослая. Имей совесть — чего ты разглядываешь, лучше бы заплакала.

Потом ей сказали что-то злое, Марта не расслышала, потому что представила себе войну, женщину в траве и кровь.

Марта быстро надела теплое светло-зеленое платье и почувствовала, что все равно ей холодно, как два месяца назад, когда умирал отец и она тоже думала о войне.

К ней вернулся страх, горький и беспричинный, она знала, что он вернется, но почему, почему мо-

жет быть больно столько раз на протяжении одного дня!

Марта выбежала на улицу.

Шли мужчины, шли красивые женщины, люди входили в баню и выходили из нее — все были непохожи на тех, что сидели этажом выше и смотрели перед собой, расслабив невероятно усталые тела, которые тоже все помнили; тела, с которых смыта уличная пыль и пот. С которых отмылось все. Кроме шрамов.

ОТЕЦ (4)

«Ты сожги этот дом, — сказал отец, — если он тебе не дорог. Только лучше продай его. Сожги мою постель, одежду, мои вещи — пусть все уплывет с ветром. А дом продай».

Марта зажмурила глаза и представила весь их дом — с высоким навесом над крыльцом и подвалом, спрятанным под землей. Это был мир старых вещей — отец почему-то волок их не на чердак, а вниз — не так, как все. Проходил год, другой — отец вытаскивал все барахло из подвала, и раскладывал во дворе, и смеялся, потому что знал, что каждую из этих вещей — старый утюг, дырявый котел, вытертую щетку — он не возьмет назад. Это был обряд прощания с мертвыми вещами, которые исчезали потом неизвестно где. Отец мыл руки и смеялся — как он хорошо смеялся, пока еще умел...

Отец не мог разговаривать долго. Он повторял вещи очевидные — все это было сказано сто раз и записано в завещании. Потом засмеялся:

«Мы словно перед отходом поезда. Все сказано, а состав не двигается».

Закрыв глаза, и опять, опять Марта поймала себя на мысли: а встретится ли она с отцовским взглядом через несколько минут. Она притаилась в углу и стиснула ручки кресла до боли в ногтях.

Моисей

Радио бормотало так тихо, что слов не было слышно — только шелест из черной коробочки, словно в пластмассовой клетке жила мышь и скреблась короткими серыми лапками, ища оконце. Марта не могла избавиться от голоса репродуктора, — если она прикручивала регулятор, радио шелестело, словно диктор потерял голос и тасовал листы бумаги перед микрофоном. Было слышно все, что делалось за дверью: шаги соседей, торопливый бег дежурной, когда пьяный в конце коридора не мог попасть ключом в замок и кричал по-немецки сам на себя.

Вокруг комнаты Марты двигались люди. На площади за окном — торопливые киевляне, за дверью — соседи по отелю, которые собирались выйти на эту самую площадь перед зданием или возвращались с нее.

Марта лежала головой к окну и ощущала, как проснувшийся город будит ее. Села в постели. Вспомнила, как час назад звонил телефон.

Марта понимала, что звонят ей, но не в силах была подняться и взять черную трубку, не в силах была протянуть руку к репродуктору, где мышь погрызла уже, наверное, все сообщения о мировых катастрофах, о сегодняшних чемпионах и о завтрашних дождях.

В комнате Марты хозяйничали звуки, ей не подвластные, — звонки, голоса, музыка — мир не давал ей ни минуты покоя, и она уже свыклась с мыслью, что так и должно быть. Марта вытащила из розетки черную вилку — шелест в динамике прекратился. Но она чувствовала, что вокруг плавают сотни других голосов, оборвалась только одна из ниточек, связывавших ее с миром под окнами. Марта смотрела, как торопятся они — люди, троллейбусы, автомобили. Сон от нее отскочил.

Когда телефон зазвонил еще раз, Марта взяла трубку и несколько минут молчала, слушая дыхание невидимого собеседника. Она была уверена, что это Виктор, кто же еще! Но не отвечала и слушала, как далеко от нее волнуетса безмолвный партнер.

— Алло, — сказала трубка в ухо. — Алло. Что там у вас?

Голос был чужой. Марта ответила сразу же:

— Мы спим. То есть я сплю. — Она засмеялась и не расслышала начала фразы, которая потекла ей в ответ, захлебнулась в телефонной трубке и мягко тронула ухо:

— ...вич из «Интуриста». Вы меня еще не забыли! Как там у вас? Все ли хорошо? Не нужно ли...

Она отняла трубку от уха, и голос стал неразборчивым.

Марта смотрела на площадь перед окном, и голос жил рядом с ней, словно шорох автомобильных шин, она уже не различала в нем некоторых звуков.

— ...ак, — заканчивал голос, — по этому телефону. Не забудете!

— Спасибо.

— У вас хорошее настроение! — сказал голос.

— Очень. — Марта улыбалась в трубку и, когда телефон звякнул, замолчав, подпрыгнула перед неубранной постелью. Ей даже стыдно стало от этого прилива радости, причины которой она и сама не поняла.

Виктор позвонил почти сразу же.

— Я уже звонил сегодня, — сказал Виктор, — я уже звонил вам, но было занято. Вы живете в гостинице, где одни иностранцы. Это они, наверное, заняли линию. Вам не странно быть там с ними!

— Нет, — ответила Марта, — не странно.

— Можно мне вас увидеть?

— Можно, — сказала она. — Приходите сюда завтракать. Через полчаса я буду ждать вас в вестибюле.

— Ждать буду я, — засмеялся Виктор, — потому что я звоню снизу.

...Марта привела его в большой зал, где одна стена была стеклянной, а другая словно сложена из тарелок — расписных дисков: на донышках жили неправдоподобные львы с коровьими рогами и росли зеленые, черные, оранжевые цветы, похожие на живые существа. Стена была темная и казалась от этого еще более живой, потому что звери, листья, цветущие ветви — все это колыхалось в солнечных лучах, отделялось от стены — ничто живое не прирастает к крашеному бетону, и тарелки жили на стене, словно птицы в пестрых клетках. Марта объяснила Виктору, что она видела такие птички рынки

в своем городке, и еще рассказала, как у лестницы парижского аэропорта в бассейне плещутся утиные семьи и плавает там селезень, яркий, будто раскрашенный. Виктор смотрел на нее удивленно и молчал, переключая перед собой никелированный нож и вилку.

— Откуда вы, Марта,— спросил Виктор,— откуда вы?

— Я приехала из Соединенных Штатов,— сказала Марта,— но знаете, Виктор, я бы хотела найти землю, где меня ждут, где меня захотят кормить и учить.— Она коротко двинула ладонью, охватив пальцами узкий край стола.

— Я это знал.— Парень, что сидел напротив Марты, наклонился и взглянул на нее.— Я это знал. Я понял — неожиданно, когда выяснил, что вы живете в гостинице «Интурист». Вы давно здесь! Вам нравятся Киев!

— Не говорите со мной, как гид в автобусе.— Марта засмеялась.— Вы сегодня мой гость. Мой гость. Мы вдвоем завтракаем. И не имеет значения, откуда я и откуда вы. Тут нейтральная территория. Хорошо!

Виктор молчал. Он придвинул к себе стакан с чаем и покачал головой:

— Почему вы сразу не сказали! Я первый раз завтракаю здесь и первый раз с иностранкой. Вы говорите со мной на одном языке. Но вы из Штатов, как вы общались. Это так далеко. Послушайте, я, студент медицинского института, сижу с вами здесь, словно ничего не случилось, словно так и должно быть...

— А что же случилось! — спросила Марта.

Виктор пожал плечами и отодвинул чай. Посмотрел на девушку. Он заметно волновался.

— Скажите,— только не сердитесь,— ваши родители — националисты! Знаете, там у вас разные люди живут, много плохих.

— А вы встречали кого-нибудь?

— Нет, но знаю.— Виктор глянул на Марту.

— В Америке действительно живут разные люди, вы правы,— сказала она.— Мои родители умерли. Я об этом вам говорила. А почему вы спрашиваете о них!

Виктор неловко усмехнулся:

— Вы для меня экзотика, как-никак, хочу знать о вас больше.

— Экзотика! — Марта только теперь об этом подумала.— Как для меня вот эта стенка из тарелок!

— У нас такой экзотики полхаты было,— он кивнул на стену из тарелок,— в посудном шкафу. Удивительно, тарелки, из которых нельзя есть. Не смейтесь — это искусство, я знаю. И все-таки — я о тарелках — красивые, а есть с них нельзя — это мертвые тарелки, для иностранцев. Знаете, девушек таких снимают в кино — красивые, приятно на них смотреть. И все. Это девушки, чтобы смотреть издалека. Не девушки.

— А кто девушки?

Виктор улыбнулся впервые за все утро:

— Кто девушки! Вряд ли я тот знаток, который даст вам убедительный ответ. Кто девушки! Ну, по крайней мере не те, что в театре и в кино.

— А что такое театр!

— Вы хотите, чтобы я ответил на все вопросы сразу. Думаете, я так много видел театров, чтобы рассказать вам о них как нужно! Ну хорошо, слушайте одну историю, это о театре. После войны в клубе нашего района создали драмкружок. Не знаю, как занесло к нам в Гиревку квалифицированного руководителя, только в первый год после победы поставили у нас «Суету». Соменко — так звали ру-

ководителя — все делал сам: актеров гримировал, подкладку для генеральской формы шил, чтобы все, как в Киеве. Там есть такое место в пьесе, когда гости подходят к столу, а на столе стоит что-то съедобное — пирожки. И тут же гости расхватывали их и сжирали в одну секунду. А пирожки были Соменковы — он из дома приносил, а после спектакля собирался ими ужинать. Раз съели, два съели. Сделал он бутафорские пирожки — из глины, не то. Кресла чуть ли не на сцене стоят, зрители все видят — не те пирожки, да и все. И актеры в рот не несут. Заказывать из папье-маше или из чего их там делают для театра Дорого. Тогда Соменко лишил себя ужина еще на один вечер и на спектакле, когда собрался полный клуб с начальством во главе, положил на стол настоящие пирожки еще раз. Только облил их керосином. Пирожки стояли на столе, но есть их было нельзя. Это было таким неслыханным кощунством — пирожки, облитые керосином в голодный год,— что драмкружок распался. Соменко выехал из Гиревки — его не могли простить, как не прощают людей, которые кидают хлеб на дорогу. Пирожки существуют, чтобы их ели, а тарелки, чтобы на них клали еду. Правда же!

— Не обязательно. Вы слишком практичны,— улыбнулась Марта. Потом громко рассмеялась.— Вы знаете, что моя фамилия — Пирог!

— Знаю. А почему вы это говорите! — Виктор покраснел и замолчал.

— Пейте чай,— сказала Марта. Она смотрела прямо перед собой и внезапно представила Виктора за столом у них на ферме — как бы он держался в окружении стариков, что жили поблизости! Тем более он доктор. В их округе очень уважали врачей, но их не было, разве что один — Дидик, но тот жил далеко и не ходил в гости к фермерам. Стефенсоны и Кларенсы рассматривали бы Виктора с интересом. А отец! Потом она четко осознала, что отца за столом не будет. Никогда не будет.

— Что с вами! — спросил Виктор.

— Тут есть музыка! — Марта посмотрела на стену с тарелками и обвела взглядом зал.— Есть тут музыка!

— По вечерам.— Виктор пришел сюда впервые, но он знал, что днем в ресторанах не принято развлекать посетителей. Днем тут едят, вечером — тоже едят, только медленней. С интервалами для танцев. Он знал, что в рестораны ходят не часто, что там не всегда весело и что женщины не должны платить, если приходят с мужчинами. Виктор пытался угадать, сколько денег ему понадобится,— но это были напрасные усилия, потому что десять рублей лежали в пальто, оставленном внизу.

— Простите,— сказал Виктор,— я сейчас вернусь.

— А мы уже уходим. У меня тоже мало времени. — Марта подошла к официанту и подала ему узкую бумажную ленточку, как почтовые марки. Виктор почувствовал, что краснеет, бессильный помешать унижительной процедуре, когда женщина платит за его несъеденный завтрак, а он должен стоять и делать вид, что ничего не случилось.

— Я хочу поймать вас на слове. У вас есть обещанные четверть часа для меня! — Марта посмотрела Виктору в лицо. Он утвердительно кивнул головой.— Только четверть часа. Без вас я не справлюсь.— Марта вышла из зала, в последний раз посмотрев на сияющий на красной стене ряд тарелок. Солнце скользило по блестящим доньям, и она подумала, что есть тарелки, в которые наливаются не борщ, а свет. Мысль эта оказалась неожиданно такой красивой, что Марта громко засмеялась.

— Почему вы все время смеетесь! — оглянулся Виктор.

— Чтобы не заплакать.— Марта быстро пошла наверх по крутым ступенькам. Она представила себе, что выросла здесь и закончила школу тоже здесь, представила себя коллегой Виктора и попыталась понять, что в жизни делает их разными. Это было странное ощущение — они говорили на одном языке, но языка было недостаточно. Она оглянулась.

Виктор стоял рядом со швейцаром перед стеклянными дверями и смотрел ей вслед.

Марта взяла ключ у коридорной. К табличке с номером комнаты была приколоты записка.

— К вам приходила женщина. Я сказала, что вы ничего не передавали и не просили сказать ей и куда-то ушли. Правильно! — Дежурная пожалала плечами.

Марта развернула записку — тетка Ольга.

«Я пришла к тебе — напрасно. К тебе, оказывается, нужно приходиться очень рано,— ты находишь дела спозаранку. Я хочу тебя видеть — мы еще не виделись, правда же! Ольга».

Марта повертела записку. Больше ничего. Только номер телефона. Она поблагодарила дежурную и пошла к себе. Внизу ждал студент, у которого не было времени.

Она еще не знала, зачем задерживает Виктора, просто не хотелось ей так быстро отпускать этого хлопца: ей приятно было смотреть на его неловкость и попытки быть более взрослым, чем он был на самом деле.

Виктор был единственным звеном между ней и ровесниками, которые выросли здесь. Она разглядывала его, думая о себе.

Когда Марта прошла коридором с десяток метров, открылись двери и высокий человек появился на пороге такого же, как у нее, номера. В комнате за спиной человека блистала стеклянная стена, и на журнальном столике лежал рушник. «Хелло, мисс!» — сказал человек. Он был пьян и не собирался этого скрывать.

Марта быстро проскочила мимо, и, пока открывала свою дверь, она слушала, как со страшным немецким акцентом сосед ее ругал по-английски отель, рестораны города и собственную жену заодно. Весь монолог — Марта поняла это — был адресован ей, и оттого она торопилась, как никогда, и не могла открыть серую дверь с голубой табличкой номера.

— Тут можно только напиваться или вешаться, — сказал человек с немецким акцентом.— Они отстроили свой город, чтобы было где выпить, и насадили много деревьев, чтобы было где вешаться. Хотя их мы вешали на балконах. Если бы этот город сжечь еще раз, он бы уже не воскрес. Провалятся все прогоревшие балки, потому что их тут тридцать метров под городом — столько раз он горел. Моя жена тоже провалится, и останемся мы с вами.

Марта быстро толкнула дверь. Светилась стеклянная стена, и рушник лежал на журнальном столике — такой же, как у пьяного рядом. Села и закрыла глаза.

Стукнуло в коридорчике около входа. Немец стоял перед ней, раскинув руки.

— Вот вы не хотите остаться вместе со мной. Думаете, я боюсь тех людей, вы думаете, я боюсь их! Никого я не боюсь, и никто меня не узнает на этих улицах — они все мертвые, мертвые все они. И мы с вами мертвые тоже.— Немец ударил кулаком в тонкую панельную стенку и упал на колени. Он ох-

ватил голову руками и крикнул Марте еще раз, что никого не боится, что у него нет страха и никогда не было.— Варум криг! — выдохнул человек и посмотрел на нее неожиданно трезво.— Варум криг! Дайте мне руку.— Он обращался к Марте по-английски.— Руку дайте. Я встать не могу. У меня протез.— Марта подтолкнула стул. Человек схватился за спинку, оклеенную зеленым липким дерматином, и встал.— Почему вы молчите, мисс! — Немного постоял и вышел, хлопнув дверью. Марта схватила со столика ключ, быстро заперлась изнутри, прижала ладони к лицу, которое покрылось мелкими каплями пота. Слова возникали в памяти и выстраивались друг за другом:

«Блаженны те, что идут стезею безгрешною, живут по закону господнему!»

Блаженны те, что хранят заветы Его, что ищут Его всем сердцем и что не творят зла и идут Его путями!

Ты дал заветы свои, чтобы исполнять их неуклонно.

Если бы дороги мои были верными, чтобы держаться заветов Твоих...»

Псалом — его пели над отцовским гробом. Марта вспоминала чужой голос и тот страшный речитатив, который врезался в память до последнего словечка и возвратился теперь к ней, и не перед кем плакать — глаза ее плакали без слез.

Марта посмотрела в зеркало и вдруг заметила, как она повзрослела за эту зиму — удивительно...

Она сидела в мягком кресле напротив стеклянной стены, и люди, совсем рядом с ней, смотрели на нее, открывали беззвучно розовые рты и смеялись, разговаривали, разговаривали. Марте вспомнился Леон Сиволоб — отец его жил в Штатах с тридцать восьмого года. Леон закончил университет и работал ассистентом профессора на факультете земледелия. Когда Марта встречалась с ним, она чувствовала удивительное свое превосходство, потому что знала украинский язык и умела говорить на нем. Удивительное — потому, что и сама не понимала, зачем ей выученный по отцовскому настоянию язык, которого Леон не знал да и не пытался учить. Он был Сиволом. Леон Сивол — старинная фамилия укоротилась на полслова и тоже стала английской, как он сам. Сиволоб принимал чужие слова и обычаи, как свои, но все-таки был чужим, хотя был старательным учеником, гораздо старательней хозяев. Иногда Леон говорил ей: «Слушай, девочка, зачем это тебе!»

Марта посмотрела в зеркало. Действительно, зачем! Потом взглянула в стеклянную стену. Этот мир умер бы для нее, если бы существовал без слов об отце, без шороха в коробочке репродуктора, без Викторových многозначительных фраз; мертвый, немой мир, в котором могли бы существовать только мертвые. Мертвые... Она носила в себе слова украинской речи, как нитку, которая привязала отцовскую душу к киевским горам; побег неведомого дерева; отцово продолжение — боже мой, как приросла она к мертвому отцу...

«...Ты дал заветы свои, чтобы исполнять их неуклонно.

Если бы дороги мои были верными, чтобы держаться заветов Твоих...»

Она еще раз увидела мертвое лицо — оно почему-то приходило к Марте только таким, и она не могла заставить глаза открыться. Его глаза.

Надевала плащ, стоя над круглой площадью, откуда не доносилось ни одного звука.

Когда Марта сошла по лестнице в тесный вестибюль, заставленный киосками, залепленный фото-

графиями и объявлениями об экскурсиях, гам было пусто и тихо. Швейцар в адмиральской фуражке стоял около стеклянных дверей, которые даже не покачивались; все, кто хотел, вышли уже отсюда, и никто не вернулся. Марта оглядела эту стеклянную пустоту—Виктора нигде не было. Он тоже ушел. Она почувствовала себя не удивленной, но обиженной: Виктор ушел, оставив ее с Киевом наедине; и Марта сделала шаг к дверям, а потом вышла, и люди принесли ее и понесли — вокруг круглой площади, а потом по улице, длинной и белой, которая плавно изгибалась, как беговая дорожка стадиона. Ей казалось даже, что она узнает прохожих, невысоко — метр над землей — плыл теплый автомобильный запах, машины дышали ей в колени, звенели троллейбусы, и люди из высоких окон смотрели на нее, неторопливо поворачивая головы и щуря глаза от солнца. Марту не оставяло впечатление, что она наблюдает за каким-то удивительным действием, организованным специально для нее; теперь она почувствовала себя участницей этого действия.

Зашла в троллейбус и ехала, оглядывая людей на тротуаре, отвечала соседке и рисовала пальцем на стекле.

Она уже привыкла к этой жизни у витрины — стеклянная стена в номере, высокий прозрачный пластик, из которого состояла большая часть троллейбуса, — город не позволял ей прятаться от него, удивительный город по ту сторону стекла.

— Рано потеплело, — сказала женщина рядом, — ой рано. Помните прошлый год! И теперь так будет: как ударит мороз — запрыгают. Смотрите, обрадовались. — Она показала красным лакированным ногтем на улицу, где шли девушки в белых, желтых, синих платьях. У юношей дым от сигарет висел мгновение над губами, расплзался по ветру и цеплялся за набухшие ветви. — Рано потеплело, — повторила женщина. Потом оглядела Марту и улыбнулась. — Да вы тоже из них. Студентка!

— Студентка, — сказала Марта, проходя к выходу.

Раскачиваясь на мягких шинах, ехали троллейбусы — голубые с белыми полосками, Марта заглядывала в них — маленькие домики на упругих колесах, — и веселые загорелые парни задевали ее и обдавали терпким запахом табачного дыма.

И внезапно Марта подумала об отце и вспомнила, что должна похоронить его здесь, завернутого в титульный лист, заклеенного в белый конверт, — пылинки отцовского тела, стало больно оттого, что она так мало думала о нем в последнее время. Шла бы теперь рядом с ним — Марте казалось, что все узнавали бы их и здоровались. Она поклонилась киоскеру, тот растерянно пожелал ей доброго здоровья и сказал, выглянув из своей будки:

— Ну, как весна! Весна-то какая сегодня!

Марта улыбнулась и села на скамейку за киоском. На дороге, которая вела к ним на ферму, стояла почти такая же скамья. Каждый день там клали кипу газет с приложениями и жестянку для мелочи. Марта относилась туда — еще в детстве — по десять центов и возвращалась к отцу с толстой пачкой, которая пахла краской и плохой бумагой. Соседи, как правило, газет не читали. Они приходили в гости и брали прогнозы на весну или советы огородникам или просматривали приложение. Не потому, что Стефенсоны, например, не могли купить газету. Просто отец был для всех авторитетом, и он так рассказывал обо всем на свете, что самому все это читать было не нужно. Хотя отец постепенно утрачивал интерес даже к газетам. Под конец.

Зимой газеты лежали в железной решетчатой ко-

робке, снег набивался между страницами, и она старалась выгрести его еще за дверьми. Это не удавалось, и газета, когда отец читал ее, набухла влажными пятнами.

— Здравствуйте, — вышел киоскер. — Мне ваше лицо очень знакомо. Я и действительно вас где-то видел. Откуда вы!

— Я не киевлянка, — сказала Марта. — Вы не могли меня видеть.

— Почему же вы поздоровались!

— Не знаю. Мне не с кем здороваться в Киеве. Это вас не обидело!

— Что вы, что вы! — Киоскер запирает свою будку. Потом спрятал ключ и еще раз посмотрел на Марту. — У меня обеденный перерыв. Вы приезжая! Вероятно, хотите есть. Видите, вон столовая. Вставайте, вставайте, поднимайтесь, не бойтесь. На скамейку, где сидите вы, каждый день до моего прихода складывают мешки с газетами. И, представьте, никто не украл. Люди считают, что лучше купить одну газету, чем украсть шестьсот. Ну кому, скажите, нужны сорок экземпляров газеты «Труд» одновременно! Так пойдем!

— Пойдемте, — согласилась Марта и встала.

Они дождались зеленого сигнала и пересекли улицу по всем правилам. Даже троллейбус обошли сзади.

Киоскер протолкался к столику, где лежали подносы, облитые борщом, занял очередь и поставил перед собой блюдечки с шинкованной капустой, тарелку с пюре и мелко нарезанным мясом.

Марта почти автоматически повторяла все движения киоскера и когда он заплатил за себя и за нее, поблагодарила, ища свободный столик в зале.

— Вы удивляетесь! — Продавец газет расставил тарелки на столе и повторил вопрос. — Вы удивляетесь! У меня сегодня, простите, день рождения. Меня зовут Моисеем Борисовичем. Так вот, у меня сегодня день рождения, и я пригласил вас в гости. Просто так, знаете. Мне приятно было, что вы первая за этот день со мной поздоровались. Врач запретил мне выпивать — диабет, знаете. Я прошу вас съесть за мое здоровье эту капусту.

Марта улыбнулась маленькому седому человечку, который сидел перед нею и переставлял тарелочки с капустой, и пюре, и стакан апельсинового сока. Моисей Борисович виновато усмехнулся ей:

— Я вас не задерживаю! Простите, но у меня нет родных, знаете. Совсем никого. Я вот смотрю на вас — моя дочка могла бы быть такой, как вы. Сколько вам! Нет, простите, моя на пять лет старше. Только ее, знаете, немцы убили, вместе с женой. Вас тогда еще, простите, на свете не было.

— Вам хорошо тут! Хорошо живется! — спросила Марта.

— Хорошо! — Продавец газет поднял на нее глаза, абсолютно лишенные цвета и выражения. — Хорошо! Я имею где спать и имею что есть, и у меня есть знакомые, и эта земля, простите, болит мне. Знаете, нужно жить там, где земля тебе болит. Как это вам объяснить! У меня убили мать на Подоле шестьдесят лет назад; так могу я, простите, отсюда уехать, если у меня убили тут дочку и жену! Я имею стул в киоске. Но, простите, под тем стулом есть земля и там немножечко моей крови. Мой отец был евреем, жидом пархатым, как тогда кричали погромщики, — он это знал и нам рассказывал, мы тоже знали, потому что мою мать убили на Подоле именно за это самое... — Он продолжал: — В оккупацию меня спрятали наши соседи. «Сиди и не высывайся», — говорили мне. Так я, простите, сидел и не высывался. А жена моя понесла дочку к

врачу — ну, скажите, могу я ее за это осудить? — и не пришла назад. Я тут живу, разговариваю с вами по-украински и ем, простите, капусту. Да, я имею тут вдосталь капусты, только если бы у меня ее и не было, я все равно не ушел бы отсюда, потому что здесь моя родина и я умру тут. Вы откуда? Я все, простите, о себе да о себе.

— Я издалека. Из Америки.

— Из Америки! Боже мой, боже мой! И вы можете там жить!

— Я нигде больше не жила.

— И вам болит Америка?

— Немного.

— Немного. Значит, вы еще не дома. Ешьте, прошу, капусту.

Киоскер говорил о жизни, об одиночестве и о земле под ногами, а Марта понимала, что не всякая земля, по которой ходишь, принадлежит тебе. Продавец газет посмотрел на нее внимательней:

— Послушайте, если бы я был на вашем месте, то я бы не мотался по Америкам. Я бы не выезжал даже в туристские поездки. Такая земля не отпустит от себя; и ее не следует отпускать, она, простите, как молодая жена. Вы меня понимаете? Вы меня не понимаете. Ну, хорошо, сегодня у меня день рождения, и я прошу скушать пюре за мое здоровье. Это — очень вкусное пюре.

Человек из газетного киоска посматривал на Марту прищуренными глазами, которые перебежали с его лица в тарелку с размазанным по доньшкуну коричневым слоем пюре в подливке.

— Боже мой, — сказал киоскер, — как вы можете жить в Америке и говорить по-украински — вы же и думаете на украинском! Если вы хотите закрыть глаза навсегда, где вас, простите, похоронят! На именинах не говорят о грустном, и я не имею права портить вам настроение. Доешьте свою капусту. Видите, я не спрашиваю даже, как ваше имя. И не плачьте, пожалуйста; я-то ведь имею право чирикнуть на вас из своего, простите, скворечника.

— Кому я тут нужна? — спросила Марта.

— Эх! — Именинник покачал головой. — Вы не поняли меня. Родная земля — это не только там, где вы нужны кому-то! Своя земля нужна вам самой, прежде всего — вам; это родной очаг, родные люди, все, что греет душу и сердце. Она, земля эта, полита кровью предков, распахана и застроена их руками! Не мне вас учить. Ваши предки, простите, освятили эту землю именно для вас. Так мне кажется.

Киоскер собрал со стола крошки и высыпал себе в ладонь. Он бережно сжал ладонь и пересыпал все крошки в пустую тарелку.

— Я благодарю вас за то, что вы приняли приглашение. Но вы правда из Америки?

Марта утвердительно кивнула. Она достала из сумки шариковую ручку, на корпусе которой виднелась полустершаяся надпись черными буквами — «Марта Пирог»; бережно протерла и подала имениннику.

— Это мой подарок. — Она попробовала улыбнуться.

— Спасибо. — Маленький человек поклонился Марте. — Мне ничего не дарили сегодня. Вы первая. Марта попробовала улыбнуться еще раз.

Идя по улице, она думала об удивительном стечении обстоятельств: все люди говорили сегодня с нею о родном доме.

Марта оглянулась: именинник уже торговал газетами.

Снег падал густо, запорошил окно, и Марте иногда казалось, что снегу намело до самых подоконников, еще немного — и дом потонет в снегу — единственный в мире их дом, где они вдвоем с отцом дождались еще одной ночи.

«Марта! — Отец позвал ее из своего угла. — Марта, ты знаешь, почему разбился Икар? Знаешь, почему? Не потому, что он взлетел слишком высоко — близко к солнцу. Просто отец его, Дедал, не сумел сделать крыльев для собственного сына». Отец засмеялся — это был очень короткий смех, потому что потом лицо его скривилось от кашля, — он свистел невидимыми легкими, словно крошечные музыканты играли не в лад в темном застенке.

Марта посмотрела вокруг — как помертвел дом за последнее время! В углу валялся одинокий воротничок от рубашки — неизвестно, почему. Воротник, который, наверное, никогда не прикоснется к шее хозяина. Вещи, как и люди, умирают от ощущения собственной ненужности.

Отец кашлял на постели, и уже не было слышно, как звенит снег, надавливая на квадрат окна, обращенного в опустевший дом.

Андрей

Марта сняла туфли и походила по номеру, потом села и уперлась пятками в прозрачную стену. Ноги ныли от усталости, просто разламывались. Болела голова. Марта закрыла глаза и на ощупь вытащила сигареты из сумки, которая стояла у ножки кресла. Затянулась горьким дымом и, не раскрывая глаз, положила голову на мягкую спинку и поджала ноги.

Ни один из прожитых ею дней не вмещал столько дел, как длинные киевские часы, поделенные ею между неизвестными раньше улицами и людьми и голосами в телефоне и репродукторе.

Марта внезапно поняла, как далеко она забралась; под ее закрытыми веками выплывали лица людей, которые ходили рядом с ней, рядом учились и работали.

Потом появилось лицо отца.

Марта вспомнила его приезд, последний приезд в университетское общежитие, где ей бывало одиноко, но ему — она знала — еще хуже. Ему было одиноко даже с ней вдвоем. Марта представила вдруг глубину отцовского одиночества — там, на ферме, без нее, и снова представила последний его приезд, когда, небритый, усталый, с черными кругами под глазами, отец стоял около подъезда университетского студенческого общежития и смотрел наверх, запрокинув седую голову. Он был чужой тут — бегали парни, девушки шли в кино клуб: показывали фильм «Процесс» — все суетились, и никто не обращал внимания на отца Марты, маленького небритого человека под высокой стеной чужого небоскреба. Марта повела его в кино — он смотрел на муки кафковского чиновника К., не дождался конца и ушел из зала. Когда Марта вышла, — курял

в вестибюле и виновато заулыбался навстречу ей, не вынимая сигареты изо рта. Они помолчали немного, потом отец пожал плечами: «Очень страшный фильм. Знаешь — этот маленький беззащитный человечек... Очень страшный фильм». Они больше не говорили об этом, пока не сели за кофе. Отец быстро заглянул Марте в глаза: «Ты думаешь, они приняли бы меня, если бы я вернулся в Киев?» — Потом постучал ложечкой в чашке. Опять посмотрел на Марту и, не отводя взгляда, подсунул ей пачку «Кемела»: «Прости, я курю очень крепкие, но от тебя пахнет дымом — ты куришь!» Марта отрицательно покачала головой и покраснела.

Она до сих пор не могла себе простить, что сврала отцу в последний месяц его жизни.

Марта открыла глаза и посмотрела на Киев. Сигарета почти дотлела, пепел рассыпался под креслом. Марта вытянула из пачки новую и прикурила, выдохнув первую затяжку в стекло прямо перед лицом. Второй раз за сегодняшний день она вспомнила слова песни, на этот раз действительно песни, а не псалма. Это одна из отцовских; неизвестно, где он собирал их и мурлыкал, стоя у окна, на ферме. Марта слушала из кухни. Ей во всех подробностях припомнился вечер, и хрипловатый голос, и даже запах, который висел над электрической печкой, раскалившейся за день. Марта снова закрыла глаза и даже не шевелила губами, повторяя те слова:

Серед Америки корчма мурована,
Гей, та п'ють в ній хлопці до білого рана.
П'ють вони та п'ють і так ся домовляють:
«Гей, поїдьмо, хлопці, до старого краю!»

Слова были чужими — эту песню отец привез когда-то из Чикаго, в один из нечастых своих выездов туда. Каждую вторую строчку он повторял по нескольку раз и не пел — словно беседовал сам с собой, иногда даже сигареты не вынимал изо рта:

...Во у старім краї так люди думають,
Що всі в Америці дужо грошей мають.

Это была длинная и невеселая песня. Марта открыла глаза и вспомнила ее до конца, разглядывая круглую площадку внизу. Она напонила себе тот вечер на ферме и обновила в памяти не столько слова песни, сколько хриплый отцовский голос. Где тот голос, где та ферма! Словно оборвался мир за нею — и все:

Попід землю, попід землю, попід сиві снали,
Гей, та попід сиві снали, як хробачки мали.

Потрясла головой и включила репродуктор. Диктор слегка зашевелился в черной коробочке и вдруг радостно закричал и начал говорить с таким энтузиазмом, что думать уже было невозможно.

Пошла в ванную, осторожно переступая в чулках через горки пепла на полу. Не хотелось надевать туфли. Вытряхнула пепельницу и старательно ее помыла.

Оцепенение незаметно прошло, словно упало с плеч.

Захотелось выйти из комнаты, потому что она уже устала от этого короткого сидения. Марта лишняя раз убедилась, какая у нее недобрая память, — воспоминания возвращались постоянно, и она чувствовала себя, как человек, который пытается и не может избавиться от собственной тени, словно птица, которая не имеет тени только тогда, когда взлетает высоко в небо. А Марта жила на земле. На небольшой планете, где от Нью-Йорка до

Киева одиннадцать часов лету. Меньше, чем полсуток.

Радио уже пело — хорошую песню о вышитой сорочке, прекрасную песню. По праздникам отец надевал вышитый галстук. Сорочка давно уже расплзлась — киевская, довоенная; отец вырезал широкие, расшитые крестиком полосы ткани и сделал из них галстук; Марта совсем забыла о той вышивке — обидно, нужно было привести ее с собой.

Столько слыша об одиночестве, столько раз бывая с ним с глазу на глаз, Марта понимала, что совершенно одиноким человеку остаться не дано. Память обрекает на воспоминания, значит, возвращается боль, которую не изжить.

Марта вспоминала людей, которые отрекались от родины, становились из Леонидов Леонами и из Максимов Максами, забывали свой язык и корчевали собственные корни. Она их знала — Америку создавали такие. И все же припомнила нескольких студентов, бородатых, картинно обшарпанных однокурсников, они тайно курили марихуану — «сладкую Мери» — и ругали всех на свете. Там были и хорошие ребята, Марта знала их всех — в конце концов каждый может курить, что хочет, кому до этого дело, сама она и не додумалась бы, что за сладкий дым просачивается в коридор. Узнала случайно: Карл накурился и кричал на незнакомом языке. Он стоял у окна, отделенный от нее дверью, выкрикивал непонятные слова и плакал, размазывая слезы по подбородку.

Никто не знал, что Карл — литовец, никто не задумывался над этим несомненным, даже нарочитым американством Карла Ритера, от которого никто не слышал ни словечка, сказанного не по-английски.

Сам с собой тот парень говорил по-литовски. Сам с собой.

Марта видела его еще несколько раз. Карл так хотел перевоплотиться в ангосакса — не выходило. Это, наверное, от тебя не зависит. Корни отсохнут сами или пробьются новым ростком — корни души человеческой.

Марта стояла над Киевом и думала о себе.

Потом обулась, вытерла с туфель пыль — все это делала неторопливо и автоматически, наклонилась, выпрямила спину и отряхнула руки от невидимого праха, который вьелся в них, — частички земли и городов, что ей не принадлежали.

Она решила встретиться с теткой Ольгой вечером, через четыре часа. Пообедала, чувствуя спиной созвездия тарелок, выкурила еще одну сигарету [удивилась: столько сигарет подряд!] и посмотрела на часы. Еще два часа было до момента, когда киевляне уходят с работы, идут домой, разговаривая о работе и семье. Марта была уверена в том, что именно эти две темы преобладают во всех разговорах меж людьми на улице; работа и семья, порой люди могли бы думать о чем-нибудь другом, — о чем же! Она поняла, что выдумывает все это, ничего она не знает ни о жизни этих людей, ни об их мыслях. О себе она тоже ничего не знает. Марта ощутила, как у нее начала расти злость — на себя, на самолет, что принес ее сюда и понесет домой, на официанта, который не торопится со счетом. И Марта устыдилась собственной злости — тупой и беспричинной, пожалуй, это было от усталости.

Вернулась в номер, разделась и легла. Сон овладел ею удивительно быстро.

Спала.

На мгновение приснился Карл Ритер — с длинным рассыпавшимся белым чубом. Карл вынул из

зубов сигарету, растер подошвой и засмеялся. Он хохотал, а Марта не знала, почему. Она смотрела в синие глаза Ритера и не знала, что делать с ним, пока тот не подошел к ней вплотную и не обнял ее, прикоснувшись платой белой бородой к ее лицу, и пальцы его — она почувствовала — больно нажали на спину. Марта испуганно вскрикнула — еще и потому, что зазвонил будильник. Он звенел сзади, и она не могла нащупать его, чтобы остановить резкий крик металла. Марта оттолкнула Ритера и проснулась.

Звонил телефон.

Марта окончательно опомнилась оттого, что окно — во всю стену — вспыхнуло у нее перед глазами, и она, зажмурившись, отвернулась. И тогда увидела телефон, который звонил, звонил, звонил.

— Это Андрей Степанович Костюк. Человек в синей рубашке, который угощает вином киндзмарули. Молодой такой, красивый мужчина...

— Ага, — сказала Марта. Она вспомнила Костюка и разговор об отце, стену напротив подъезда.

— Наш разговор необходимо продолжить. Знаете, мы только начали его. Правда же! Мы с Ольгой хотим видеть вас у себя. Я уже еду за вами.

— Я спущусь вниз. Когда вы приедете! Через полчаса! Через полчаса я буду внизу.

— Прекрасно. — Костюк засмеялся и положил трубку.

Нужно было встать.

Марта открыла холодную воду и побрызгала себе в лицо. Она только теперь вспомнила, что во сне разговаривала с Ритером по-украински. Но то, о чем они говорили, Марта не могла припомнить; попробовала и засмеялась.

Она подумала вдруг о Костюке и представила три бюстика — Шевченко, Маяковского и Льва Толстого — на маленьком журнальном столике. Костюка на фоне синего неба. Теткино лицо. Показалось, что они уже виделись тысячу раз, так растянулась для нее и распалась на оттенки прошлая их встреча.

Марта посмотрелась в холодное зеркало и прижалась к нему щекой — она делала так всегда, если волновалась. За окном сплошным потоком ехали автомобили; отсюда можно было различить даже номера — 21-56, 20-47, 50-16, 19-36, — какой-то из них был на автомобиле Костюка. Интересно, какого цвета его машина? Марта открыла дверь и заперла ее за собой. «Девятнадцать часов сорок четыре минуты, — сказал репродуктор женским голосом, — послушайте объявления». Марта закрыла женский голос в комнате, а ключ отдала дежурной.

Костюк ждал ее внизу.

— Вы живете, как королева, это лучшая гостиница в Киеве, — сказал он. Помолчал немного. Потом усмехнулся: — Поехали!

— Поехали, — ответила Марта.

Машина была цвета морской волны — июльской морской волны на солнце, когда вода просвечивает насквозь и качает на себе солнечных зайчиков — бело-желтых на сине-зеленом. Марта опустила стекло и разглядывала рекламу нового фильма, пока Костюк искал в карманах ключик.

— Ну как! — спросил он.

— Интересно. — Марта продолжала разглядывать лицо на рекламном щите.

— То-то же, — сказал Костюк и тронул машину с места. — Покатать вас немножечко!

Они поехали вверх по крутому подъему, где с одной стороны поднимался обрывистый, по-апрельски бледно-зеленый травянистый склон, а с другой — серый дом из громадных гранитных глыб. Марта поду-

мала, что люди, которые живут или работают в таком доме, должны быть десяти футов ростом и пишущие ручки у них, наверное, как столбы.

«Волга» выехала на дорогу меж деревьев, показались голубые с белым домики — один, другой — и парк по обе стороны. Люди в парке были совсем непохожи на тех, с площади у отеля. В парке сидели на скамейках, читали газеты; бегали дети, таща за собой на веревочках веселые зеленые повозки с обезьянками, резиновыми псами и — господа, чего только не возят за собой дети, им все нужно, они поднимают с дорожки газетный лист и камешек...

— Стойте, — сказала Марта, — подождите.

— Тут нельзя ставить машину, — сказал Костюк, — проедем еще немного. Нравится!

Марта не смогла найти слов для ответа. Нравится! Она ощутила внезапную щемящую боль, потому что вспомнила, что скоро уезжать отсюда — от парка, от детей с повозками, от земли, где ходил отец, к которой он прирос.

— Скажите, — Марта повернулась к Костюку, — что вы сделали хорошего отцу? Для того, чтобы он думал и жил, как вы. Здесь жил.

Андрей Степанович затормозил у перехода. Дождался зеленого света, тронулся и медленно сказал, не поворачивая лица к Марте:

— Мы здесь вдвоем. И мне незачем врать. Но я скажу о Василе то же самое, что и сказал в первый раз. Ему непросто было бы тут после войны.

Костюк говорил спокойно — все разложено по полочкам, все проанализировано. Автомобиль миновал высокий обелиск, который стремительно уходил в небо.

— Это могила Неизвестного солдата. — Костюк на мгновение повернулся к Марте. — Тут действительно святое место, потому что там, где лежит мертвый, мог быть любой из нас. И не обязательно герой. Это неизвестный. Знаешь, солдат без имени. Просто убитый на войне. Знаешь, сколько убили!

— Нет.

— Двадцать миллионов.

Марта поразило, что он исчисляет утраты миллионами. Машина круто повернула, проезжая над Днепром, — голубовато-серый разлив внизу, между деревьями.

Костюк ехал быстро, уверенно ведя машину, это не было прогулкой — скорее порывом в прошлое, возвращением в прошлое, возвращением по следу.

— Мы бродили здесь с Василем. Все киевские студенты объясняются в любви на этих кручах. Мы бродили здесь с Василем, Ольгой и Верой. Да с кем только мы не бродили! Я и Василь. Мы были веселые парни. — Костюк коротко хохотнул.

Марта закрыла глаза и попыталась представить своего отца беззаботным парнем. Не смогла. Она воспринимала зрелище, которое разворачивалось за стеклом, как чудесный фильм, новаторскую ленту — слой за слоем падают одежды времени; может быть, пыль, рассыпанная у влажных тел деревьев, касалась отцовских ног.

— Где ваша родина! — спросил Костюк. И повторил вопрос: — С какого вы дерева ветка!

Марта взглянула на клены — они стояли голые на обрыве и тяжело качали набухшими ветвями — целый лес, который предчувствует весну. Тем деревьям, что выходили на обочину, подстригли кроны — аккуратно, кругло. Машина принимала парад аккуратного леса. Марта запела — сама себе, в четверть голоса:

Снилася мені вночі новина,
В старім краї хтось мене спомінає,



Споминає мене в старім краї.
Хтось про мене поштаря питає...

— Что это! — повернулся Костюк.

— Отцовская песня.— Марта взглянула влево, на сосредоточенного водителя.— Отец много этих песен выучил под конец. Чья ветка я! Видите вот те клены! Красивые, приятно посмотреть. Мы с отцом, как лишние ветки,— срежут и не заметишь. Чья ветка я! Срезали — и никуда не привили. Знаете, я как церковь без бога. Как машина без номера.

— Без номера можно ездить.— Костюк улыбнулся ей.

— Вы уверены в этом! — Марта включила приемник и взяла в машину третьего собеседника, который затараторил почти без пауз подряд обо всем на свете — до футбольных новостей. Андрей Степанович приглушил радио, а через минуту выключил его совсем. Еще раз посмотрел на Марту.

— Это вы можете и дома слушать. Посмотрите вокруг.

Как будто она дома слушает это радио! Попробовала вспомнить хотя бы один дикторский голос, а в голову лезла рекламная песенка про пятьдесят семь соусов Гейнца.

— Посмотрите вокруг,— повторил Костюк.

Внизу открывался Днепр в разливе, закрывший с головой кусты; деревья стояли в воде по плечи, прибрежные домики пустили реку на ступеньки своих крылец. Мост не дотягивался до сухого берега — уходил под воду, и никто еще не шагнул по тому мосту.

Весь снег растаял, все льдины. Птицы летели над водой, неторопливо взмахивая темными крыльями — как летающие рыбы,— приближались к воде, резали ее крылом; один раз почудилось, будто птица ныряет и продолжает свой путь под водою, а на ее месте появляется другая, стряхивая воду над серым зеркалом.

Птицы садились на утопленные ветки лозы и раскачивались, как дети на качелях. Быстрое тело лодки прорезало первый штрих на будущей картине, которую еще напишут форштевни сотен парходов и разглядят смоленные животы плоскодонок.

— Дайте сигарету,— попросила Марта. Костюк удивленно взглянул на нее, усмехнулся:

— Боюсь держать в машине. Ольга тоже водит. Она сказала: еще раз найдет и сама начнет курить; она курила во время войны, потом бросила. Здесь негде прятать. Остановимся — купим.

— Не нужно.— Марта снова уставилась в окно. Ей было странно и невероятно тревожно принимать парад этой красоты, растений, готовых к возрождению, безбрежной в своем разливе реки, новорожденной травы. Автомобиль катился по мощеной дороге — мелкие камешки стреляли в металлическое дно и отскакивали под колеса. Потом выехали на ровное, и снова только шуршание резины по гудрону, черного по черному — песня о скорости.

— Слышите! — спросила Марта.

— Слышу,— сказал Костюк. Они одновременно взглянули вперед, где за ветровым стеклом колебались мокрые ветви,— машина ехала у самого тротуара; деревья мягко дотрагивались до нее и отдергивали ветки.

— У Василя был шрам на левой щеке. Должен был остаться шрам. Вы помните!

Нет, Марта не помнила.

— Здесь гнали наших военнопленных. Один из них кинул комочек бумаги — письмо, наверно. Василь наклонился, и конвойный ударил его сапогом в лицо. Я едва утащил Василя в подъезд.

Отец бился нечасто — кто знает, может, под черной щетиной и была дорожка шрама. Марта молчала.

— Он вам не рассказывал об этом!

— Нет.

— Василь боялся леса. Когда он сворачивал в сторону от основной дороги, начинал суетиться, порол грядку, обламывал ветви — для заметки — и губил их. Он не мог оставаться один на один с лесом.

— А вы могли!

— Да,— сказал Костюк.

Марта подумала, что она плохо знает собственно отца,— ей оставлен был конец его жизни, последние годы, когда менялись привычки, все начиналось сначала: работа, друзья, деньги, книги, дом. И удивительно, что никто из их соседей по ферме не обращал на это внимания. Все были одинаковы. Каждый оставил за морем половину жизни. И могилы предков.

Все нужно было начинать с первого шага. Отец сидел по вечерам на ступеньках домика и разговаривал об этом с Мартой. Как с собой.

От домика Кларенсов подходил иногда старый пес. «Рябко,— говорил отец,— иди ко мне».

Собака удивленно помахивала хвостом: влево-вправо — язык был незнакомым — и возвращалась к себе.

— Знаете,— Марта взглянула на Костюка,— отец иногда говорил о том, что война еще не окончилась. Похоронили убитых. Вы говорите, двадцать миллионов. Выпустили пленных. Кого-то там повесили в больших городах. Гитлер, может, и до сих пор живет в каком-нибудь Парагвае — неизвестно. А он, Василь Пирог, не в могиле и не в плену. Отец говорил, что после войны остался страх. Вы боитесь чего-нибудь!

— У меня чистая совесть. Чего ж мне бояться!

— А если бы вместо меня вернулся мой отец!

— Что было, то прошло.

— Прошло!

— Проходит.

— Скажите, Андрей Степанович, есть вещи, которые вы хотели бы забыть и не можете, вещи, которые привязали вас к прошлому, к войне и не отпускают!

Костюк пожал плечами.

— После войны у нас много рассказывали о том, как открыли из руин подвал, а оттуда — люди, много людей, что просидели в темноте один, два года, пять лет. Я работал на Крещатике, раскапывал разрушенные дворы и мечтал открыть дверь, из-за которой вышли бы люди, которые стучат там, сидят, ждут,— белые, ослепшие от темноты. Ничего не было. В кинотеатрах показывали короткие хроники про освобожденную Европу. Мир словно разрубили — живые остались жить, а мертвых было слишком много, чтобы помнить всех по именам. О них начали вспоминать несколько лет назад. Я об этом пишу. Вы не читали книги, которые я вам дал!

— Еще нет.

— Я бы хотел забыть об этом. Не могу. Память держит меня и ведет — знаете, Марта, мы все из прошлого. Даже вы. Весь мир. У каждого свое прошлое, своя звезда впереди — думаете, легко найти ее, легко увидеть! Иногда это отнимает всю жизнь. Мы находим — каждый свою, тянемся кто куда, путаясь и спотыкаясь. Устанавливаем пределы, отрезаем от себя целые столетия, сдираем скорлупу воспоминаний. А куда мы без них! Это не страх — это нечто другое.

— Что же! — спросила Марта.

— Жизнь.— Костюк вел машину сквозь поток людей, который вылился на улицы и спешил, спешил.— Знаете, сколько здесь историй и как они сплелись! — Машина остановилась на перекрестке, скрипнув тормозами.— Эти люди построили электростанции, выиграли войну, восстановили города, терпели горе, холод, жару, они ничего не требовали, потому что каждый из них не жил для самого себя. Мы говорим о родине. Это там, где ты знаешь, зачем живешь. В самом деле, отечество — там, где ты знаешь, для чего ходишь по земле, откуда явился на нее, во имя чего воюешь за нее. Это там. Это не просто место и факт рождения.

— Не сердитесь — я все спрашиваю, спрашиваю. Это последний вопрос, я все-таки хочу знать, что вы сделали хорошему моему отцу! Как частице вашей родины. И его...

— Не только нашей с ним...

— Ну хорошо, не только вашей.

— А что он сам для себя сделал! Мы, знаете, вытягиваем людей, вытягиваем, заставляем ходить в школу, принудительно лечим, — я всегда ценил людей, способных помочь себе, не ожидая чужой помощи. Я не о Василе сейчас. Но немножечко и о нем все-таки. Потому что — я повторяю, — что он сам для себя сделал!

По мере того, как они подъезжали к дому Костюков, хозяин «Волги» замыкался, — они перебрасывались короткими фразами, словно завершали беседу, результат которой был очевиден уже вначале; Марта уже и не добивалась новых ответов, она оглядывала блестящие фасады домов — белые кафельные стены, — где вспыхивали раздробленные, размноженные прямоугольниками плиток брызги солнца, веселого светила, золотого небесного колеса, что делит свое тепло поровну меж всеми: камнями, людьми и деревьями.

— Здравствуйте, — сказала Ольга. — Я давно уже жду. — Она поцеловала Марту в лоб и провела ее в комнату.

Андрей Степанович вошел следом, положил на стол ключи от машины, прошел по коридору дальше — мыл руки, вода в кране так шипела, словно выходила под давлением в несколько атмосфер.

— Ты уже не сердись на него! — Ольга внимательно посмотрела Марте в лицо; невероятное сходство тетки с отцом прямо поражало. — Ты не сердись. Мы оба тогда были взвинчены до предела. Знаешь, такова жизнь. Ты сядь, садись вот здесь.

Марта опустилась в низкое мягкое кресло и взглянула на противоположную стену — внезапно увидела на ней речушку и белую хату в золотой раме.

— Это Васильковский, — сказала Ольга. — очень дорогая картина. И очень хорошая. — Они помолчали. Тетка подвинула стул ближе к Марте. — Расскажи немного о вас. Как вы там жили! Будь непринужденной. Чувствуй себя, как дома.

— А где я дома! — усмехнулась Марта. — Ферму продала. Разве что у себя в общежитии, тут так, кажется, называют дома для студентов!

— Мы уже говорили об этом. У каждого человека должна быть земля, где он приносит пользу, вернее, становится полезным для других, живет для них и с ними.

— А для себя? — спросила Марта.

— Что для себя! — Костюк входил, потирая только что вымытые руки.

— Родной дом — это же не контора. Не только рабочее место. Это что-то большее — с историей, с могилами предков и с ракетами в лесу.

— Не надо! — Андрей Степанович стоял над ней. — Здесь тоже достаточно людей, которые на каждом шагу это повторяют. Лучше бы им родиться в позапрошлом столетии, если оно им так нравится, если восемнадцатый век для них дорожке двадцатого. Так нет же — ездят в метро и пользуются самолетами. А считаешь — козацкая пороховница словно бы дорожке народу, чем прокатный стан. А мы думаем о сегодняшнем дне — со спутника не видно, какое выражение лица на иконе.

— Почему же вы живете не в Америке! Там тоже есть спутники, — спросила Марта.

— О девушка, — ответил Костюк, — вы еще ничего у нас не видели; разве есть в Америке такие луга и плавни, такая трава! А соловьи такие есть в вашей Америке!

— Так почему вы не живете в Швейцарии! Там еще более красивые луга. И озера. И горы. И коровы там красивой.

— Потому что здесь моя родина, — сурово проговорил Андрей Степанович.

— Марта, может, ты хочешь руки помыть! — сказала Ольга. — Я покажу тебе.

Марта поднялась, опершись ладонью о столик рядом с креслом.

Покачнулись белые Толстой, Маяковский и Шевченко. Столкнувшись, бстики глухо цокнули и стали снова неподвижными.

— Извините, — сказала Марта, — я нечаянно. — Ольга улыбнулась и подала ей руку, ведя за собой:

— Тут Таиса звонила — из какой бани ты убежала, чего тебя туда занесло! Нашла место.

Марта освободила руку и остановилась.

— Нет, это было интересно. И страшно. Очень страшно. Одетые люди совсем другие. Люди могут нарядиться во что угодно — не узнаешь. А когда они сидят рядом, положив руки на колени, или стирают белье, или отстегивают протез — это совсем другие люди, отделенные от улицы, от красивых платьев, убранных в шкафчики...

— Нужно будет пойти, — сказал Костюк. И засмеялся.

ОТЕЦ (6)

«Ты никого не бойся, — отец глотнул слюну и тяжело повернулся в постели, — и запомни еще: не тот человек хороший, кто слушается всех, стоящих выше него. У кого есть голова, собственная голова, — тот человек».

Отец еще раз проглотил слюну — Марта понимала не все, сказанное отцом, — было так тяжело и так беспросветно, что слова только касались ее и раскатывались по углам темной спальни. Марта не зажгла света, все замерло — внезапно она услышала, что приемник в углу поет веселую песенку о зеленом бегемоте, — ансамбль «Папочки и мамочки».

«Ты меня слышишь?» — тихо спросил отец. Марта нащупала приемник и выключила.

«Ты меня слышишь?» — повторил отец в тишине. Рот его открылся и оцепенел. Над фермой закричала сова.

Григорий

В комнате, где воздух пропитался табачным дымом и, казалось, вытеснился им, продолжался давно начатый разговор. Кошка под пальмой с глянцевыми листьями открывала глаз и шевелила усами в безнадежной попытке добыть хоть глоток свежего воздуха.

Люди, чьи спины она видела, сидели вокруг стола, положив руки перед собой. Четверо. Трое из них очень похожие друг на друга.

— Почему Василь не писал! — Григорий смотрел на Марту и ждал немедленного ответа. — Кто заставил его так вот исчезнуть, пропасть, раствориться, был — и нет. Почему Василь не писал!

Человек, который спрашивал, подошел к окну и открыл форточку. Вернулся к столу. Марта подняла глаза. Дядя возвышался над ней, большой, с красными руками, которые двигались рядом с лицом Марты. Марта внимательно разглядывала эти руки, потом посмотрела на дядьку своего Григория и ответила:

— Он боялся. Он боялся, что навредит вам, если напишет из-за океана. Отец знал все адреса, кроме вашего, — Марта кивнула на Григория, — он мне их дал.

— Мы не в Америке живем, чтобы дрожать, — сказал Костюк.

— Он боялся накликасть беду, — повторила Марта. — Чем? — Папироса дотлевала в пальцах у Григория, он подошел к окну и выбросил ее в форточку.

— Гриша! — всплеснула Ольга руками. — Там люди ходят.

— Пусть ходят. Чем он боялся повредить нам! Мне, например! — Григорий обернулся к Марте.

— Не знаю. Отец жил здесь дольше меня. Он говорил, что на людей, которые переписываются через океан, смотрят косо.

— Это у вас...

— Люди говорят разное. Может, это когда-то так было. — Марта пожалала плечами. — В Чикаго застрелился рабочий — когда-то был офицером Красной Армии, политработником, — попал в плен и побоялся вернуться. У нас говорили, что политработников, которые возвращались из плена или из эмиграции, бывших политработников, здесь плохо принимали. Вы меня понимаете. Тот человек побоялся вернуться сразу же после войны, а потом пил страшно — я его видела — и рассказывал, что дочка в Одессе до восемнадцати лет получала за него пенсию. Потому что он пропал без вести. А если бы он — человека того звали Степан Грицюк — объявился, дочка должна была бы, как у нас говорили, вернуть все деньги обратно. Он собирался написать ей через кого-нибудь. А потом напился и застрелился.

— Вот позорная история — задурили ж вам головы!.. Марта, милая, я же твой дядька Григорий — ты привыкла уже! Василь знал, что я агроном, человек одержимый и не могу жить без земли. Что он думал — меня переселят на дерево, или на скалы, или на небо? За то, что он, Василь, заехал — куда, ты говоришь!

— В штат Висконсин. — Марта выговорила «Висконсин», как говорили у них. Никто не обратил внимания.

— Отойдите на минутку от стола, вы мне мешаете накрывать, — сказала Ольга. — Вы еще ничего не выпили, а уже кричите.

Ольга расставляла на столе множество тарелочек, приносила и уносила какие-то баночки. Кошка вылезла из-под пальмы и перешла ближе к людям, делая вид, что ей неинтересно.

— Погоди, Олюня, — Григорий вышел из комнаты и через мгновение вернулся, — это запрещенный законом — т-с-с! — продукт моей деятельности. Коньяк «три свеклочки». — Он поставил на стол узкогорлую бутылку с белой этикеткой, по которой золотом было написано «Перлина степу». — Бутылка не от этого напитка, не смотрите так, Марта, не смотрите. Попробуйте — скажете.

Марта еще не успела рассмотреть дядю своего Григория как следует. И теперь молча наблюдала за этим высоким человеком, который все делал быстро, но не суетливо — резал сало, расставлял тарелки на столе. Он сразу же стал главным на этой маленькой вечерней трапезе, определил, кому из чего пить и сколько. Он все знал, дядька Григорий, и все умел. Просто не могло быть иначе. Для Марты он был фермером — одним из тех их соседей по ферме, — и руки у него были, как у фермера, и лицо. Только Григорий умел хорошо смеяться — никто из знакомых Марты не смог бы так.

Они сидели вокруг маленького квадратного столика — трое были на удивление похожи — три варианта одного лица, три варианта очень похожих пальцев, глаз, шей. Костюк поднялся, отошел и оглядел их всех.

— Послушай, Ольга, — сказал он, — ты еще вчера была такой. Послушай, Ольга, это ты. — Он показал на Марту и невесело усмехнулся. — Какие же мы старые. Сколько времени прошло. Какие же мы старые! Если бы можно было выбирать...

— Тут уже не выберешь. Единственное, чего нельзя выбирать, — возраст. — Марта услышала свой голос как бы со стороны, и ей на мгновение стала завбавна собственная рассудительность.

Григорий улыбнулся навстречу Марте.

— Знаешь, это непросто. Мы и вправду могли выбирать — по несколько раз за историю. У вас там пишут, небось, что и так мы, и этак, идохнуть нам не дают. А мы и вправду ведь выбирали, и не раз. Вот пришли немцы — вешали, а никто за них не пошел. Тут уж можно было выбрать другую власть — куда уж! — только никто не выбрал. Мы у себя дома, Марта. Вот мы, советские, такие, как есть, и — дома. Ты улыбеешься, может, но метро под этим домом копают, так то ведь мое метро и в моей земле. Ну чье оно, скажи, чье! Мое...

Ей говорили дома, что все это пропаганда, глупая и неинтересная пропаганда. Только Марте подумалось: надо побыть с такими людьми, чтобы понять образ их мыслей и позавидовать им. Новое чувство, появившееся в ней, было даже не завистью. Острое, граничащее с обидой чувство это было, наверное, тем же, что возникает у больного ребенка, когда его берут на руки.

Она подумала, что не знает еще, как все это назвать.

Марта обвела глазами тех, кто сидел рядом:

— Знаете, у меня впервые появилось ощущение, что я дома. Это не для того, чтобы сказать вам приятное. Я настолько почувствовала сейчас, что я дома... Даже плакать хочется.

На столе исходила паром миска с картошкой, Григорий обстругивал замерзший брусок сала, поворачивая его во все стороны. Сел к столу Костюк, и все четверо молчали до тех пор, пока Григорий не отодвинул сало и не разлил самогон в тонкие высокие бокалы. Он поднялся:

— Ольга, Андрей, простите, я уж скажу первое слово. Очень коротко. Марта, и ты встань. Выпьем за Василья. Выпьем молча за Василеву душу и подумаем о своих.

Марта обожглась прозрачным зельем и почув-

ствовала, как к губам и глазам, сдавливая горло, подплывает тугой клубок слез. Она глубоко вздохнула и посчитала до шести, потому что нельзя реветь здесь, за этим столом, в доме, где она уже плакала — в прошлый раз. Нельзя. Ни за что больше нельзя.

— Ну, Марта, так Василь, говоришь, боялся. А ты — тебе не страшно! — Это Григорий.

Она посмотрела ему в лицо и успокоилась:

— Чего же мне бояться!

— А чего боялся он!

— Я уже сказала. — Марта не могла передать всех отцовских страхов да и не хотела этого делать. Она вспомнила его длинные рассказы о бегстве из Киева. Он говорил, растравляя себя подробностями, вспоминая те места, из которых еще можно было найти дорогу домой. Отец стал возвращаться по собственному следу и подолгу молчал после таких возвращений. Марта не могла припомнить теперь каждую из тех мелочей, когда отец слонялся по двору, а самолеты и ночные птицы шумели над его седой головой.

— Мы говорили с Мартой, — сказала Ольга, — я вспомнила, как Василь уехал отсюда. Ты тоже должен об этом помнить, Григорий.

— Твой брат лучше знал свои заслуги и провинности. — Костюк еще раз наполнил рюмки.

— Скажите правду, — Марта посмотрела Костюку в лицо, — вам кажется, что вина моего отца была очень велика!

— Какого... — начал Костюк, наклоняясь вперед.

— Стойте, — Григорий Пирог ударил рукой по столу, — мы не спорим здесь, чья вина, где и в чем... Оля, помнишь, как вы оба приехали ко мне в сорок пятно! Уже была Победа, и мы втроем вышли в поле, которое я сам вспахал. Не было чем засеять — мы брели бороздами, и у тебя, Ольга, набрались полные туфли земли, даже птицы не улетали от нас. Грачи искали червяков и несуществующие зерна — помните! Мы сказали тогда: пускай род наш за войну уменьшился вдвое — пускай. Мы поклялись быть вместе, как бы ни было тяжело. Помните!

Григорий посмотрел на Ольгу, потом на Марту. Марта обратила внимание, какое морщинистое и коричневое у него лицо, словно ствол молодого дерева, лицо было живое, и она узнала отцовские глаза на этом лице.

— Почему вы так верите в хорошее! — спросила она.

— Нужно верить в то, для чего живешь. И я дома. — Глаза дяди Григория сузились до щелочек, он помолчал мгновение. — Я дома. У человека, я знаю, видел, можно забрать все. Деньги можно забрать. Хату. Можно забрать одежду, все можно. Только не землю. Даже у мертвого нельзя отнять землю. Даже если человека снечь, он все равно вернется в землю. Я живу на своей земле и верю в нее. Я коммунист. Не пугайся, Марта, я коммунист, их, наверное, у вас ругают.

— Не знаю, — сказала Марта. — Ругают, кажется.

— Так вот. — Григорий положил обе руки на стол; гарелка между ними показалась такой ничтожной. — Я у себя на земле. Знаешь, мы иногда забываем, что мы тут хозяева. И мы, только мы можем судить и прощать. Прощать. Награждать. Я это серьезно, Марта. Мне больно говорить об этом. Но Василь ведь не безгрешен. Он мог исправить свою ошибку.

— Красиво говоришь, Григорий. — Костюк посмотрел на Ольгу и махнул рукой. — Красиво говоришь.

— Отечество — это там, где тебя никто не унижит. Вот так, Андрей. Где никто не унижит. Не смо-

жет унижить. Ну, заорет на меня какой-нибудь начальник из района. Так я повернусь и уйду. Что он мне сделает! Я, слава богу, холостой, хату сам ставил — никто не отберет, в земле кое-что понимаю. Так кто кому нужен: я ему или он мне! Отечество — это тот край, где можно быть самим собой, зная себе цену. Вот, вот — это там, где каждому видна настоящая цена.

— Вот как — тебе нечего терять, — сказал Костюк.

— Э-э, — Григорий наклонил голову набок, словно прислушался, — нужно выбирать. Это, милый, всегда. Вечно мы имеем возможность выбора, вечно что-то терлем, но только бы не главное. Потому что противно будет на себя в зеркало смотреть, когда брешься утром, и когда-нибудь рука дрогнет и сам себе горло перережешь.

— Ну, теперь электробритвами пользуются. — Костюк широко улыбнулся, и стало заметно, что он волнуется. — Если бы тебе, Григорий, предложили высокую должность, — пошел бы. И меньше бы с начальством ругался. Да, да.

— Если на эту должность раком залезать, — не пошел бы, — сказал Григорий.

— Знаешь, это сложные вещи. Вот так будешь защищать свою гордость, не научишься выживать — и пропадешь. Так можно вокруг света обойти и ничего не найти. Помнишь, как в сороковом директор обругал Василя! Меня здесь не было — Ольга рассказывала, правда же, Оля! Ну обругал при студентах; в сердцах — так что! Василь не поднял перчатки и ушел плакать в ассистентскую. Кого он убедил! Почему он вышел из аудитории, не закончив лекции! Я, Григорий, в одну с тобой партийную кассу деньги плачу. И живу на виду, как и ты; можем говорить открыто. Даже при Марте. Это только бык несется рогами вперед и не сворачивает. Мы люди; должны быть умнее. Марта, скажите: много Василя Пирог выиграл своим упрямством!

— Не знаю. — Марта никогда не думала, был ли отец упрямым, они никогда не говорили об этом, ничего он не выиграл, ничегошеньки. Она посмотрела на Костюка и пожала плечами. — Не знаю...

— Так вот, слушайте меня, — Андрей Степанович зажал в кулаке вилку, — Василь был бы здесь, ходил бы, ел бы. Здесь бы работал. Это вам урок. Нужно быть более гибкими. Поймите меня правильно. Следует быть тактиком. Это еще никому не вредило. Никому.

Григорий молчал. Молча сидела и Ольга. Марта подумала, что отец, наверное, раздумывал обо всем об этом. Потому что, когда в шестьдесят первом его пригласили в Центр биологических исследований и предложили работу — кто-то вспомнил, что Василь Пирог был одним из лучших знатоков своего дела, был когда-то биологом не из последних, — отец отказался. Он сказал, что забыл, что не умеет, и — пусть центр строил свои лаборатории поблизости от них, ходили военные, это должен был быть биологический полигон, — отец отказался. Дик Стефенсон качивал головой и удивлялся, что об отце узнали в Пентагоне; он приходил в гости и дымил на ступеньках крыльца — Марта выметала из кустов по десять окурков крепких Диковых «Лаки Страйк». Отец ничего не сказал Марте — бродил по комнатам, нахмуренный больше, чем всегда, разговаривал во дворе со Стефенсоном и варил себе кофе в старой кастрюльке с отломанной ручкой. У отца были свои тайны, вообще Марта знала далеко не обо всем — только кое о чем догадывалась. Попыталась понять отцовскую грусть — Василь Пирог никого не допускал до собственных печалей, даже дочку.

— Ольга, чего ты киснешь! Мы еще не пили за гостью. Марта, за тебя! За ту землю, где ты будешь собою, хорошо! Где тебя примут и где будут уважать тебя. Слышишь! — Григорий выпил, выпили все; он покрутил головой и сунул в зубы папиросу. — Ольга, терпи! — Закурил.

Теплый дым пополз над столом, щекотал ноздри, перебивал запах картошки, густой аромат жаркого и острый — хрена. Четверо сидели вокруг маленького стола, отодвинутого от стены к центру комнаты, — четверо, все разные, у каждого свое, каждый по-своему. Марта взяла из миски картофелину — миска была похожа на те, с ресторанной стены — и размяла ее вилкой. Положила немножечко хрена и кивнула, когда Ольга подвинула к ней нарезанное сало. В ритмичных движениях, которыми Марта наполняла тарелку, она находила успокоение и разминала картофелину, не думая ее есть, перекладывала из стороны в сторону кусочек сала, пока он не нагрелся и не стал скользким и блестящим.

Потом посмотрела на людей за столом. Григорий. Костюк. Ольга.

— Знаете, — сказала Марта, — отец постоянно мечтал о том, что его будут искать и найдут. Он, особенно вначале, когда я была еще маленькая, думал, что его найдут через Красный Крест, обязательно найдут. Это все глупости, я понимаю, но он очень хотел, чтобы хоть кто-нибудь понял, как он страдает, как ему тяжело. Знаете, что-то похоже, наверное, чувствовала я, убегая в степь, когда отец наказывал меня, в детстве. Пряталась в траве и ждала, пока он пойдет, и будет искать меня, и будет кричать, и волноваться. Вы понимаете! Когда один раз отец не пришел за мной, — это была чуть ли не самая большая из моих детских трагедий.

В нашей округе жил доктор — Степан Дидик. Мы встречались с ним один или два раза, но историю Дидика отец знал наизусть.

Дидик окончил в тридцатые годы польскую школу в Галиции и подался искать свои университеты, пока не оказался в Вене. Он рассказывал нам как-то про Австрию, аншлюс и славянина, приговоренного быть «унтерменшем», низшей расой. А славянин хотел учиться. Дидик был чем-то болен и, слава богу, не попал в армию. Но подрабатывать, чтобы есть досыта и вовремя платить за университет, тоже не мог. Кое-как он выдержал до конца войны, и ходил по разделенной и оккупированной австрийской столице, и учился все на том же медицинском факультете. В разрушенной Вене заработать не было возможности, и Степан Дидик не знал, долго ли он еще протянет. Он не был слишком уверен в собственной жизнеспособности. Карманы опустели, и, казалось, навсегда.

Вдруг пришло пятнадцать долларов. На протяжении двух лет, десятого числа ежемесячно, он получал по пятнадцать долларов и письмо: «Степанко, возвращайся! Я был не прав, Степанко, возвращайся домой — я твой отец, и мне уже скоро умирать. Прости, сынок...» Денег хватало на все: на жизнь, на университет, на еду. Только вот эти письма...

Степан Дидик отвечал, что отец его умер, что и мать его умерла, что он на свете один и просит далекого благодетеля из Америки иметь это в виду. Тот вскоре перестал писать — только слал деньги. Дидик защитил диплом и приехал в Висконсин, где нашел могилу своего благодетеля и узнал его историю.

У старого эмигранта Петра Дидика был единственный сын, Степан, которого в детстве отец выгнал из дому. Почти всю свою жизнь Дидик искал

сына — тому Степану было бы нынче вдвое больше лет, чем висконсинскому врачу, — Петро Дидик оставался один на целом свете, совсем один — старый человек в степи.

Вы знаете, что это такое — одиночество в степи! — Марта посмотрела на троих, которые внимательно ее слушали, и повторила вопрос: — Вы знаете, что что такое одиночество в степи!

Старый Петро Дидик умер вскоре после того, как нашел своего Степана — у него был только один сын, — единственного своего Степана, отростка своей, — найдя его, он мог закрыть глаза навеки. Состояние его отошло церкви, только деньги на образование Степана пересылали каждый месяц. Петро Дидик подчеркнул эту строчку в завещании. Сколько ни доказывали, сколько ни убеждали его, что Степан из Вены не сын его, старый эмигрант умер счастливым. Скажите, вы видели такого человека, который избавился от одиночества, пробил мертвую степную тишину, где только самолеты в небе!

Отец часто пересказывал мне историю Степана Дидика и даже повез меня однажды на могилу старого эмигранта. Около камня выросла высокая трава — нужно было раздвигать стебли, чтобы прочесть имя, выбитое на камне, — у доктора Степана Дидика была большая практика, и он не мог приходить сюда слишком часто. А может быть, сам старик хотел уйти в траву, вернуться в землю своего одиночества. Не знаю. Просто отец твердил, что, если можно найти одного человека, другого тоже можно найти. Особенно, если он не прячется.

Марта обвела всех взглядом и грустно улыбнулась:

— Это все отцовские причуды — он сам виноват. Даже я понимаю это.

— Интересная история, — сказал Костюк, — вот когда-нибудь написать бы об этом. О вас, Марта, можно писать книгу — со всеми историями вашими, с дорогой через весь свет, — а бы так и назвал эту повесть — «Дорога». «Ля страда» — есть такой фильм Феллини. Видели!

Все молчали.

— А Таиса уехала из Киева, — сказала Ольга. — Уехала. Она позвонила нам и сказала, что пришла к ней девушка, назвалась Василевой дочкой — странная такая девушка, все осматривалась, и — из Америки. Я говорила ей, что все это верно и что это хорошо; мы давно уже не виделись с Таисой — я ее плохо понимаю иногда. Но сегодня утром я хотела позвать ее к нам, а соседка сказала, что она уехала. Мы никогда не приглашаем Таису в гости, но в этот раз хотелось собрать всех.

— А почему вы не приглашаете Таису! — Марта посмотрела на Ольгу и застеснялась неudelikatности своего вопроса.

— Длинная история, — тетка посмотрела на Костюка, — очень длинная и неинтересная история.

Григорий взял Ольгу за руку:

— Вы что — и на юбилейный вечер ее не приглашали!

— Нет. — Костюк говорил твердо. — С чего мы должны приглашать Таису на мой юбилей, если она могла все перебить, испортить, перепугать людей! Слушай, Григорий, вот когда тебе стукнет пятьдесят, пригласи ее и увидишь, что она будет вытворять, когда выпьет. У Таисы, знаешь, начинаются приступы правдоискательства в нетрезвом состоянии. Болтает бог знает что...

— Ну хорошо, — Григорий разлил самогон, — раз уж мы не едим, так хоть выпить надо. Человек должен выговориться, сказать когда-то все, что он

думает. Пусть даже и пьяный. Я уже и в трезвом состоянии пробую.

— И легче тебе! — спросил Костюк.

— Легче, — серьезно ответил Григорий.

— У вас был юбилей! — Марта улыбнулась: хотелось изменить настроение за столом; все сидели насупленные, словно сычи.

— Был. — Костюк взял бокал за тонкую синюю ножку. — Лучше бы его не было. — Видно было, что Андрею Степановичу не хочется вспоминать о прошедшем своем пятидесятилетии. Потом он подумал немного и добавил: — Вот как будет вам, Марта, полсотни, вспомните меня. Знаете, в жизни, как в псеэде дальнего следования, входят люди, выходят, вместо них садятся другие, — пока проедешь с места до места — от начала до конца, — поменяются все спутники, а то и по нескольку раз. А ты сидишь один и тот же. Разговариваешь с людьми и думаешь, что ни ты им, ни они тебе не нужны. Порой и машинист сменяется и паровоз, пока дошла паешь. Выходишь на перрон, а встречают тебя совсем новые люди — и так все время. Сидел я в президиуме на собственном юбилее и думал: вон тот, этот — шеи вытягивают, хотят, чтобы я их увидел, — скажут, пришли — что-то им надо от меня. А за спиной разговаривают те, кто в президиуме, — плевали они на меня со всеми моими книжками и медалями. Но сидят. Должны отсидеть — им от меня ничего не нужно. Просто так сидят. Только вот Олюню увижу в зале — и полегчает. — Костюк наклонился и поцеловал руку жене. Поднял глаза. — Это я слегка упрощаю, но в общем так оно и есть.

— Интересно. — Григорий смотрел прямо перед собой, лицо его покрылось красными пятнами. — Интересно. А есть люди, которые тебе нужны, Андрей!

— Ну, — удивился Костюк, — почему же...

— Я не о том. Есть люди, которым ты хочешь сделать добро! Просто так. Чтобы им легче было на свете.

Ольгин муж прищурился:

— А как же, как же — в свободное от работы время спасаю утопающих, собираю бездомных щенят, перевожу слепых через улицу.

— Не балагань. — Григорий говорил серьезно. — Не балагань. Кого ты любишь на свете! Ты до войны был ветеринаром, так хоть одна скотина благодарна тебе! Я уж не говорю о людях. Где там.

— Гриша, не нужно, у Андрея достаточно неприятностей, — вчера он смеялся, но это было случайно. Знаешь, как я развеселила собственного мужа! Мне на работе приходится просматривать груды литературы. И я нашла давнюю статью о стихах одного поэта. Критик не оставил от стихов камня на камне. Я принесла статью домой и прочла Андрею. «Вот свинья, — сказал мой муж, — кто это безобразно написал!» Писал А. С. Костюк, молодой, способный. Он уже забыл даже. — Ольга засмеялась и вытерла глаза салфеткой.

— Даже забыл! — Григорий посмотрел на Ольгу. — Даже забыл!.. Я пью за хорошую память. За такую память, что умеет забывать все, что захочет. За эту прекрасную память! — Он глотнул самогона и запил водой.

Никто больше не выпил.

— А зачем, собственно, помнить о плохом! Зачем! Чтобы лезть на стенку каждую ночь, чтобы писать мемуары, которых никто не издаст, и слезами над ними изойти!! Зачем! Вот скажи мне, Григорий, зачем! Из памяти, как из блокнота, нужно вычеркивать слова, имена, все, что не следует помнить. Все.

Иногда нужно переписывать эту записную книжку наново — от корки до корки. Иначе потонешь в номерах телефонов без хозяев и в именах мертвых людей и названиях улиц, где ты никогда не был. Память — это мусорная куча. Ты сам это, Гриша, знаешь.

— Врешь. — Григорий говорил тихо. — Врешь. Ты боялся смотреть в зал, потому что там не было ни одного человека, благодарного тебе. Ты не сердись. Андрей, только ведь не было. Ты знаешь, я помню обо всем. Вижу человека и вспоминаю — или он давал мне последнюю щепотку соли, или я с ним хлеб делил. Или я за него ездил в район и помился во все двери, или он на собрании поддерживал меня в трудную минуту. Я помню, кто был свиньей, — еще как помню! — и помню, без кого я пропал бы. Ты знаешь, Ольга, у меня память, как сундук в старой хате, — все там: и читанные книги, дедова фотография, и патрон для ружья. Сам я отсюда, из сегодняшнего дня, и сегодня я все-таки всех помню в лицо и по имени-отчеству. Кто у меня украл, и у кого я взял взаймы без отдачи. Вот чудо — нас бы с тобой сложить, Андрей, удивительный бы человек получился, сумасшедший, возможно, — такая у нас разная память. Может, еще в том дело, что я не трус — и мне нечего бояться!

— Боишься, — сказал Костюк, — ты, такой вот красивый, а есть, есть у тебя в душе что-то, чего ты стыдишься, прячешь. Просто никто не знает ничего про тебя — вот ты и храбрый. Ольга, может, знает, да не говорит...

— Брось об этом. Хватит. У нас гости. В твоём доме, но у нас. — Григорий налил себе бокал и подержал перед глазами. — Это старая история, и мы уже не переменяемся — такими уж и умрем. Я думаю о Марте. Ты вспомнил, что она у нас единственный ребенок на всех — на всех Пирогов. Я хочу выпить за Марту, чтобы она искала и нашла свое место в жизни, своих людей, свою землю, которую никто не отнимет. Ты не смотри на меня так, Ольга, не смотри, я скажу еще. Вот поедет Марта по Украине, ну, что увидит она без нас — фасады, памятники в скверах, покажут им загримированного бандуриста в шароварах — оно, конечно, интересно, но Советская Украина-то, Советский Союз — это мы. И ты, Марта, тоже, хоть еще и не понимаешь этого. — Григорий немного помолчал. — Вот оторвало Андрею мизинец — это из Украины, из Советского Союза немножко крови вытекло. Убили Павла — та же кровь. Родина, она, знаешь, не всякую кровь принимает и не каждую судьбу. Есть ведь и такие паскудные сыны, что их родная мать из дому выгонит. Но крови нашего рода в ней много, и создавали этот край тоже мы. Ты пойми: мы некрасивые, сссримся, а ты думала, хорошо, когда все одинаковые, как валеты из колоды! Ты ходи по этой земле и дорастай до нее — я тебе правду говорю. Ты думай, Марта. Я за тебя пью, чтоб ты думала.

Когда все выпили, Григорий взял папиросу и замолчал. Долго рылся в кармане, ища спички, закурил и смущенно моргнул сквозь дым большими и очень трезвыми глазами.

Ольга походила около стола и повернулась к племяннице:

— Ты многое на свете видела, Марта, — где и как люди живут. Как тебе у нас! Ты только приехала, но как тебе у нас!

— Я не видела света. — Марта пожала плечами. — Я даже Америки не видела. Не была ни в Сан-Франциско, ни в Нью-Йорке. Откуда я могла видеть

свет! Степь, автомобили, люди. Большой мир начался для меня с университета. С дома студентов, с библиотеки — такой серый куб, набитый книгами. С вас! — Марта поймала на себе удивленный взгляд Костюка и обратилась к нему: — Вы больше меня повидали. Вы даже отца моего знали. И маму. Ну, что я вам скажу! Вы тут говорили про память. Мне еще нечего забывать — я только прибавила к своей жизни отцовскую. Без отца я не смогла бы. Без отца я пропала бы, наверное. Даже теперь — не смейтесь — в отце корень мой и моя защита.

Тетка забрала тарелку и поставила перед Мартой чайную чашку.

— Хочешь посмотреть телевизор? Включить! — спросила Ольга.

— Он мне дома надоел. — Марта вправду не хотела сейчас никакого телевизора.

— У нас другой, — сказала Ольга.

— Не-е, — Марта покачала головой, — может, вы сами хотите посмотреть!..

Она поднялась из-за стола и пошла по комнате. Тронула гипсового Шевченко. Бюстик на столе заколебался, заколебалось коричневое его отражение в полированном дереве.

— Вы читали «Кобзарь»? — спросил сзади мужской голос.

— Я училась грамоте по нему, — Марта не оглянулась, — большая такая книга в серой обложке, издание академии, с иллюстрациями. Отец привез ее из дому. Это чуть ли не единственное, что уцелело.

— Я помню ту книгу, — сказал Костюк, — вон куда ее занесло. Помню ту книгу — с чернильной кляксой на первой странице. Правда, Марта! Мы вместе с Василем покупали тот «Кобзарь». У меня еще были пальцы в чернилах, и я заметил это, когда взялся за первую страничку.

— Отец счистил все кляксы. За дорогу их еще прибавилось, но отец счистил все. — Марта повернулась лицом к столу. — Я пойду. Вы знаете, я так измучилась за этот день, как никогда. Я пойду. Извините. Это был очень длинный день. Очень. Слишком много всего сразу.

Она чувствовала, что сейчас же, немедленно должна уйти отсюда в теплую киевскую ночь, пройти по городу до гостиницы и неторопливо, согревая ладонями перила, подниматься по лестнице к себе на этаж, в номер, встретить в коридоре пьяного немца на протезе, не поднимать телефонной трубки и смотреть вниз, на площадь, переполненную народом, — площадь большого города. Интересно, куда утром исчез Виктор?

— Увидимся завтра, — сказал Григорий. — Я понимаю.

— Отвезу вас. — Костюк поднялся из-за стола.

— Ты же пил, — вздохнула Ольга. — Это уже не партизанские времена. Да ладно, поезжай. Марта, увидимся завтра. Как ты похожа на Василя! Погодите, погодите, а чай!!

Никто не хотел чаю.

Марта застегнула плащ и, не торопясь, обвела взглядом Григория, Ольгу, Костюка, она хотела поблагодарить за все: за разговор, за новые приглашения, — потом увидела лицо Григория, расплывшееся в улыбке, и широко улыбнулась навстречу.

Внизу, уже выходя из подъезда, Марта обратила внимание, что стены напротив не видно — она растворилась в мягкой черноте.

— Какие у нас ночи в апреле, — сказал сзади Костюк, — какие у нас ночи!..

Песок пересыпался неслышно. Верхняя колбочка выпускала из себя острые кварцевые крошки, пока последняя из них не упала в нижнюю колбу песочных часов. Марта протянула руку и перевернула пластмассовое сооружение с вмонтированным в него стеклянным символом времени. Песок посыпался снова.

«Удивительно, — отец повернулся на своей темной постели, и Марта увидела его лицо, на котором белыми провалами светились глаза. — Удивительно, — повторил отец, — снова сыплется тот самый песок — из одной скляночки в другую... Время возвращается вспять, и дни можно прожить еще раз. Удивительно. Еще раз прожитая жизнь — как песок, второй раз просыпанный через узкий канал между двумя скляночками. Нельзя».

Он опустился на постель и снова вернулся в темноту, где даже простыни казались серыми.

Марта дремала в углу, положив руки на широкие ручки кресла. Сквозь тяжелую дрему ей привиделся океанский пляж — миллиард разбитых песочных часов, омытых голубой водой, ее брызги остаются на этом песчаном отрезке времени кристаллами белой соли, словно высохшие слезы.

Виктор

Ничего не произошло. Ровным счетом ничего. Она лежала навзничь на постели и смотрела на серое небо, которое предвещало грозу. Небо подтверждало прогноз вечерней газеты, но Марте не оставляла мысль: прольется или не прольется над городом дождь, будет он с громом или ласковый, плещущий, короткий — «іди, іди, дощику, заварю тобі борщику, в полив'янім горщику...» Это отец научил ее такой песне. Когда была маленькой. Господи, и песню не забыла...

Ударило ветром в окно, словно взрывной волной, и легкая белая ткань занавески забила над форточкой. Киев врвался к ней, не спрашивая разрешения, и будил среди ночи, залетал ветром и вспыхивал солнцем, он не спускал с нее глаз, не милосердный, как память.

Киоскер, дядька Григорий, Костюки, тетка Таиса, студент, голос представителя «Интуриста» — смесь встреч и разговоров мелькала перед глазами Марты: это были скорей всего общие впечатления, эскизы, поводы для размышлений — она знала, что потом, на расстоянии, все ощутится гораздо острее и больней, но это уже будет памятью.

Снова память.

Если человек не умеет абстрагироваться от самого себя, жить он не может. По крайней мере ей живется тяжело.

А может, оно и лучше, честнее так!

Делать, как умеешь.

Они с отцом сидели в кафетерии аэропорта в Ме-

дисоне, все вокруг спешили к своим самолетам или шли от них. В кассе продавали сумки с фирменными значками авиакомпаний всего мира, и сквозь окно, которое сияло напротив кассирши, было видно, как неторопливо выкатываются на стартовую дорожку самолеты с теми же самыми, что на фирменных сумках, эмблемами вдоль лакированных фюзеляжей. В таких кафетериях не случается ничего из ряда вон выходящего — люди даже не смотрят друг на друга, взволнованные предстоящим свиданием или только что происшедшей разлукой с вечно голубыми надоблачными высотами. Поэтому все вздрогнули, когда голос у входа сказал: «Леди и джентльмены!»

Человек в форме военного ветерана, аккуратно подогнанной по фигуре, с дорожкой цветных полосок над левым карманом френча, в белых перчатках, обвел взглядом зал. Потом вытянул левую ногу вперед, пробалансировал секунду и пошел между столиками, четко, как на параде, чеканя шаг. Он промаршировал до конца зала, красиво, хоть новобранцев учи, повернулся кр-ругом и вернулся к тем самым дверям, от которых начинал. Стал смирно — заложил руки в белых перчатках за спину и слегка расставил ноги в начищенных до зеркального блеска высоких армейских сапогах. «А больше я, леди и джентльмены, — сказал человек, — ничего не умею». Он снял черную пилотку и положил ее около выхода из кафетерия.

Отец начал смеяться. Он хохотал, как одержимый; в тишине, что застыла между столиками, был слышен только его смех — отрывистые, хриплые толчки выдохнутого воздуха. Потом отец вытер слезы и закрыл руками покрасневшее лицо.

Марта вспомнила, какое лицо было у него тогда, и подумала: еще несколько секунд — и неизвестно, чем бы все это кончилось, — отец постоянно был на грани взрыва, болезненного страшного самобичевания; Марта вспомнила тогдашний свой страх и удивление, в котором замерли все обернувшиеся к ним. Память.

Марта посмотрела на предутреннее серое киевское небо, еле сдерживающее дождь, — экран воспоминаний, брезентовый купол бродячего цирка, под которым творятся дивные дива. С постели, если повернешь голову, можно было наблюдать за движением низких туч, которые плыли быстро, как самолеты на старте.

Она закрыла глаза, хотя знала, что никуда не денется от самой себя. Да и зачем! Отцовское лицо выплыло под крепко сомкнутыми веками раньше, чем пришел сон.

А потом пришло солнце. Марта поняла, что уже утро, золотой свет лежал у нее на веках; она так и заснула — лицом к окну, к Киеву, лицом к небу, которое согнало серые слоистые облака, положенные ночью между солнцем и ею, Мартой, гостьей этого города.

Она долго умывалась, потом медленно оделась и решила идти в ресторан — ощущение старожилы, человека, который здесь уже давно и знает обо всем на свете, дало ей неторопливую уверенность и спокойствие. Не спеша переставила она ключ на внешнюю сторону двери, дважды повернула его и подергала ручку для верности. Пошла по коридору к дежурной, что сидела боком у стола, изучая содержимое ящика. Дежурная подняла лицо и сказала:

— Вот она, — и кивнула на Марту.

Виктор поднялся навстречу — с ним был еще какой-то парень, невысокий, плотный, лет двадцати

пяти. Оба — Виктор и его приятель — сияли отглаженными воротничками белых сорочек.

— Доброе утро, — сказал Виктор. — Это мой друг Сергей.

Марта улыbnулась невысокому хлопцу и подала ему руку... Голос у Сергея был низкий, и говорил он замедленно, подбирая слова для единственной, всеобъемлюще-точной фразы.

— Пошли, — сказал Сергей.

— Куда! — вырвалось у Марты.

— Завтракать.

— Мы давно уже ждали вас, — это Виктор, — боялся разбудить, но я хотел увидеть вас еще и сегодня. Если вы не возражаете, позавтракаем вместе.

Они отправились в ресторан. Неожиданный эскорт сопровождал Марту молча, сосредоточенно топя сади по ступенькам.

Швейцар поднялся со своего стулика при входе и отвел перед ними прозрачную доску стеклянных дверей.

Марта нашла столик в углу и провела туда молодых людей.

Они очутились вплотную у красной стены, и над головой Виктора блистала желтая, как нимб, небольшая обливная тарелочка с синим цветком на дне.

Сергей взял меню, быстренько просмотрел его и передал Марте:

— Хотите!

Она взяла и сосредоточенно стала пробегать глазами длинные названия фирменных блюд.

Подошла официантка.

— Бутылочку коньяку — это раз, — сказал Сергей.

Марта вскинула брови. Хлопцы заказали салаты из огурчиков, маринованные помидоры, лимон, три бутылки воды и три жарких «Дніпро» в фирменных горшочках ресторана.

— Хлопцы, вы все это съедите и выпьете с утра пораньше! — Марта оглядела обоих.

— С вашей помощью. — Виктор в присутствии Сергея держался и отвечал как-то скованно. Марта никак не могла взять в толк, почему они пришли вдвоем.

— А мы много работаем, — сказал Сергей. — Когда-то хорошие хозяева так косарей нанимали: если плохо ест, то плохо будет и работать.

— Меня бы не взяли косить, — засмеялась Марта. — Ничего — совместными усилиями.

— Сергей работает на заводе, — сказал Виктор. — Он отслужил в армии и теперь работает. И учится еще. Он молодец — мы из одного села, хаты рядом.

— Где вы работаете? — спросила Марта.

— Здесь. — Сергей взмахнул рукой куда-то вверх и назад. — На заводе. Пять дней в неделю, и зарабатываю больше, чем Виктор будет после института.

— А зачем же учиться?

— Разве смысл жизни в деньгах! — Сергей отвечал охотно. — Ну, костюм куплю, в ресторан пойду, а дальше что! Через три года получу диплом — тогда посмотрите...

Он осекся на полуслове и внимательно посмотрел на Виктора.

— Хлопцы, — сказала Марта, — не изображайте великих дипломатов. Расскажите, как вам живется. Вы каждый день так завтракаете!

— Нет, — засмеялся Виктор, — не каждый день. Но сегодня вы будете нашей гостьей. Долги надо отдавать. Особенно если в твоём же городе платят за твой завтрак. И потом я хотел еще раз увидеть вас и познакомиться с другом. Сергей — мой друг, самый лучший.

— У вас есть друзья! — спросил Сергей.
Перед глазами Марты прошли лица однокурсников, соседей по ферме.

— Да, — ответила она, — несколько.

— Друзей много не бывает, — покачал головой Виктор. — Не может быть много. Я хожу на дни рождения почти ко всем однокурсникам, но разве я дружу со всеми! С Сергеем у меня вечная дружба, семьями. Когда-то на войне мой отец с пулеметом прикрывал отступление взвода, где служил Иван Григорьевич — отец Сергея. Иван Григорьевич пришел с войны, и прежде всего зашел в нашу хату, и спросил, жив ли мой батька...

Официантка принесла коньяк и глубокие мисочки с огурцами. Взяла маленькие светлые рюмочки и поставила их около каждого. Подала лимон и три бутылки с минеральной водой. Немного подумала и водрузила на стол тарелку с пятью маринованными помидорами.

— Все! — спросила она.

— Пока что все. — Сергей разливал коньяк и не повернул головы.

— Спасибо, — подтвердил Виктор.

— Ну, за что выпьем! — спросил Сергей. — За что у вас пьют по первой!

— За праздник, — ответила Марта. — У нас с утра пьют только по праздникам.

— Ну что ж, — Виктор глубокомысленно вертел рюмку, не опуская ее на стол, — выпьем за праздник. Не каждый день двое парней и девушка с разных концов света сходятся в таком ресторане и за таким столом. Выпили!

Они поднесли рюмки к губам, и все трое глотнули коричневого, обжигающую влагу.

— Второй день пью, — сказала Марта, переводя дух, — второй день!

— У вас здесь еще есть знакомые! — Виктор даже удивился.

— Есть. Много. И все разные.

— Это понятно. Двух одинаковых людей не бывает.

Марта думала о своем.

— Скажите, — обратилась она к Сергею, который опять разливал коньяк, — а вы могли бы работать в другом месте! За границей, скажем.

— Как вас понять! — Сергей застыл с бутылкой в руке.

— Так, как я сказала. Вот вы живете и работаете в Киеве. Имеете специальность. Если бы вам сказали, что за границей вы будете получать больше, жизнь у вас будет лучше, будет автомобиль; язык выучите. А работа такая же. Смогли бы вы!

— Ну, знаете... — У Сергея даже рука затряслась. — Что, родину выбирают, как ресторан! Там лучше кормят, а здесь хуже. Вы что это такое мне говорите! Вот я служил в наших войсках за границей — вокруг же все свои, все знакомые ребята, кажется, а знаете, как домой хочется. Чуть с ума не сошел за эти два года. Не будем ссориться, не хочу, я не для этого пришел. Пьем за Украину. За наш Советский Союз, что принял вас в гости, построил эту гостиницу и ресторан для вас, завод для меня, институт для Виктора. И для меня, кстати. За то, что мы все дома. Это будет единственный торжественный тост сегодня. Но это будет и ответом на ваш вопрос. Я предлагаю встать и выпить за нашу Родину.

Трое поднялись и выпили.

— Ты оратор, Сергей, — сказал Виктор. — Я и не знал.

— Вы не сердитесь. — Марта говорила медленно,

потому что ей стало трудно говорить, то ли после выпитого, то ли еще почему-то. — Вы не сердитесь. Мне очень нелегко задавать вам простенькие вопросы из разговорника. Я впервые в СССР. Отец мой был отсюда, — и все же... Я здесь в гостях, туристка, потребитель рекламных проспектов, обозреватель фасадов. Вы говорите, Сергей, о своем заводе. А меня бы туда взяли! Не знаете, а! А могла бы я перейти из своего университета в киевский! Ну, скажите мне... Никто у меня ни о чем не спрашивает. А я умею только одно — смотреть. Потому что мне больше ничего нельзя. Потому что я в чужом доме и не позволено мне заглядывать в шкафы и на кухонные полки. Ну, скажите мне, кого-нибудь интересует в этом мире, где и как я живу! А думаете, интересно кому-нибудь, как вы живете! Людей считают на миллионы — туда, сюда... — Она поставила локти на стол и стиснула ладонями лицо. — Довольно уже, хватит, к чему обо всем этом говорить!

— Кому-то должно быть интересно, где и что именно вы делаете. Вам прежде всего. Мой отец был в плену. Сидел в лагере. Тем из них, что соглашались работать на военных заводах, давали двойной паек. Тем, кто шел к владимирцам, давали свободу. Отец убежал из лагеря и приполз к своим. Сергей закрыл глаза и договорил, думая уже о другом:

— Слушайте, Марта, главное — знать, где твой дом и как туда идти. Я бы из-за границы попластунски домой приполз. Знаете, что такое родная земля!

Виктор сидел молча, рассматривая своего друга, который внезапно разговорился, даже стал непохож на себя.

— Моя бы воля, — сказал Виктор, — я бы выпускал из нашей страны каждого, кто не хочет тут жить. Пусть катятся на все четыре стороны. Чище воздух будет!

— А обратно! — спросила Марта.

— Кого — этих!

— Ну, тех, что хотят жить у себя дома. Что делать с ними!

— Ну, — Виктор развел руками. — Я не правительство.

— А кто!

— Ну, я студент.

Они сидели у стола, положив перед собой руки, — все трое. У каждого своя печаль, собственная судьба, все свое, и слишком все непросто. Марта пила минеральную воду из высокого бокала — пузырьки на поверхности взрывались, разбрызгивая сотни острых капель, покалывая десны.

— Вкусная вода! — спросил Виктор.

— Холодная. — Марта смотрела на тарелки в стене, потом потрогала вилкой огурцы — есть совсем не хотелось, даже после выпитого. Она не чувствовала себя опьяневшей: постоянное напряжение не давало ей захмелеть.

— Еще по одной. — Сергей разлил коньяк.

— Довольно. — Марта закрыла рюмку ладонью, потом увидела, что она уже полная, и усмехнулась: — Я всю жизнь опаздываю, вы не удивляйтесь.

— И куда вы опоздали теперь!

Действительно, куда она опоздала сегодня! Почему она устраивает бурю в стакане минеральной воды!

Может, так и должно быть: выйдут все пузырьки газа, и вода успокоится; может, так утихают и люди — сдаются, привыкают, остывают... Теперь уже поверхность воды в бокале была гладенькой, без единой морщинки.



— Скажите мне, только хорошенько подумайте сначала, вот вы уже взрослые оба, видели немного мир, немного людей, живете дома и говорите на своем родном языке, скажите, что вам мешает больше всего!

— Как!

— Ну, что мешает вам, когда вы стремитесь сделать что-то хорошее, что мешает вам жить, неужели у вас нет никаких проблем!

— Вот время — моя вечная проблема, времени вечно не хватает, — начал медленно Виктор.

Внезапно из-за спины Виктора послышался голос, настолько хорошо знакомый Марте, что она даже не сразу посмотрела в сторону говорящего.

— Страх, — сказал мужской голос на ломаном русском языке. — Они боятся вас, мисс. Боятся, что вы приехали, что на их языке говорите; здесь вечно ищут у человека второе дно. И у вас ищут. Страх — вот что мешает жить на свете; все они боятся — друг друга и особенно чужих.

За спиной Виктора покачивался на стуле высокий немец, тот, безногий, из коридора. Перед ним стояла уже пустая бутылка, и лицо его было красным, как стена под тарелками. Он подмигнул Марте и отвернулся.

— Слушай, ты. — Это говорил Сергей. — Если бы вы не были знакомы с этой женщиной или ее не было здесь, я бы врзал тебе по морде, подонок! — Он искал слова покрепче и, не найдя, махнул рукой.

— Побоишься. — Немец не оборачивался. Он сидел спиной к их столику и словно разговаривал сам с собой.

— Подонок ты недобитый! — Сергей, побледнев, сорвался с места.

— Сиди, сиди. — Виктор удержал его за руку.

— Вы непорядочный человек, мистер. Подлый и непорядочный. С победителями так себя не ведут. — Марта быстро сказала это по-английски и поднялась. Поднялся и Виктор. Теперь казалось, что все трое встали из-за столика, чтобы уйти. От столика отделилась удивленная официантка. — Я не могу здесь. Пойдемте, — сказала Марта.

— Вы идите, — проговорил Сергей. — Я сейчас. — Он пошел навстречу официантке, опустив руку в карман.

— Только без глупостей, — сказал вдогонку Виктор.

— И вы живете рядом с такими. — Они с Виктором выходили из ресторана, где им так и не удалось позавтракать. С двух попыток. — И вы живете рядом с такими. Как можно! — повторил он.

— А вы думаете, что где-то на свете есть страна, где живут только ангелы! Знаете, Виктор, оставим ангелов богословам и авторам туристских проспектов. Я очень твердо знаю, кого люблю и кого ненавижу... Ох, как твердо...

Они спустились в вестибюль и подождали там Сергея.

— Мне сейчас внушали, что не следует обижать иностранцев, это же наши гости. Знаете, Марта, что больше всего мешает в жизни! Дураки. Не представляете, как мешают. Вот и проблема. — Сергей засмеялся, но было видно, что ему невесело.

— Простите, ребята, за такой завтрак. Спасибо вам, что пришли. Простите. Может, оно так и нужно, чтобы на свете не слишком беззаботно жилось. И не слишком спокойно. Правда же!

— Вы сейчас наизусть процитировали мои слова из выступления на собрании. Вы хорошая девушка, — сказал Сергей. — Переезжайте к нам. — Он улыбался. — Я устрою вас на работу.

Они стояли в вестибюле и говорили друг другу совсем не то, что должны были бы сказать, потому что разлука, которая не имела для них особенного значения, но была щемящей, как всякая разлука, распахнула над их головами свои крылья. За дверями сияло солнце — который уже день оно по-летнему раскаленно сияло над Киевом обжигающим диском, золотой тарелкой с голубой стены неба.

Коридорная дала Марте коробку, перевязанную красно-синей лентой. Марта поставила ее на столик и прямо здесь, на рекламных проспектах, развязала ленту, сняла бумагу — выпала записка: «На память о коротких встречах в городе, без которого никто из нас жить не может. Виктор. Сергей». Она открыла коробку. В серую пластмассовую подставку была вмонтирована маленькая красная лампочка у подножия черной стрелы, нацеленной вверх. Она осмотрела коробку, внизу белела этикетка: «Сувенир. Количество — 1. Название: «Могила. Неизвестного солдата».

Щелкнула выключателем, и огонек под макетом обелиска вспыхнул красным угольком. Марта осторожно разломала коробку с этикеткой, скомкала бумагу и бросила все это в переполненную плетеную корзину в углу. Пошла в номер, неся в ладонях записку и небольшую модель монумента, где у подножия трепетал красненький огонек. Такой горячий, что пальцам было больно.

В номере она легла на еще не убранную постель и закрыла глаза...

Марта проснулась с ощущением незавершенного дела — очень важного, необычайно важного дела, которое она не успела закончить. А потом подумала, как быстро люди приходят в ее жизнь и уходят из нее, — столько людей, никогда еще не было около нее столько людей сразу.

Марта странно спала в Киеве. Здешний день совпадал с висконсинским вечером, и, выходя из номера, она не могла забыть, что в университете уже выключают свет в комнатах, готовясь ко сну, или сидят на последнем сеансе в киноклубе, или смотрят глупый фильм ночной телепрограммы для взрослых. Когда солнце стояло в зените, знаменуя киевский день, Марту клонило в сон, и она на час или немножко больше проваливалась в удивительные свои сновидения, чтобы потом проснуться и, умывшись холодной водой из-под крана, готовиться к встрече вечера, когда спать не захочется — от передуманного на протяжении дня и оттого, что в университете уже начинаются лекции. Время не отпускаяло ее, время, к которому она привыкла; и тело ее жило еще тем временем, даже если разум не принимал его, перегруженный мыслями и ассоциациями, которые он не способен был предвидеть год тому назад.

Все логично.

Она чувствовала себя космонавтом, как у Рея Бредбери, что прилетел на Землю, пробыв сотню лет вне ее и не постарев. Она помнила названия городов и человеческие имена, но города и люди были совсем другие, никто не знал ее, потому что у каждого собственные хлопоты, а она была где-то на других планетах, может, даже в другой галактике. Все логично.

Марта закурила и подумала, что напрасно она старается постичь все сразу на свете.

Вспомнила разговор с Костюком в машине — она вправду была веткой, сплеленной с великолепной кроны, веткой, валявшейся на земле.

Ну, и что из этого! Поставили ветку в воду, она выбросила листики, разлепила пальцы почек.

Ну и что же, если листья не над землей, не над

собственными корнями, а над стеклянной банкой из-под компота! Что с того?

Марта смотрела на город и приняла возвращение душевной боли, как муку, дарованную ей Киевом; так небо разрывает грудь пилотам, потерпевшим аварию в стратосфере. Другой воздух. Другие звезды. Но, взлетев туда один раз, навсегда забываешь о возвращении.

Сигарета дотлевала между пальцами, как шнур, который должен поджечь взрывчатку, и тогда все.

Скрипнули двери.

— Ты куришь! — сказал Григорий. Он стоял на пороге, смущенно оглядывая Марту. — Я стучал тебе, стучал, а потом осмелел и зашел, — ты прости. Но завтра ты уезжаешь отсюда, и все.

— Я буду здесь еще три дня. В конце.

— Это много — три дня. Это очень много. Прости, Марта, я, наверное, пойду. Просто шел мимо и зашел к тебе. Нечего делать было. Прости, ты же, правда, приедешь сюда на три дня в конце путешествия. Как я мог забыть!..

Григорий стоял в коридоре, неторопливо застегивая плащ.

— Заходите. — Марта села на постели. — Заходите. Раздевайтесь. Сядьте.

Григорий сел около столика, не сняв плаща, Марта полулежала, потом поднялась на локтях, посмотрела на него и села, свесив с постели необутые ноги.

— Вы пришли, как привидение, я даже не поняла сразу, кто это. Если бы не скрипнули двери, я могла бы не обратить внимания.

— Двери скрипели, — подтвердил Григорий. — Ты не слышала, как я стучал в них, но услышала, как скрипят двери. У тебя удивительный слух.

— У меня все удивительное. Разве нет! — Марта смотрела на Григория.

— Дай сигарету.

Марта протянула пачку. Григорий прикурил и глупо затыкнулся.

— Ну и что! — глянул он сквозь облачко дыма. — Ты хочешь рассказать мне, как тебе тяжело!

Руки у Григория были по-крестьянски крупными. Марта обратила внимание на это еще при первой встрече. Сигарета вертелась между пальцами, как недогоревшая спичка, — так несоизмеримы были толстые пальцы Григория и узкая белая палочка сигареты «Кент».

— Я пойду, — повторил Григорий, — я еще завтра буду здесь с утра. Ты уж побереги для нас с Ольгой час до самолета. И чего ты едешь во Львов!

— Не знаю. — Марта пожалала плечами. — У меня ведь определенный маршрут. «Киев — Львов — Киев». Я зачем-то поеду во Львов и еще раз сюда.

— Львов — замечательный город, — сказал Григорий.

— Может быть. Но я хотела бы остаться здесь. Григорий пожал плечами и поднялся, застегивая плащ.

— Ты очень похожа на одну девушку. Звали ее Галей.

— Вы знаете девушек! О! — Марта сделала строго лицо.

Григорий не ответил на шутку.

— Галю вывели в Германию. Она не вернулась, и с того времени я один.

— Извините. — Марта встала около постели.

— Ничего. Это я к тому, что не ты одна там. Все не слишком легко. Хотя Андрей говорит, что кто-то должен быть жертвой в любом деле. Жертвы освящают.

— Подождите, я приведу себя в порядок — выйдем вместе.

— Нет. — Григорий покачал головой. — Не нужно.

Я действительно заходил на минутку и поэтому без предупреждения. Лежи. У тебя утомленный вид. Лежи.

Марта не слышала, как он уходил. Представила большую его фигуру, которая беззвучно растворяется в мелькании чужих силуэтов, в отблеске стеклянных дверей.

Попробовала увидеть его сверху — через прозрачную стену; люди шли густо, покупали газеты, ныряли в подземный переход. Вообще трудно разглядеть лица, если смотришь на них с высоты шестого этажа.

«Андрей говорит, что во всяком деле кто-то должен быть жертвой». Марта вспомнила слова Григория и усмехнулась. Как это величественно — пролиться жертвенной кровью, пасть жертвой на алтаре победы!

Только кто же составляет список жертв! Марта подумала, что, может, там, в толпе, идет человек с лицом старого бухгалтера. Марта почему-то представила его в темных очках слепца, — тот, кто намечает, кого приносить в жертву. Чью жизнь, чью душу, чью память.

Глупости!

Марта упала лицом на стекло, прислонила лицо к нему так тесно, что слезы, вытекая из глаз, не могли пролиться на щеки.

ОТЕЦ (8)

Спать не хотелось — она просто не могла сомкнуть глаз, потому что самолеты гудели над головой один за другим, так низко над крышей, что, наверное, пламя из двигателей обжигало трубу. От такого свиста — до рева и до перезвона оконных стекол, до головной боли, и снова тонкий свист, словно звенит ветер, рассеченный длинной саблей. Отец слушал, открыв глаза. «Мюнхен, — сказал он. — Мюнхен. Не дай тебе боже, Мартуня. Никогда. Никогда в жизни. Мюнхен». Гул самолетов перекрывал его голос, и Марта угадывала по его губам, что он говорит. «Самолет хорошо слышно с земли. А вот землю с самолета... Мюнхен. Не живи под чужими самолетами, дочка. Не живи под чужими самолетами».

Марта все понимала. Ей казалось даже, что она слышала, как свистят бомбы, падая на кровавую грудку битого кирпича, которая осталась от Мюнхена; бомбы падают на всех, а попадают в маму. Все самолеты были чужими. Все самолеты и все пилоты.

Отец лежал, широко раскрыв глаза; он шевелил губами, но сразу несколько моторов взревело над домом, убив все другие звуки, даже те, что едва появились и сникли на черных губах, согнутые реактивными потоками, как сгибаются в степи под ветром молодые стебли травы.

«Я иду к Вере, — сказал он немного погодя. — Мы там все встретимся. Но почему только там? Почему только там?»

Голоса самолетов заглохли — они поднимались вверх, несли свой рев выше и выше, пронзая огненными стрелами белые вспышки облаков.

Павло

Днепр был там, внизу, за улицами, за зданием речного вокзала, похожего сверху на паровоз, за серым гранитом набережной, — он блистал на солнце, неся бесконечное свое быстрое тело.

— Вы уехали из Киева через тот мост, — показал Марте Григорий, — а Павло наступал оттуда.

Они стояли вчетвером подле кружевной ограды Владимирской горки и смотрели вниз. Ольга, Костюк, Григорий и Марта. Было еще рано, и все скамейки за их спинами стояли чистенькие и пустые, с каплями воды на свежоокрашенных сиденьях.

— Я не видел Павла; когда наши вошли в Киев, бесполезно было искать кого-нибудь в частях, только что вышедших из боя. Да и кто мог знать, что Павло Пирог тоже тут! — Григорий посмотрел на горизонт и обратился к Костюку и Ольге, которые молча стояли лицом к реке: — Помните, как не было воды и мы ходили с ведрами к Днепру — пол-Киева с ведрами на длинных веревках! Слово древяне или поляне какие-нибудь...

Никто не ответил. Деревья шумели, еще не одетые листвою, и ветер раскачивал прозрачные кроны, которые пропускали его сквозь себя, трепетали лишь маленькие зеленые огоньки, уже отделившись от коры.

С грохотом проехал на Подол трамвай. Он дребезжал, и подскакивал, и рассыпал искры, как молодой зверь, выпущенный утром на волю. За трамвайными окнами было еще пусто: пассажирам некуда было торопиться.

— Как хорошо! — Марта оглядела тех, кто был рядом. — Слушайте, как хорошо! Вы не представляете себе. Как хорошо здесь стоять и смотреть отсюда.

— Это было любимым занятием вон того человека, чьи подданные задолго до нас ходили к Днепру с ведрами. — Григорий показал на памятник Владимиру, что высился сзади. — Князь Владимир Красное Солнышко стоял над обрывом и смотрел, как загоняют киевлян в реку для крещения водой. Тогдашнего бога — Перуна с серебряными усами, сбросили в Днепр, и он покатылся по дну, выглядывая на мелях, чтобы потом утонуть окончательно. Где-то там он и лежит — в тине, а рыбы ему молятся. Киевляне бежали за Перуном, плакали и просили: «Восстань, боже, восстань!» Они так привыкли к старому богу, что не хотели никаких перемен. Плохой был Перун или хороший, а неизвестно, что еще за штука — новый бог. Но Перун сверкнул усами и утонул. Киевляне же стояли на берегу, ждали обещанного конца света, громов с неба и смерти тех, кто принял крещение. Владимир здесь вот, на этом самом месте, ждал возвращения язычников: знал, что они прибегают, проклиная мертвого бога, как только удостоверятся в его гибели, и полезут в реку, и позовут крестителей испуганными, виноватыми голосами. — Григорий повел рукой: вокруг, пока видел глаз, лежали соты белых домиков, а там, далеко, на горизонте, — антенны радиостанции. — Две тысячи лет, — сказал он, — две тысячи лет.

— Никто не знает. — Костюк обращался к Марте. — Никто не знает, сколько лет этому городу, этой реке. Никто не знает. Может, это и к лучшему. Где-

то около двадцати столетий. Но возможны ошибки — лет на пятьсот — в ту или другую сторону.

— Утраты и здесь неминуемы! — громко спросила Марта сама себя.

— В каждом деле. — Костюк обвел глазами горизонт и положил руку на плечо Григорию. — Ты прав. Нигде нет больше такой красоты. Причем я свидетель, как возводили все мосты, которые видны отсюда. И все дома. — Он показал в сторону Дарницы. Через мост, который навис над рекой вдалеке, двигался поезд, повесив над собой длинный дымный хвост. Внизу, через площадь, расстеленную перед отелем Марты, быстро шел человек, нарушая все правила уличного движения. Потом человек побежал, высоко поднимая острые углы локтей. Он исчез в парке, и Марта отвела взгляд.

— Когда ты летишь? — спросила Ольга.

— Я знаю, — сказал Костюк. — Я уже знаю. Подъеду на машине. Все поедем.

Ну вот. Уже вспомнили. Марта с рассвета жила предчувствием вечернего своего отлета, таила в себе тревогу и не могла избавиться от нее. Самолет — она ощущала это физически, как боль, — висел над нею, раскинув серебряные плоскости крыльев с большими черными номерами. Небо было прозрачным и чистым, как гигантское ледяное озеро. Марта видела такие, пролетая над степью.

Какой степью!

Даже помимо воли, даже мыслями она не хотела сейчас возвращаться туда, на отцовскую ферму, в заколоченный дом, где на пороге взошла первая весенняя трава.

Или, может, его уже продали окончательно, тот дом! Скорей бы! Она отогнала от себя мысль о досках, прибитых крест-накрест на дверях, и еще раз посмотрела на белые домики, рассыпавшиеся за рекой. Костюк проследил за взглядом Марты.

— Дарница, — сказал он. — Это Дарница. Песок. Сосны. Заводы. Там тысяч шестьдесят наших хлопцев лежит. В песке. Военнопленные, без имен, без погон — собственно, они и не дожили до погон. Целый Ужгород закопан там в песке. Представляешь, Марта! Целый Ужгород.

— Тут все не просто, Мартуна. — Ольга впервые назвала ее так. — Каждый, кто хоть немножко поживет в Киеве, породнится с ним. Сам. Родными. Предками. Чужими. Я часто после войны думаю об этом. Потому что здесь все общее: под улицами, под домами. За две тысячи лет там столько полегло. Представить не могу.

Они повернули от ограды в глубину затененной аллеи и под переплетенными руками деревьев прошли к кинотеатру, который спал, закрыв до вечера все двери.

«Вечером здесь будут смотреть фильм, а меня уже не будет», — подумала Марта.

Площадь перед гостиницей понемногу заполнялась людьми, катились троллейбусы, автобусы вырвались вверх и, кряхтя, поворачивали по площади; прохожие не торопились: день был выходной, когда с утра можно поспать, а потом выйти для медленной прогулки, дыша воздухом; солнца было полно, и никакой грязи, никакого смрада — город дождался своего воскресенья, и оно было истинным его воскресением, его очищением, его праздником.

— Есть города, которые бывают красивыми только в труде. — Донецк, Днепродзержинск. — Костюк улыбнулся Марте. — Знаешь, есть праздничные города — Ленинград. А Киев всегда красивый. Ты его мало видела. Очень мало. Поверь нам на слово.

— Я приеду сюда еще на три дня.

— В Киеве нужно жить,— сказал Костюк.

— Я живу в Киеве.

Ольга оглянулась на Марту и кивнула головой.

— Ты живешь в Киеве. Ты только сейчас эмигрируешь. Ты подумала! Ты только сейчас эмигрируешь. Тебе предстоит осознать путь отсюда, если ты захочешь его повторить. Ты подумала!

Дорога в гору пролегла мимо гостиницы Марты, потом мимо дома среди деревьев, где около входа вытянули свои серые лапы большие каменные львы. Четверо шли вверх, коротко переговариваясь, потому что все сказанное сегодня звучало особенно,— каждый чувствовал это, и они были сдержанны, словно увиделись впервые,— трое людей, чьи лица были очень похожими. Костюк шел немного сзади, отступив на край тротуара. Никто не спускался им навстречу, можно было занять узкий тротуар и беседовать, как дома, размахивая руками, перебивая друг друга, но каждый прислушивался к себе самому, и они молчали, эти четверо.

Киев выстраивал деревья, и дома, и склоны, заросшие травой, как щеголеватый хозяин.

— А здесь хочется стать язычницей,— Марта засмеялась сегодня впервые,— чтобы бог стоял, тобою же выструганный, просто в кустах и у него были бы серебряные усы и золотой чуб. И чтобы после смерти не было ада, как его не было у наших предков.

— Помнишь, Оля! — Костюк остановился между нею и Григорием.— Я поехал в позапрошлом году с московскими газетчиками на Чукотку. Ходили из чума в чум — они собирали материал, а я записал несколько преданий. В доме одного парня — он всюду ходил со мной как переводчик — я увидел семейного бога — первобытного идола, которому после удачной охоты мазали губы кровью и жиром. Божок стоял в уголке — парень этот окончил десятилетку и работал бригадиром в колхозе. «Отдай мне идола», — попросил я. Мой хозяин почесал в затылке: «Ты знаешь, мне для тебя ничего не жаль. Я тебе отдам идола. Я знаю, что это темнота и обман. Только его же нужно кормить. Я знаю, что это обман, только он же помрет с голоду, если его не кормить как следует». Так я и не получил божка. Ты, Марта, не последний на свете сторонник язычества.

Навстречу им бежал маленький человечек на коротеньких ножках, с большим животом. За человечком вприпрыжку катилась маленькая белая собачка. Марте подумалось, что чукотский идол был именно таким — пузаном на коротких ногах. Костюк все-таки развеселил ее немного.

— Мы здесь с Василем ходили. И с Павлом. Павло был самый младший из нас, но вечно тянулся за старшими. У Ольги были свои заботы, а мы с Василем бегали сюда в парк — гулять и слушать музыку; в парке всегда играл симфонический оркестр — летом, по вечерам. Музей был там, где и сейчас, все дома те же самые, тут ничего не изменилось, ничтошеньки. Разве что гостиница твоя, но она была тебе не нужна, потому ее и не было.— Григорий смотрел себе под ноги, словно искал следы, оставленные на асфальте четверть столетия назад.

Вернулись к разговору, уйти от которого было невозможно. Напрасно и старались.

Парк. Пушка на пьедестале. Простреленная стена завода. Снова парк. Памятник революции. Памятник человеческому труду. Памятник даже пулям, что оставили в стене глубокие черные выбоины. Город отбирал из прошлого то, что подлежало сохране-



нию,— Марта принимала парад реликвий, которые стали частицей сегодняшнего дня.

А над головою высоко в небе самолет тянул за собой бесконечный белый след. Небо, прочерченное длинными светлыми дорожками, растворяло их в себе так, словно никогда ни один самолет не пролетал по нему: никаких следов. У неба не было памяти, оно забыло уже кровавое зарево на Крещатику, развеяло пыль Успенского собора, разодрало черные шлейфы сбитых над Киевом вражеских самолетов. Небо было вечным, и Марта принимала его в душу, как те тысячелетия, что прошли здесь до нее.

— Будет дождь,— сказал Григорий. Он показал на край неба, где облака сбивались в серую пухлую массу.— Это — к вечеру.— Он посмотрел на часы и перевел взгляд на Марту.— Ничего. Отправиться путешествовать в дождь — к счастью. Абсолютно верная примета.

Костюк взял Марту за локоть и пожал его. Марта подумала, что, может, и вправду вечером разразится гроза — самолеты не полетят, испуганные непогодой, и она останется здесь — почти одна, на скамейке аэропорта, в городе, который уже попрощался с нею.

Между деревьями в парке бегали дети. Марта вбирала в себя кусочки впечатлений. Они не объединялись, а оставались фрагментами гигантской, колоссальной картины, которую нельзя разглядывать вплотную. Стена с выбоинами, шлейф самолета, туча на горизонте, дети в парке... Мальчик бежал им навстречу.

— Пах-пах! — сказал мальчик.— Я вас убил. Пах-пах!

Он держал короткий черный автомат двумя руками, и руки у него дрожали, словно оружие вело их, а потом так же быстро, как стрелял, он повернулся и пропал за углом. Черное дуло высунулось из-за кирпичной стены, потом спряталось, и стрелок исчез, словно его и не было. А может, это они отвели

взгляды в сторону — при входе в аллею пожилая женщина раскладывала на столике афиши, на которых были изображены «Волги», как у Костюка, и две пятнадцатикопеечные монеты.

Марта шагнула вперед и посмотрела прямо перед собой. Все поле зрения заняла черная стрела на голубом фоне. За ней не было ничего — ни деревьев, ни домов, только небо. Четверо шли к памятнику между двумя черно-зелеными шеренгами густых, аккуратно подстриженных кустов.

— В последний раз мы были здесь с Павлом и Василем в сорок первом, до начала войны. Май был жаркий, и листва на этих склонах была серая от зноя. У нас с Василем была одна папироса на двоих. Павло попросил затянуться, он всегда был для нас младшим, малышом. Мы дали ему и втроем выкурили короткую, единственную нашу папиросу. Пекло, как сейчас. Страшно пекло. — Григорий отогнул черно-зеленую ветку, и она туго выпрямилась и задрожала за спинами четверых людей, у троих из которых были на редкость похожие лица. Четверо приближались к огню и, приближаясь, замедляли шаги.

Марта не могла потом вспомнить, большим или маленьким было это пламя, потому что, увидевшее так близко, оно заняло собой все — и даже небо, даже трава на склонах за памятником выглядела иначе сквозь дрожащие струи огня, висевшие над гранитом. В тот миг — да и потом — Марте казалось, что это пламя не обжигает, что оно холодное, как театральная лампа, хоть руку туда положи.

Но распластанные над бронзой и гранитом волны огня жгли, она почувствовала горячее дыхание на лице, как у старой летней печки на ферме, у которой они склоняются с отцом и кидают дрова в ненасытную огненную пасть — в глубине печи краснеют камни и черно мертвеют уже сгоревшие куски дерева.

— Не подходи близко — лицо обожжешь, — сказала Ольга и оттолкнула ее немного назад. Пламя снова кроваво покачивалось на голубом фоне неба и на зеленом фоне травы, которая раскатывала свой ковер от золотых куполов Лавры в Днепр — вниз. Пламя пахло степью, сухим воздухом и камнями, раскаленными на солнце.

По какой религии мертвых сжигали, развевая пепел! Марта не могла вспомнить. Огонь был как бы провозвестником завтрашнего взрыва, который расколет землю, показав пылающее ее нутро, выплеснув его огненной лавой...

Марта подняла глаза: туча на горизонте увеличилась, скоро она достигнет солнца, клочки серой ваты соединились в гигантское одеяло, которое хотело закрыть землю от дневного света. Опустив глаза на огонь, Марта сделала шаг назад, не в силах встать спиной к факелу.

— Иди сюда. — Это Григорий взял ее за плечо. Под черно-зеленым рядом кустов вросли в землю квадраты полированного мрамора. На одном было высечено:

Герой Советского Союза
лейтенант
ПИРОГ
Павел Михайлович
18 8
19—21 — 19—43
IX XI

— Павло, — сказал Григорий. — Ты об этом знала! Павло.

Квадраты мрамора были соединены в одну полосу; если бы кто-нибудь из погибших захотел подняться навстречу тем, кто приходит сюда, он должен был бы освободить сперва своих товарищей, ото-

двинув их общий могильный камень. Сползли набок цветы, разложенные там и тут, — на Павловой могиле лежал лиловый пучочек кон-стравы.

— Павло, — повторил Григорий.

Теперь Марта встретила уже со всеми: Таиса, Ольга, Григорий и Павло. Пятеро детей было у старого Михаила Степановича Пирого. Василь Михайлович, отец ее, был одним из них. Она наклонилась и прикоснулась ладонью к мрамору. Пальцы задерживались на буквах, и она могла бы прочитать их с закрытыми глазами. Даже ослепнув. Где-то там, глубоко, под красивым полированным камнем, лежит человек, который был моложе ее и приходился ей дядей. Павло Михайлович Пирог. Она представила, как трое — Григорий, Павло и отец ее — курят одну папиросу на этом склоне — без могил, без вечного огня, задолго до войны, с которой все и начнется.

Пламя дышало в спину, и черно-зеленые кусты по обе стороны стояли неподвижно, словно чугунные. Когда Марта дошла до конца аллеи, то словно впервые услышала улицу — автомобильный шорох и паренюка с транзистором в кармане, который прошел перед нею, неся с собой чужой голос, а через два шага — музыку, веселую песенку: пап-пап, па-па-ра-па, пап-пап...

Марта вышла на улицу, где было серо, солнце стало невидимым, отделенное от Киева слоем тучи. Слева за столиком сидела женщина, торгуя лотерейным счастьем.

— Последние билеты, ну, завтра траж. Ну, кому «Волги», холодильники, мотоциклы!!

Улица возвращалась к Марте, кричала ей, заставляла слушать и хватала за рукава.

Марта остановилась, оглянулась, и все звуки пропали, как отрезало.

Пламя билось под гранитным обелиском, словно костер, разложенный под обгесанным деревом, под сосной, которая стала уже телеграфным столбом. Черный сбелиск стоял на черном фоне, нацелившись острием в небо, которое снижалось, ложась грудью на полированный монолит.

— Слушай, — сказал Костюк. — Ты все-таки должна лететь сегодня!

— Я буду здесь еще три дня. Потом.

— Может, Таиса вернется к тому времени.

— Может быть...

Марту не трогало сейчас, кто вернется в этот город, чтобы жить там после нее. Ее только поражала очевидность того факта, что жизнь течет дальше, что здесь привыкли к ее отсутствию — уезжают, приезжают.

— Я бы хотела повидать Таису Михайловну, когда она приедет, — прошептала Марта.

Небо тяжело клонилось на верхушки деревьев и темнело.

— Я пойду прилягу, — сказала Марта. — Плохо спала сегодня.

— В самолете будешь спать, — ответил Григорий.

— Я прилягу... — Марта чувствовала, что не в силах сопротивляться усталости.

Киев не потерял своего белого цвета, он разворачивал светлые стены над зелеными взрывами бульваров и светился сквозь ветки. Марта вспомнила чьи-то слова об этом городе, который не сгорел ни в одной из войн, — слова про вечный Киев, и к боли ее прибавилась новая: она знала, что должна идти в гостиницу, что должна лечь в постель и закрыть глаза и чтобы никого не было рядом.

«Пух-пах-пах! — сказал мальчик, вышедший из-за куста. — Пух-пах!» — Он держал в руке короткий черный пистолет из жести, наставленный в живот дру-

тому мальчику, очень похожему, словно они были близнецами. «Пах-пах!» — сказал вооруженный и пошевелил дулом. Его противник схватился руками за живот и лег на траву, подтянув острые колени к груди. Он втискивал ладони в тощий живот и сто-нал: «О-о!» «Пух-пах!» — сказал первый с пистоле-том; он имел право «добить» своего противника: такая игра. Марта рванулась к детям и почувство-вала на плече Ольгину руку.

— Не тронь их.— Ольга плакала.— Не трогай. Они ничего не понимают.

...В номере было душно, как перед грозой, и по-стель стояла неубранная и белая, как снег в степи; Марта подумала о самолете, который ждет ее, раскинув блестящие крылья над серыми плитами взлетной дорожки. Она закрыла глаза и легла навзничь — Марта Васильевна Пирог, иностранка.

И внезапно все изменилось, потому что она поня-ла, что родилась на этой земле давным-давно, что должна жить здесь, что она не имеет права и не может уехать с земли отцов, которая приросла к ней, как к корням деревьев на бульваре, как к под-валам домов, на блестящие крыши которых упала тяжелая туча, прикованная собственным весом к этой земле.

Начался дождь.

И первые капли его ударили в стекло, которое натянута зазвенело, словно иллюминатор на взлете.

Она увидела аэропорт, он был грандиозней, чем все, через которые она проходила до сих пор. Ко-стюк, Ольга, Таиса, Григорий, а чуть дальше — Сер-гей, Виктор, Моисей Борисович, люди с улиц, кори-дорная из гостиницы — все молча шли за ней, и дверь бесшумно открывалась — прямоугольные проемы в стеклянной стене; они остались одни в аэропорту — в пронзительной пустоте, прозрачной со всех сторон.

Тишина была такая, что болели уши; даже само-леты подлетали неслышно, и пропеллеры враща-лись с мягким жужжанием вентилятора. Все это бы-

ли самолеты второй мировой войны — и широкие и горбатые. Марта представила их так отчетливо, слов-но летала в каждом и помнит профили черных не-бесных птиц над своей детской головой.

Уже прошла она сквозь последнюю прозрачную стену. Седой невысокий человек в темных очках, с большими усами, в засаленном кителе и нечище-ных сапогах взял у нее билет и закрыл дверь, слов-но форточку прозрачного гигантского окна.

Марта оглянулась и увидела лица — Костюка, Оль-ги, Таисы, Григория и еще — без числа. Все они приникли к стеклу, и губы их шевелились, выдыхая слова, ни одно из которых не доходило до нее, Марты. Форточка в стеклянной стене исчезла, и невысокий человек в нечищенных сапогах тоже ис-чез. Она пыталась по движению губ понять, что ей кричат, и не могла. Потом вспомнила; нащупав кар-ман, вытянула оттуда конверт, разодрала его, раз-вернула титульную страничку библии — поток возду-ха вырвался из бешеного пропеллера, из нескольких сразу, потому что гудели моторы всех самолетов — может, поэтому ни один голос не долетал до Мар-ты, — ветер выхватил из ее пальцев лист бумаги, и все, что осталось от Василия Михайловича Пи-рога, все разлетелось, развеялось в небе, поднялось к тонким перьям высоких облаков. Лица за стеклом шевелили губами.

Марта сделала шаг к самолетам. Садилось солнце. Полсвина громадного красного шара сияла на го-ризонте, словно удесятеренное пламя на могиле Павла. Марта сделала еще шаг вперед и почувст-вовала, как жарко ей от огня, разлитого на краю неба, расплескавшегося на прозрачных пропеллер-ных дисках...

Она открыла глаза и поразились тишине гостинич-ного номера. По стене проползли огни автомобиль-ных фар, и Марта подумала, что один из этих авто-мобилей едет за нею.

Перевод И. СЕРГЕЕВОЙ.



**Семен
Сорин**

Завещание

Когда умру, окончу путь солдатский,
Сломаюсь, как клинок, не заржавев,
Хочу лежать в большой могиле братской
Однополчан, сражавшихся за Ржев.

Хочу лежать я на бугре зеленом,
Где ветер жжет и одуванчик желт,
Где каменный, со знаменем склоненным,
Солдат покой солдатский бережет.

Клянется вам, московские герои,
Зажившийся московский старожил:
Невыносимо горько мне порою,
Что я друзей на столько пережил.

Клянется он: как время б ни гремело,
Не пожалеть за правду головы,
А смерть нагрянет — пасть за то же дело,
За ту же землю, что спасали вы.

Мы были близки и остались близки.
Когда ж настанет время похорон,
Да будет местом и моей прописки
Село Холмец, Оленинский район.

Под выюгами, под сенью ливней летних
Мы братства своего не предадим,
И, может, я среди двадцатилетних
Пред вечностью предстану молодым.



Мы у врага село отбили вновь.
Я в хате увидал лежавших рядом
Крестьянина и двух его сынов,
Убитых поутру одним снарядом.

Их всех троих убило поутру.
Валялся кровью налитый ботинок.
А женщина металась по двору
За курицей последней — для поминок.

Хотела, чтобы все как у людей...
Еще не мог ее постигнуть разум,
Что мертвым, им, втроем куда теплей,
Чем ей, живой, все потерявшей разом.

В сравнении с прошедшим так мелки
Мои с тобой размолвки и разлуки.
Мне помнятся пылящие полки,
Крестьянки обезумевшие руки.

Жить!

Жить хочу. Во что бы то ни стало.
Тяжесть! Мне любая по плечу.
Человек в песках упал устало —
Я спасу, не брошу: жить хочу.

Кто-то гибнет от потери крови —
Поделюсь своей, не возропщу.
Старика из-под горячей кровли
Вытащу, сгорая: жить хочу.

Грудью — на штыки, на амбразуру,
Сердце вырву — людям посвечу.
Собственная шкура! К черту шкуру!
Смертный бой возглавлю: жить хочу.

Плющится под траками щбенка,
Танк летит по фарному лучу.
На пути ребенок! На ребенка!
Лучше с ходу в пропасть: жить хочу.

Много мне отпущено иль мало,
Жизнь других своею оплачу.
Жить хочу во что бы то ни стало,
Только так. Иначе не хочу.



**Григорий
Познян**

Погоня

Я старею, и снятся мне травы,
а в ушах то сверчки, то шмели.
Но к чему наводить переправы
на оставленный берег вдали?
Ни разрывов, ни шифра, ни грязи
не забыть ни сейчас, ни потом.

Мне сказали:
— Взорвете понтон
и останетесь в плавнях для связи.
...И остался один во вселенной,
прислонившись к понтону щекой,
восемнадцатилетний военный
с обнаженной гранатной чекой.
С той поры я бегу и бегу,
а за мною собаки по следу.
Все — на той стороне. Я последний
на последнем своем берегу.
И гудят и гудят провода.
Боль стихает. На сердце покойней.
Так безногому снится погоня,
неразлучная с ним навсегда.

Бессонница

Лед взломавшая вода
тяжко рухнула на молы.
Ночь всю ночь варила смолы,
с днем покончив навсегда.
Сосны гнула, в окна дула,
сотрясая валуны.
ошалело била в дюнах
чугунами в чугуны.
А в нетопленном доме,
проникая с крыши в печи,
чей-то голос человеческий,
завывая, славил тьму.
...Печи стынут без огня,
церкви старятся без звонниц.
Укрываясь от бессонниц,
сны покинули меня.
Ночь — длиннее.
Дни — короче.
Дни состарятся в года.
— А куда уходят ночи!
— Не уходят никуда.

Освобождение

В моих ушах,
контуженных войной,
не гул, не звон,
а чей-то позывной.
Но чей он
и который это год —
я все забыл:
и ключ, и гриф, и код.
В моих ногах
осколки прежних лет.
Они со мной
покинут этот свет,
и вместе с нами
выйдут из огня
тот, кто стрелял,
и тот, кто спас меня.
В моих зрачках —
не я тому виной,
что жив остался,
просто я связной
меж теми, кто живут
и кто мертвы,—
в моих зрачках
зеленый цвет травы.
...Я все, что смог,
скребком годов соскреб.
Я не берег,
не подставлял свой лоб.
Не коротал
в чужой рубашке дни
и был на плахе
всем другим сродни.
В предчувствии
начала и конца
светлее тень
спокойного лица,
уверенней разжатая рука,
добрее уходящая строка.
Иду на дно
и не иду ко дну...
Так две реки
сливаются в одну,

чтоб, растворившись в море навсегда,
плыла освобожденная
вода.



Я старомоден, как ботфорт
на палубе ракетносца,
как барк, который не вернется
из флибустьерства в новый форт.
Как тот отвергнутый закон,
что прежней силы не имеет,
и как отшельник, что немеет
у новоявленных икон.
...Хочу, чтоб снова — кружева,
и белы скатерти, и сани,
чтоб за морями, за лесами
жила та мудрость, что права.
Хочу, чтоб вновь цвела сирень,
наваливаясь на заборы.
Хочу под парусом за боны
и в море всех кому не лень.
Хочу, чтоб замерла толпа
перед неистовым Ван-Гогом,
чтоб над арканами монголов
смеялся дикий конь тарпан.
Хочу, чтоб без земных богов.
И, презирая полумеру,
за оскорбление — к барьеру,
считай четырнадцать шагов.
Чтоб нам вернули лошадей,
чтоб наши дети не болели,
чтоб их воротнички белели,
и было все, как у людей.
Чтоб ты жила,
чтоб ты плыла,
чтоб не скрипел военный зуммер.
Чтоб я, не заживаясь, умер,
окончив добрые дела.



**Владимир
Назимов**

Песни

Во мгле осеннего двора
Береза лист роняет жесткий,
Звенит гитара до утра,
В шесть голосов поют подростки.

К чему скрывать! Душа моя
Полна обиды и досады:
Давным-давно не слышу я
Ни «Варшавянки», ни «Гренады».

Что это — пeиски пути!
 Игра в оригинальность? Мода!
 Иль вам пора в архив уйти,
 Характер русский и природа!
 Или отцы мужали зря,
 Отмечены судьбой былинной,
 На грозных песнях Октября
 И на «Дубинушке» старинной!
 Всему меняться суждено
 В природе, в жизни, в человеке,
 Но что-то быть должно одно,
 Что не меняется вовеки.
 Суть и душа земли родной —
 Ее обычай, песня, слово.
 Характера первооснова,
 Она не может стать иной!
 Сыграй мне, парень, для души
 О ямщике, степи и стуже.
 Чужие песни хороши,
 Но неужели наши хуже!
 В напевах грустных и простых —
 Все, что любимо, все, что свято!..
 Ведь вы их знаете, ребята!
 Ведь вы не позабыли их!

Проводник

Над кладбищем кружится сáрыч,
 Колочая жесть дребезжит.
 Богатов Василий Макарыч
 Под холмиком низким лежит.
 Пожары осенних закатов,
 В предгорье — могильный покой...
 Какой проводник был Богатов,
 Рыбак и охотник какой!
 Из рода охотников местных,
 Израненный, чудом живой,
 Четыре «Георгия» честных
 Принес он с войны мировой.
 Сквозь выюги и черные ночи
 В двадцатом из тлеющих сел
 Отряд большевистский, рабочий
 От гибели в горы увел.
 Невзгоды его не свалили —
 Чалдонские кости крепки!..
 В тридцатом избушку спалили,
 Убили жену кулаки.
 Да, жизнь обошлась с ним сурово!
 Трудился он, как муравей,
 И домик он выстроил снова
 И поднял троих сыновей.
 Но в час грозовой и печальный
 Пропала, распалась семья:
 В трех странах Европы Центральной
 Зарыты его сыновья —
 У Праги, Берлина и Вены...
 Жизнь снова, старик, начинай,
 А дома лишь «тулка», да стены,
 Да пес по прозванию Дунай.
 Сыны не успели жениться
 И внуков ему народить...
 Что делать! Куда притулиться?
 Пошел он по свету бродить!
 Вот так и явился когда-то
 К геологам старец седой
 С собакой худой и косматой,
 С косматой седой бородой.
 В тайге его прежде встречали:
 Набухшая, в жилах, рука

И полные синей печали
 Глаза, словно два озера.
 Разведчики старому рады:
 С ним карты не надо, и дед
 В такие трущобы отряды
 Водил в свои семьдесят лет!
 Тайгу, словно книгу, читая,
 Все тропы, хребты и ручьи
 Лесистых Саян и Алтая
 Он помнил, что пальцы свои.
 Излазил он Бию и Шилку,
 А как понимал он ружье!
 Умел он подкинуть бутылку
 И горло отбить у нее.
 И падало солнце из мрака
 Ветвей на снегов полотно...
 Когда это было, однако!
 Давно это было... Давно!..
 Обижен, придавлен чрезмерно
 Невзгодами прожитых лет,
 Другой бы озлобился, верно...
 Но нет, не озлобился дед!
 Рассвет. Суматошно, неровно
 Горланят в селе петухи,
 А дед уже с рыбой:— Петровна,
 Свари-ка ребятам уха!
 Домой возвращаясь с отрядом,
 Уснул, не проснулся наш дед.
 Поселок геологов рядом,
 Над кладбищем — снежный хребет.
 Под вечер его хоронили.
 Шумел пламенеющий лес.
 Три ночи выл пес на могиле,
 Потом он куда-то исчез...
 Старик справедливый и милый,
 Пускай пролетают года —
 Всегда над твоею могилой
 Железная светит звезда!
 На кладбище тихо и сыро,
 Желтеет и чахнет трава.
 Проходит величие мира,
 Но память людская жива!
 Пылает под солнцем Белуха,
 И в небе плывет не спеша,
 Как облачко белого пуха,
 Твоя молодая душа.

¹ Вершина Алтая.



**Юнна
Мориц**

В Гурзуфе

Что-то было от прежнего века,
 От его хрустала, серебра
 В кипарисе, который вчера
 Трелетал, как душа человека.

Апельсины,
 жасмин,
 камфара
Стали запахом.
 И освещенье
Придавало значенье всему.
 Был июль,
 и творилась жара,
И нездешнего быта свеченье
Окаймляло лимон и хурму,
Двор,
 ограду,
 садовника-грека,
Едоков
 и застолье в дому,
И ручья золотое стеченье
На холме в благолепном Крыму.
И сошедшее в нас освещенье
Придавало значенье всему.

Это были таланты природы,
Те, которые водят рукой,
Порождающей ветры и воды,
Награждающей наши народы,
Чтобы светом любви и свободы
Поселить лучезарный покой.

Да!
 Я видела бытность такой!
Я жила в этот день и творила,
Ела яблоки прямо с ветвей,
И, тетрадь положив на перила,
Строчки шепотом вслух говорила,
И душа надо мною парила
И царила в тетради моей.

Я жила в этот день и творила!



Уже весны преддверье
Закапало на снег,
Видны птенцы, и звери,
И лыжницы разбег.

Случайная примета
Упорно говорит,
Что в воскресенье это
Снегурочка сгорит.

Останется полянка
И взвинченный ручей —
Волшебная приманка
Для дятлов и грачей.

Ах, будут перемены!
Звезда моя дрожит.
Со школьной перемены
Звоночек дребезжит.

В котле вскипает круто
Весенний кипяток,
И каждая минута —
Как воздуха глоток!

И каждая тетрадка
Переменить вольна

Земного распорядка
Привычки, имена.

Ах, с перемены школьной
Влечет в лесную даль
Звоночек колокольный,
Валдая нежный дар,

Чудесный дар Валдая,
Из той поры звонок,
Где мама — молодая,
А я — совсем щенок.

И ближе, чем у птицы,
К земле мое лицо,
И солнечные спицы
Продеты в колесо

Того велосипеда,
Которым напрямик
И я по свету еду
И младший мой двойник.

Ах, страны есть на свете,
В которые попасть
Умеют только дети,
И то не все, а часть.

И слышен дар Валдая,
Когда нажму звонок.
И мама — молодая,
И я — совсем щенок.

Маша

Мария,
 Маня,
 Мариам,
Твоих зрачков аквамарин
Каким морям, горам, мирам,
Кому обязан!
 Говори!

Какой раствор, с каких небес,
На куст какой упал когда,
Чтоб этот взгляд и этот жест
Одушевились, как вода!

Где глыбы рыб, и груды трав,
И кораблинный караван,
И каждый жив, и каждый прав,
Своим считая океан.

Такая чудная печать
Лежит на облике твоём,
Что хочется тетрадь начать
Сегодня ночью, а не днем —

Чтоб только тьма была густей
И только этот падал свет,
Который только у детей
Бывает только в десять лет!

Белое

На этом свете этот белый снег,
И белый сад, и выбеленный домик,
И этот белый склон, и белый след,
И этот белый лист, и белый томик,

Где белый стих о дюнах и любви
Уже предсказан белоснежным Блоком,
И вихри белые над белыми людьми
Я вижу в просветлении глубоком.

С чего, с чего же это началось?
Кто это все к моей душе придвинул,
Из белого колчана стрелы вынул
И белым свыше все пронзил насквозь!

Сперва была метели кутерьма
И ветер смазал очертанья мира,
Свихнулись океан, квартира, лира,
К которой льнули люди и дома.

Казалось, было все повреждено
Разрухой и тиранством урагана,
И он убил, как выстрел из нагана,
Все то, что сердце радовать должно.

Но чудный опыт, свойственный душе,
Предсказывал и намекал подспудно,
Что это буйство перенести нетрудно,
Но — при тетрадке и карандаше.

Тринадцать дней топтала нас пурга,
Клубился мрак в ребристых дебрях леса.
А напоследок рухнула завеса
И небеса украсила дуга.

И, словно пряди вымытых волос,
Скрилят и блещут дачные тропинки.
Но кто пошлет мне столько слов и слез,
Чтоб рассказать об этом без запинки!



Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.

В саду пиликало и пело,
Журчал ручей и цвел овраг,
Черешни розовое тело
Горело в окнах, как маяк.

С тех пор прошло четыре лета.
Сады — не те, ручьи — не те.
Но помню просветленье это
Во всей священной простоте.

И если достаю тетрадку,
Чтоб этот быт запечатлеть,
Я вспоминаю по порядку
Все то, что хочется воспеть,

Все то, что душу очищало,
И осеждало, и влекло,
И было с самого начала,
И впрямь исчезнуть не могло:

Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.



Кирилл
Коваленко

Преображение

С тяжелым сердцем и душой в пыли,
весь день прилипший к стулу или полу
и к городской поверхности земли,
он перед сном включает радиолу.

Себе он разрешает баловство
минут на сорок вечером воскресным,
и возникает музыка — над креслом
приподымает исподволь его.

Немой приманкой музыка изводит,
как мел с доски стирая кабинет,
выводит в неизвестное и сводит
земное тяготение на нет.

Несомый невесомой круговертью,
с несбывшейся судьбой наедине
припоминает что-то после смерти
и до рожденья или же во сне.

Он весь в себе и целиком вовне,
как бог — столпик, свободен и не понят,
и он же — с ней, чье имя он не помнит:
на бревнышке заречном, при луне...

Охотник

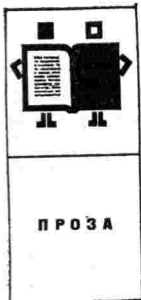
Знаешь ты безотказное средство,
Чтобы сразу к ногам — красота.
От зрачка через мушку до сердца —
Несомненна твоя прямота.

На лету, свою цель карауля,
В пустоту ты спускаешь курок:
Знаешь, встретятся сердце и пуля,
Видишь будущее, как пророк.

Мастерство твое с примесью скуки
И небрежности... Как бы шала,
И синицу хватаешь ты в руки
И с небес достаешь журавля.

Но подбитая птица не птица,
Птица может быть только живой.
Ей дичиться и ей приручиться...
Ты в руках не держал ни одной.

Небо в сговоре с жизнью, веками
Подменяет добычу земля:
Торжествуя, хватаешь руками
Несиницу и нежуравля.



Эдвард Радзинский

КАПИТАН СОЛНЦЕВ

РАССКАЗ



Рисунки
И. Оффенгендена.

Весной Солнцеву пошел восьмидесятый год. Был он всегда тучный, грудью широкий, а тут вдруг стал худеть. Мучил его ревматизм, и ходил Солнцев теперь в валенках и в холод и в тепло. В эту весну его и согнуло.

Перед самым маем, когда начали рыбаки собираться в путину, за Солнцевым прибежала девчонка Нюрка звать в правление.

Солнцев вышел на крыльцо, надел валенки и пошел. Солнцев знал, зачем его зовут.

Он шел гнутый, выставив вперед седую стриженую голову. Голова на солнце луженно блестела, а руки тяжело висели, мешали ему идти. Ладони у него были толстые, как подушки, и иссечены были рубцами от сетей.

Солнцев шел медленно, часто останавливался: уставал. И, остановившись, думал, чтобы не скучно было стоять.

Думал он о том, что сегодня Василия Париийского праздник. Значит, в России весна землю парит, медведь из берлоги встает... а здесь вот жара да жара...

Он родился на этом острове, и отец его тут родился, а вот дед бежал сюда из России. Давно это было. И все на острове было давно: и маяк из белого тесаного камня, и дома с приделами для сыновей, мал мала меньше, и высокие заборы, засыпанные песком. Песок на острове был благословенный — прибит ракушечником и оттого не хлестал в лицо при встречном ветре. И даже деревья тут росли. А кругом море и рыба. И скотины держать сколько хочешь тут разрешили. Словом, живи дэ и только, а вот нельзя: согнуло...

Председатель сидел в правлении и глядел на резную пепельницу в виде двух милующихся лошадей. Одна положила голову на гриву другой — ласкается.

Председателя Солнцев уважал: «Головастый мужик, сразу по двум телефонам разговаривает». Но оттого, что Солнцев знал, зачем позвали его, мысли его о

председателя были сейчас злы: «Приехал худой, в одной кожаночке, а сейчас вон какие тела отрастил, да и обстановка у него венгерская, и водку хлещет из поллитровой банки. Надо войти в ревизионную комиссию, — так подумал старик, а потом усмехнулся: — Если не помру».

Помолчали.

— Видал? — Председатель положил перед стариком фотографию. На карточке сняты были пять молодцов, а посредине сидел сам председатель. — Я когда с ними сымался, книги под себя подкладывал: здоровы, сукины дети!

Еще помолчали. Солнцев понимал, что председатель осторожничает, боится к делу приступить. Все-таки у Солнцева было два сына в городе — люди самостоятельные и на должностях.

— Значит, как сказано: художественную литературу надо уметь читать, а газету понимать. В газете что сказано? Если человек постарел или заболел, освободи его от капитанства, дай ему заслуженный отдых. — И председатель, радостно кругля глаза и думая, как ловко он подошел к больному вопросу, предложил старику стать сторожем в правлении.

Наступило молчание.

Старик смотрел на пепельницу. Он знал, о чем думал председатель, когда резал эту пепельницу.

На острове с войны остался табун лошадей. Лошади одичали, не нужны они были здесь людям. И жили лошади вольно в камышах. Как-то весной ночью при луне старик видел их брачные пляски.

И еще на острове жил волк. Всех волков истребили, а вот этого одного оставили и прозвали «Недобиток». Волк жил в камышах и боялся и людей и лошадей. Волк питался рыбой. На рассвете он шел к берегу, заходил по щиколотку в воду и ловил рыбу. Он бил ее лапой, выбрасывал на берег, раздирал, и песок вокруг был залит холодной рыбьей кровью...

А потом волк уходил обратно в камыши и тоскливо выл — сразу после еды своей.

Старик знал, что волк выл со стыда.

— У каждого свое установленное, — сказал он наконец. — Тебе — председателем быть, волку — мясозрять, а мне, значит, — рыбачить.

Старик шел от правления, часто останавливаясь, и думал: ведь как странно, знал, что не пойдет в эту весну капитаном, а вот сказали вслух — и огорчился.

«Живешь, живешь и не заметишь старости», — это сказал однажды его отец. Он был тогда еще мальцом. И он с жалостью смотрел на отца. Но жалость его была не тоскливая, а радостная. Радостно ему было думать, что сам он молод и что это не про него.

Так утром, когда будили товарищи — звали его на вахту, а он лежал под одеялом, хоть и проснулся, а счастливый, что ему еще спать можно, еще сон у него впереди. Хотя спать-то было всего час.

...Да, жизнь у него была длинная, исключительно длинная жизнь. Все тут было: и война и мир. На трех войнах он рыбаком был... Брал рыбу на всех морях и океанах... А вот в последнюю войну на флот пошел. И в плен попал. Отвезли его в лагерь под Марселем. В их бараке умирало по тридцать в ночь... Думал, конец. Но убежал. Шофер приехал французский. А он нагружал его машину. А шофер гонял свое сиденье и кивает. Ну и вывез его шофер под сиденьем.

Привезли его к капиталисту. Работал он у него плотником.

Потом, когда его спрашивали, как жил и работал у капиталиста, он сказал: «Я нашу политическую трению понимаю, а что обращались они со мной хорошо, и укрывали меня, и одевали — то было».

Потом американцы пришли, а он из Марселя на родину поехал. Потом разное было... Потом война кончилась, и вернулся он на остров. И снова капитаном стал. Но ненадолго: позвали его в рыбнадзор на Крайновский берег. Дело в том было, что прежнего рыбнадзора, товарища Кулеша Игнатия Петровича, браконьеры изловили в камышах, накиннули ему мешок на голову, сняли с него портки и отхлестали севрюгой. У севрюги известно какие колючки. После того товарищ Кулеш в больницу попал, и никто в рыбнадзор идти не хотел. Не в жанду и ему была эта работа. Но лестью его взяли: ты человек военный, смелый, в Марселе был, полмира видал — тебе все карты в руки...

Работа оказалась нетрудная... не такая трудная. Браконьеры, они, значит, делились: старики и молодые. Старики, они еще царского инспектора помнили. Тот ходил: аксельбант, шпоры звенят, усищи, как у таракана... Ну, люди завидят его и только крестятся. Поэтому у стариков врожденный страх, что ли, к инспектору остался. Накроешь старика на браконьерстве, составишь на него акт. Он тут же сам тебе его подпишет и только скажет: «Прости, Василий Михайлович, штраф возьми, но прости. И сеточки заberi, но прости...» И еще спасибо тебе вослед скажет. Потом сам штраф в суд уплатит и принесет тебе квитанцию об уплате:

— Спасибо, Василий Михайлов, вот заплатил.

— За что ж ты меня благодаришь?

— А за то, что все хорошо обошлось, по судам ты меня не затаскал, на скандал не поставил...

Со стариками дело ясное. Годы были трудные, голдные, ну, нарушил запрет старичок, поставил там для себя одну сеточку — ничего. Они, старики, много потрудились на своем веку, море у них здоровье отняло, пусть немного рыбки отдаст, ничего, не

обеднеет море. Ну и попадало ему за то... А он ноль внимания, фунт презрения.

А вот с молодыми шла у него война насмерть. Здесь прежде всего научился маскироваться он. Обычно как: кепочку чужую на себя напялит, механика своего отпустит, больным ему скажется, чтобы от механика слух пошел: «Захворал-де Солнцев». А сам к ночи огородами, огородами, чтобы к морю незаметно подползти и на лодочке, на веслах выйти.

Извлекается весь, места чистого не останется. Только к морю приблизится, а за спиной уже мальчишки кричат:

— Вон Василий Михайлович пошел!

И через пять минут нанятый браконьерский мотоцикл несется по берегу и орет: «Рыбнадзор едет, здоровый он сегодня».

А вообще браконьеры друг дружку выдавали. Без совести народец... Обидно одному попадаться, вот он и друга подведет...

Вот однажды обманул он их все ж таки: больным в день сказался, а сам ночью взял подвесной моторчик, удачно к морю прокрался и вышел на бударочке. Ехал неспешно. Тишина, луна, как яблоко желтое... Глядь, за камышом каючок стоит, на ночевую, значит, залегли, с удобствами.

— Привет! Кто таков?

Просыпается.

— Свои, Василий Михайлович, механик Ульянов.

— Сколько сетей?

— Девять.

— Ну, давай выдирай!

Выдрал. Оказалось одиннадцать.

Тут Ульянов не выдержал: глаза у него загорелись нехорошо — и говорит:

— А что ж это ты поворачиваешь, рыбнадзор? Разве я один?!

— А кто ж еще?

— Да вон... подальше... метров двести... каючок стоит Никитина, шофера.

Шесть человек так взял.

А в субботу горел берег. На машинах, на грузовиках ехали. Чего там не видишь: и «Молоко» едет, и для дерьма машины. Все за рыбой. Ну, заслон ставил. Улещать начинали. И стрелять пробовали. Нет совести у людей.

А так ничего, работа веселая...

А вот с предшественником его, Кулешом Игнатием Петровичем, которого отхлестали севрюгой, пришлось ему снова встретиться.

Любопытный был человек товарищ Кулеш, не мог никакого тебе нарушения стерпеть. Всю жизнь с кем-нибудь судился за правду. Трудовая книжка у него вся была исписана вдоль и поперек: «Уволен по сокращению штатов... Выдано двухнедельное пособие». Это он так за правду боролся. Без квартиры жил... Никак ему квартиру не давали... А он и говорит: «Ничего, я и без квартиры обойдусь. А все равно отовсюду буду клевать бюрократов — только пусть пищат...»

«Одно только плохо, — говорил ему Кулеш, — шесть ден я в плавании (он на Гослове тогда работал), приходится потому бороться в один выходной день».

Он со многими нарушениями боролся. Выбирал, как он говорил, «факт» и шуровал. Но правдолюбец считался исключительный. Людям даже удивительно было, сколько он претерпел из-за своего правдолюбства... Ну уж, когда все работы переменял, решили перевести его в рыбнадзор: работа склочная, а характер у него, решили, подходящий.

Предложили ему. А он с превеликим удовольствием: то все за закон боролся, а тут он сам законом стал. Да, абсолютной честности человек: взятки не

брал и браконьеров всех преследовал, можно сказать, беспощадно. Да вот слепой только. Для него старик с одной сеткой и детина-спекулянт — все одно браконьеры. Ну, актов он насоставлял тысячу. И еще плохо, что драчлив от природы был. Для него, с кем он борется, тот, значит, уже не человек, а враг... Так, видать, он ожесточал, лишений в прежней борьбе натерпевшись...

Долго ли, коротко, но захватил он однажды старика одного с Сулака. С сеточкой одной вышел старичок в запрет рыбки для себя взять... Но дело незаконное, и, значит, Кулеш давай его позорить. Фотографию с него снял и в стенд на улице наклеил.

Он любил площадно позорить. Это у него воспитанием называлось. И стенд у него особый был — посреди райцентра стоял, «Северюга» назывался. И жучки острые северюжки по бокам нарисованы... Ну, поставил он, значит, туда фотографию старичка. Старичок с обиды возьми и захвораю... Ну и тогда кто-то из товарищей старичка и застал Кулеша в камышах. И вышел ему для здоровья ущерб.

Но как исключительно играет с человеком судьба! Переменил Кулеш профессию: курсы фельдшеров окончил... И на остров его послали работать. А Солнцев к тому времени, тоже ушел с рыбнадзора обратно в рыбаки. И с Крайновского берега, где рыбнадзором работал, переехал обратно

на родину. Птицу на зерно тянет, а человека — на родину. Так на острове и встретились. Поздоровались, будто ничего и не было... И потом часто встречались: зайдет Солнцев в больницу снотворного или надворного попросить и Кулеша встретит. Да, все возвращается в жизни. Если с человеком интерес связан, знай, снова с ним же схлестнешься; если над кем посмеялся или обидел, знай, и над тобой будет такой же смех и такая же обида... Чудит жизнь!..

Под эти мысли Солнцев дошел до самого гаража. Отсюда стал виден его дом — деревянная северюга на стрехе крыши.

Домой Солнцеву не с чем было идти, и он остановился у гаража.

За оградой на желтом песке размещался транспорт острова: два грузовика и один верблюд. Верблюд лежал на песке, горб его лоснился на солнце, морда была узкая и странная. На верблюде возили для детского сада родниковую воду с дальних колодцев. Это был дрянной верблюд. Подл нравом и все норovil при случае плюнуть в человека, а потом удрать с бочкой в пустыню. Солнцев часто видел, как верблюд, трясая диким своим горбом и закидывая непомерные ноги, мчится по барханам. И бочка его громыхает, будто хохочет, а за ним, матерясь, бежит возница Краснов Игнатий Евтихианович.

В последний год верблюд совсем обнаглел: стал падох до лести и воду возил только, когда говорили ему ласковые слова. Так что надо было идти за ним и причитать: «Ах ты, милоч!.. Ах ты, красивый мой!.. Ах ты, солнышко персиянское!» А как перестанешь его улещать, верблюд тотчас плевался и начинал свой бег в пустыню. По тем причинам Краснов Игнатий Евтихианович перевелся сторожем в сельсовет. Место при верблюде было теперь свободное.

...Солнцев оперся о загородку и посмотрел на верблюда. Верблюд дремал, но при этом смотрел на Солнцева одним печальным своим глазом — видно, плюнуть готовился. А старик подумал: «Верблюд попортился не сразу, раньше была это тихая и веселая скотина... а вот после того, как умер дру-



гой верблюд — жена его, — стал он печален и норовист... Потому что дай тебе два грузовика вместо подруги твоей живой, и ты не то запоешь...»

Солнцев усмехнулся и даже задумался пойти возчиком вместо Краснова Игнатия Евтихиановича. Но потом начал вспоминать все ласковые слова, которые он знал. Слов набежало мало: если сказать их все, а потом повторить в обратном порядке, разве что до клуба дойдешь, а к ямкам родниковым надо идти пять километров...

Старик еще раз посмотрел на стреху своей крыши — из трубы шел дым, значит, ждала его старушка с новостями. Да, за всю жизнь он не сказал ей столько ласковых слов, чтобы верблюда до ямок довести. По этому случаю Солнцев опечалился и решил отправиться в магазин. Жизнь начиналась у него новая, без моря, и дело это надобно было отметить.

Не дойдя километра до магазина, старик остановился. Он приложил к глазам руку, всмотрелся и различил, что дверь магазина не отворяется беспрестанно и вокруг не снуют посланные пацаны. Это могло означать только одно: магазин был закрыт по причине задержки утреннего катера с водкой. Конечно, можно было пойти к продавщице Самохиной Дарье Ильиничне, попросить ее открыть дверь и купить на худой случай шампанского. Это добро всегда было. Завозили его много, а пили неохотно. Но он знал: водки ничто не заменит. Водка, она общество создает, хорошее настроение создает. А шампанского выпьешь — и все беды твои с тобой.

Надо было куда-то пойти...

До вечера рукой подать, а там и клуб откроется. Говорят, кино какое-то привезли заграничное, на «М», что ли. И самодеятельность приехала с рыбозавода, из Астрахани, лягушки астраханские. Домой идти ему не хотелось: старушка у него шустрая, она уже новость про него, верно, знала. В деревне новость, как перекати-поле, — что сказали на дворе, то у всех на языке...

Старик еще раз взглянул на свой дом. Это был его дом, он его срубил.

Дом стоял высоко, на засыпанном фундаменте, недоступный пескам. Резная деревянная северюга на стрехе ворочалась под ветром... Крыльцо было тоже резное, покрытое ковриком. И когда сыны его из города приезжали, он слышал на крыльце их долгое сопение: это они свои туфли городские стаскивали, разучивались они в городе грязную обувь перед порогом снимать. Особенно сопел старший — полковник. Старшего он любил. Правда, большой загревник отрастил себе старший — двигался, видать, в городе мало. Но работник был ценный — 500 рублей у него оклад... такие деньги! Хотя как-то летом разговорились они у колодца. «Пятьсот рублей получаю, — сказал тогда сын, — а все мало, не хватает...» Пятьсот рублей не хватает! Надо же! А вот у него жизнь рыбацкая, смешная, ему хватает... А вообще в городе трудно: шаг ступил — плати, воду выпить захотел — плати.

Другой сын инженером работал на заводе.

Дети были хорошие, приезжали часто. Но от деревни отвыкли и руками работать разучились.

А старик хотя был рыбак, но байду там или бударочку срубить очень даже мог.

Солнцев все знал про дерево. «Прежде чем рубить дерево на корабель, обойди его кругом по солнцу, а потом уж руби... Тогда хорошо маневрировать твоя лодка будет. И чтоб от пня легко отскочило дерево и с шелестом пало, тогда уверен будь, не потопнет в волнах твоя лодка». Это все поверья. Но их соблюдать очень даже надо, потому что пока обходишь ствол вокруг по солнцу — глазом его щупа-

ешь; а как сухое, доброе дерево, так и от пня с охотой отскочит. Чем дикий гусь отличается от домашнего? Оба они вроде все одинаково делают — и летают оба и плавают... Только дикий все это по-настоящему исправляет. Нет, никакой городской плотник с ним не сравняется. Если взять плотницкие профессии, которые по-настоящему узнал он за жизнь свою, пальцев на руке не хватит. Мог быть и бочаром и краснодеревщиком. Да, мог он заняться рукоделом по старости лет. Но ведь это все согнувшись да согнувшись... А он моряк... Ему жизнь вольную дай. Хотя каждый труд, конечно, есть труд, только бы труд был... Да и жизнь его, можно сказать, приготовила к плотницкому делу — согнула. Хотя сейчас бери доски да шуруй. Надо будет обдумать это дело...

Он еще раз посмотрел вокруг, и что-то толкнулось у него в сердце, как-то странно он смотрел на все сегодня. Будто кто-то сгустил краски и говорил: смотри, смотри! Он увидел, как был желт песок — желтее желтого, как особенно бел на синем небз его дом — белее белого и как фиолетово-сине море — синее синего. По морю, по колену в воде, брел почталыон Бутылкин Иван Аверьянович. Он толкал перед собой лодку, груженную почтой... Иван Аверьянович забирал почту на Крайновском берегу, грузил в бударочку, а потом по мелякам отправлялся на свой остров. Но сегодня эта всегдашняя картина показалась дивной Солнцеву... «Ты смотри, идет человек посреди воды, до берега далеко. И если не знать, что меляки там, прямо Христос бредет по водам...»

Все было вокруг сегодня красиво...

Дом он свой прошел давно. И хоть двигался медленно, дошел до самого пожарного сарая. В сарай он не вошел, а присел у стены его — передохнуть. Здесь была влажная тень, пахло сырým деревом, видно, старый пожарник Кузин Степан Лукич проводил сегодня учение...

Солнцев помнил, как построили пожарный сарай... Это было в его детстве. Все, что случилось в детстве, он помнил не просто, не по названию, а явственно, будто картинки показывали... И в снах это снилось часто.

С тех пор прошло много лет, пожаров на островах не случилось, но пожарный сарай стоял, и машина пожарная была, и должность пожарников была тоже...

Раз в неделю старший пожарник Кузин звал колхозного шофера Опанасенко Василия, и тот вывозил за ворота пожарную машину. За воротами Кузин поливал машину из шланга, а потом шел в сарай надевать пожарную каску. Сбегались ребятишки, машина сверкала, и Кузин, светясь на солнце своей пожарной каской, читал наизусть противопожарные плакаты. После чего Опанасенко Василий закатывал машину обратно, а Кузин шел проверять клуб в противоположном отношении.

С Кузиным Солнцев был знаком 78 лет своей жизни, потому что Кузин был его на два года моложе...

Тридцать лет назад ходили они в море на одной фелюге. Солнцев — «звеновым», а Кузин — рыбаком. И вышла тогда между ними «трениция». Поймали они северюгу, очень большую, метра два была рыба. Когда вернулись на остров, Солнцев велел отдать рыбу вдовам. Так положено было: проходя мимо вдовьих домов, самую большую рыбу оставляли у калитки. А Кузин не послушал, к себе ее потащил. «Я, — говорит, — из сетей выдернул, моя и есть...» Хотел перед старухой своей хвастануть, а Солнцев велел ему во второй раз: «Положь рыбу!» А тот будто не слышит: северюгу в мешок, мешок на плечо.

Тогда Солнцев подошел и дал ему по уху. Кузин рыбу сразу оставил и в сельсовет пошел — акт составлять: по уху дали с повреждением здоровья.

Солнцев узнал о том и испугался: время было строгое, того и гляди засудят за хулиганство. И старуха его испугалась.

Взял Солнцев тогда четверть вина и пошел к братьям Кузина: «Мирите нас, люди добрые». Братья вино выпили и мирить согласились.

Взял Солнцев еще четверть вина и отправился с братьями в кузинский дом. Кузин уже знал, в чем дело: сидит, на столе закуска, поджидает.

Выпили четверть. Солнцев попросил Кузина о прощении. А кузинская старуха, стерва баба, начала Кузина подговаривать: «Не прощай его, и все тут. Твое право и сила!»

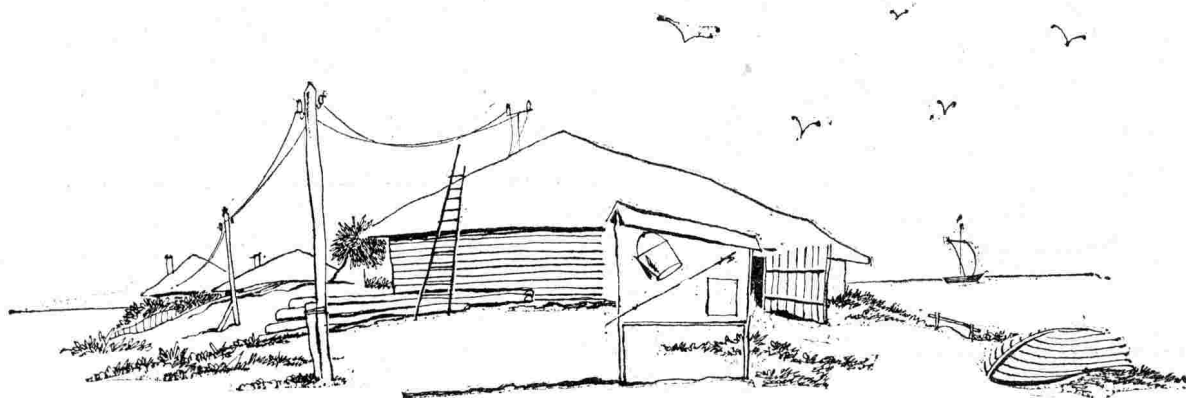
Кузин не простил. Тогда Солнцев вздохнул, пошел домой и еще принес четверть вина. И это выпили. Снова просил прощения Солнцев, а Кузин сказал:

был на должности младшего пожарника. Солнцев знал, как это случилось.

Осенью пошел Василий Тихоныч в море — на южную сторону, за Сулак. Ну, а рыбак в своем районе — царь, а в чужом — молчи да слушай... Ему говорят: «Зачем идешь за Сулак, там камни». А он: «Какие там камни! Камни старые, а фелюга новая». Ну и трахнул судно. За то у него Левицкий из порта диплом отнял, и на год сделали Мочалова младшим пожарником. Работа эта бездельная, неденежная, и потому назначали на нее людей опальных, с большими бедами людей.

Делать в пожарке нечего, и опальные обычно пели песни под баян и рассказывали Кузину о своих несчастьях. А Кузин совсем оглох в последнее время и услышать их рассказов не мог, но, чтоб поддерживать беседу, он вздыхать научился.

Как замолчит опальный, так Кузин вздыхает тотчас — сочувствует. А человеку в беде много ли надо, и полюбили опальные беседовать с Кузиным. Кузин



— Прощу тебя, звеновой, только дай мне сто пятьдесят рублей.

Видно, старуха его подговорила.

— Побойся бога, — сказал Солнцев, — я тебе лучше еще четверть поставлю.

А Кузин упер руки в боки и сказал:

— Сто пятьдесят рублей, аль в тюрьму тебя сырую упеку. Дашь аль нет?

— Дам! — сказал Солнцев и влепил ему еще раз по уху за такое бесстыдство.

А потом в сельсовет пошел и сам о поступке своем объявил.

Ну, в сельсовете подумали и акт кузинский разорвали.

Кузин это дело скоро забыл и здоровался с Солнцевым, будто по уху не получал. Легкий был человек: ни обидеться не мог по-настоящему, ни нанести обиды. Так и прожил свою жизнь.

Лет семь назад он сам ушел с фелюги и в пожарники устроился.

...В сарай Солнцеву заходить не хотелось: он не любил Кузина. А главное, не хотелось ему объявляться в новом своем положении.

Солнцев скрутил сигаретку, задымил.

Из сарая доносились голоса. Разговаривали оживленно. Видать, «приняли» по случаю пожарного смотра. Особенно кричал старик Кузин, который сильно оглох в последнее время.

Разговаривал с Кузиным родственник Солнцева — капитан Мочалов Василий Тихоныч. Мочалов теперь

хвалился как-то Солнцеву: «Вот у петуха в кости — петь... А у меня в кости есть дар дыхательный, дар слезный».

И сейчас текла беседа.

«В порту служит, шляпу носит, — говорил Вася Мочалов. Солнцев понял, что говорил он о Левицком. Видно, «принял» немало и потому был грозен. — Голову отвертеть Левицкому мало, а шляпу мы сами сможем носить». — Мочалов перебрал лады баяна и замолчал.

Старик Кузин понял, что настала его очередь...

Солнцев услышал, как вобрал он в себя воздух и сказал с проникновенностью:

— Эх, жизнь людская... человеческая! Родились по собственному желанию, умрем по сокращению штатов.

Вася опять перебрал лады баяна и сказал:

— Самодеятельность приехала... Кино новое привезли. Говорят, заграничное...

Кузин снова вобрал в себя воздух и сказал:

— На дне окянском, за семью печатями, за семью морями, вот она где, справедливость.

Солнцев усмехнулся и пошел прочь от сарая.

Глупый старик развеселил его. Ему захотелось домой, к старухе: волновалась старуха, наверное...

Интересно, думал он, медленно идя к дому. С рождения знал он и Мочалова и Кузина, и всегда они были такие же... Один легкий, как пух, пустой и веселый... Другой горячий, азартный, в себя верил, рискнуть любил, да тоже без ума особого... Видать,



меняется только умом человек. А характер на всю жизнь дан. А у этих ума не было... И потому каков в колыбельке, таков и в могилке.

Дома он молча поел. Старуха его ни о чем не спрашивала.

Жили они давно, и старуха знала, когда не нужно его спрашивать.

Старуха сидела в углу и расчланивала старую сеть: распускала узлы и выдергивала нитки. Эти нитки она потом красила и делала из них коврики. Коврики лежали повсюду: на тумбочке, на кровати и на полу. У других «севриз» в комнате стояли, а они «севриз» не покупали, они детей учили... Вот и украшала старушка избу ковриками.

Со старушкой они жили хорошо. Была она ласковая, тихая. И говорила ласково: «Лодочка, ветрочек, старичок, детушки...»

Уж она бы верблюда до Москвы довела. Была она вся седенькая, лицо без морщинок. И зубы у нее все были. Это на острове было редкостью: здесь витамина какого-то не было, и падали у людей зубы рано... А старуха его «зубастая» осталась... И когда смеялась, снова молодой становилась, девочкой.

С моря она всегда ждала его на крыше... Влезет по лестнице на крышу, встанет и старика своего в море выглядывает... Как фелюга его покажется, старуха тотчас вниз спускалась, самовар ставить.

Он всегда говорил себе, особенно, когда рыбнадзором работал: «Мне погибать никак нельзя... А то ведь старуху с крыши силком не стащишь... так все стоять флюгером будет, людей пугать».

После обеда старик лег спать.

Он лежал на лавке и смотрел на фотографии детей... Детей было четверо: двое живых висели с одной стороны койки, а двое мертвых — с другой: сын,

в войну погибший, и дочь... Ее в относ унесло прошлой весной.

Дочь свою он любил. Дочь была красавица. Учительницей работала. Сам старик был неученый и потому учителей уважал исключительно. Ведь чтобы этих мальцов учить, два сердца нужно: ты ему «А» объясняешь, а он тебе «Б» повторяет.

Дочь погибла в феврале, когда он ходил бить тюленя под Гурьев. Ушла дочь по льду на тот берег. Хотя запрещал он ей это делать. А тут вдруг поднялся южный ветер, и вмиг пошел лед, — у меляков лед теснился. Все грохотало, ломалось. К утру лед «зажрался», остановился. А дочка не вернулась.

Старик засыпал. Он погружался в какую-то дурную дремоту. Что-то слева болело и ломало его. Он сам слышал свой натужный храп и вдруг вскопчил на лежанке, дико озираясь и судорожно вздрагивая. Потом снова улегся. И уже не спал. Сколько он так дремал; он не знал... Старушки его не было. Видно, пошла белье полоскать.

Солнцев лежал и думал:

«Выбегает море весной, а зимой отдыхать ложится... И отдает море, что взяло, на отмель выносит... Это закон его».

Море выбрасывало утопленников вечерним прибоем на пустынные дальние отмели. И они лежали там, под стынущим вечерним небом, вместе с досками разбитых лодок, бревнами сплавного леса и чересчур игривыми мертвыми тюленями, запутавшимися в сетях. И так же белели их тела под вечерним небом, как доски, бревна и мертвые тюлени.

Каждое воскресенье брал старик в колхозе грузовик и объезжал остров по кругу, высматривая свою дочь. Шофером на грузовике был Опанасенко Василий. Ваську должны были забирать осенью в армию.

И он нетерпеливо дожидался этого, чтобы, как другие, уехать с острова и не вернуться.

Двигались они с Васькой медленно вдоль берега по укатанной дороге, и старик все высматривал в окно, закрывшись рукою от солнца.

Потом подъезжали к камышам. Здесь около каждого озерца Васька останавливал машину и с тоской глядел на уток, хлопотавших над камышами... Потом запрокидывал голову и кричал с какой-то тоской:

— Летят ласточки да утки! Батюшки-матушки, эх жаль, я свою «Катюшу» дома оставил! — И дико глядел на старика. — Эх, чтоб им охоту распредить! Ведь сколько их летает, разве можно урон им нанести!

Солнцев смотрел в его бешеный глаз и знал, что Васькина «Катюша» лежит в кузове, прикрытая соломой, и дожидался Васька только одобрительного его слова. Малый был молод, и жажда охоты и крови ходила в его жилах. Он не мог понять, что шум крыльев над озерцами и все эти беззащитные заботы есть святое, есть тайное матерей, ставивших на крыло своих детей... И старик не мог ему объяснить. Потому, чтобы понять это, надо иметь своих детей и потерять их, не привести господи!

Солнцев молчал. Малый в сердцах сдирал волос со лба, рвал на себя руль. И они летели мимо старого камыша с клоками седых махалок, мимо бурой травы с мягкими розовыми цветами. И вдруг сбоку, с разворота вырывалось море... Стеклом светилась песчаная отмель. И что-то странное, белое лежало в конце ее у самой воды.

Васька останавливал машину, вынимал бинокль и испуганно глядел на это белое. Васька боялся мертвых. А Солнцев выходил из машины и тоже смотрел. Он прикрывал глаз ладонью, свыкал его со слепящим светом и постепенно начинал различать на отделившейся белой туше и коричневую шерсть на ней...

— Тюлень, — говорил он Ваське. Потом они возвращались обратно. Заходили в магазин, покупали скляночку.

Старик был весел: хоть он и не признался бы в этом никому и даже себе, но где-то в глубине души он верил, что его дочка жива и просто случилось с ней что-то совсем чудесное. И скоро она вернется, и все только ахнут, и все разъяснится.

Без десяти семь старик вышел из дому, пошел в клуб. Старушка идти не захотела и легла спать.

Когда Солнцев выходил из дому, она уже спала. Он надел на крыльце валенки, но потом снял их и почему-то вернулся в дом. Он так и не понял, почему он это сделал. Он подошел к лавке, где спала старушка, включил лампу и посмотрел на старушку. И опять весь содрогнулся от ласковости и нежности. Он сморгал из носа, и в горле у него сдвинуло, и глаза стали влажными.

Потом он повернулся, загасил лампу и вышел.

На улице день ушел. Было семь... Маячный смотритель Баламутенко Николай Павлович поднялся сейчас по лестнице маяка — зажигать огонь.

И действительно, только Солнцев подумал это, маяк загорелся.

«А сейчас Баламутенко Николай Павлович вышел на верхнюю площадку маяка и смотрит оттуда на остров и море...»

Эта площадка была окружена тонкой сеткой, чтобы птицы не летели на свет и не били стекло.

Но птицы летели. И маячный все удивлялся их глупости: «Сетку ставим, а все летят... и бьются грудью в кровь».

Так и дочь старика... Вот любила она парня с берега. Женатый был, хромой, а вот любила. Ей гово-

рили: не люби, а она любила. И к нему она шла той ночью, когда лед пошел и в относ. эе унесло...

Той же весной маячный Баламутенко как-то принес в клуб показать птицу: птица была большая, она пробила сетку и упала на площадку у самого стекла... Маячный бросил птицу у самого входа. А старик подобрал. И долго рассматривал ее окровавленную грудь, а потом отнес на берег и закопал...

В клубе шли танцы. Прежний учитель Абдулабэкз Ибрагим Хасанович, который сбежал с острова обратно в Махачкалу, оставил в клубе свои пластинки. Пластинки были самые новые, громкие, «с криками», и танцевать под них полюбили.

Каждый танцевал что умел: кто полечку, кто вальс, кто танго. Сегодня в клубе было шумно: в бухту вошла флотилия Гослова. Ребята с Гослова, совсем молодые, узкобрючные, пришли в клуб и принесли с собой на плечах подвыпивших товарищей. — Пусть тоже посмотрят кино... Товарищи смиренно лежали у стены, и когда в клуб входил кто-то новый, его обязательно просили: «Не наступи!»

В центре зала, посреди танцующих, стоял фибровый стол. За столом играли в домино. Солнцеву сразу освободили место, но он отказался, пошел в зал.

А в зале уже сидели женщины. Около каждой лежала капитанская фуражка — мужнино место.

Между собой они вели беседу. В голос кричать друг другу считалось неприличным, так что беседовали они через детей:

— А ну, бежи к крестной, спроси, где тетя Шура?

— Тетя Лиза, — кричал детский голос, надрываая в усердии, — маманя спрашивает, где тетя Шура?

Когда старик вошел, все его заметили. Это он понял по тому, как все сделали вид, что не заметили его, и по тому, как захихикали девушки. Они всегда хихикают, когда в чем-нибудь притворяются.

— Маманя, — кричал на все кино малец, — тетя Лиза сказала, что тетя Шура белье развешивает и сейчас придет!

Концерт начался. Сначала на сцене пели песню «Перекуем мечи мы на орала». Слушали внимательно, только ребятам было скучно сидеть на одном месте, и они носились по залу, ловили сачками одуревших ночных бабочек. А девчонки, те на сцену полезли, чтобы к артистам быть поближе. Особенно старику понравилась «Яблочко» — матросский танец, «Баллада о Севастополе» (ее под баян исполнили очень хорошо) и драматические сцены про прежнюю жизнь — про купцов. Купцов старик помнил и любил, когда про них показывают. Показывали правдиво, и он кивал при каждом слове, одобрял.

После концерта перерыва не делали (самодеятельность должна была к ночи тронуться обратно в Астахану) и показали фильм.

Фильм был короткий, и заграничной жизни в нем было мало, а все один старичок, который за рыбой отправился, с этой рыбой разговаривал... Видеть все это Солнцеву было неинтересно — «море, оно всегда море... а рыба, она, известно, дура, и что с ней разговаривать. Разговаривать можно с собакой или с кошкой. А рыба, она глупая, тракт себе возьмет и прет. Если бы умная была, не жрала бы крючки одна за одной. Нет, умная рыба только кефаль. Кефаль, он и через сеть перепрыгнуть может. Только кефаль — большой трус. Он с испуга разрыв сердца очень легко может иметь».

Но одно понравилось Солнцеву очень — это про мальчика, с которым дружил старик в фильме.

Когда Солнцев вышел на улицу, ночь снова охватила его. Постепенно все дневные мысли уходили от него. Он смотрел на маяк.

Маяк вспыхивал и гас. «Красно-желтая вспышка с интервалом в две с половиной минуты» — так было написано в лоции про этот маяк. Но это Солнцев знал днем. А сейчас только видел вспыхивающий и гаснущий свет. Свет слепил его, как тех птиц, которые бились о стекло.

Солнцев шел к морю.

Когда-то в его детстве море плескалось у окон домов и прибой подходил к заборам.

Потом море ушло, и, чтобы теперь дойти до него, нужно было пересечь густую, растрескавшуюся землю. И каждый раз, возвращаясь по этой земле домой и неся с собой тяжелую сбрую — багор и сети, — он клял море за то, что оно ушло, за то, что оставило ему никчемную землю, по которой так тяжело ступать уставшим ногам.

И только сейчас, ночью, идя зачем-то к морю, он понял смысл и силу этой гиблой земли. Это была равнина раздумий. Это было дано морем, чтобы раздумать перед тем, как уйти в него и вернуться с моря в свой дом. И длинные тени с баграми на плечах — тени тогдашних его товарищей — все это шло рядом по этой равнине и создавало в трудной ходьбе братство отправлявшихся и возвращавшихся... Море отдало им свое дно, чтобы спастись им...

Сколько спешных, азартных решений отменила эта равнина. Как все хорошо, как все совершенно устроено... Он не знал этого раньше, а теперь знал.

Маяк мигал... Прошло две с половиной минуты. Ушло две с половиной минуты...

Он стал еще старше на две с половиной минуты... Что такое старше?... Зачем считать?... Раньше он думал, что вся беда в счете годов. Он всегда клял тот заведенный от века порядок, при котором вели люди свой страшный счет. К чему? Зачем? Ведь если бы не знал он, что ему шестьдесят, разве мог он, черноволосяый, сильный, думать о старости, о смерти своей?..

Потом он понял, что старость — это облегчение.

В деревне рано величают дедом. Если тебе шестой десяток — готов дед. А ты, который откликаешься на «деда», сам-то хитришь и думаешь: «Зовите, милки, меня дедом, с деда-то и спрос невелик, а сам-то я знаю, что силен, и мне сам черт под силу, и я все могу... А вы-то не знаете, ведь для вас я дед. Старый да малый — одно и то же... Дети притворяются несмышленими, а старые — стариками...»

Теперь, когда его согнуло, он знал, что все не так. Старость — это испытание. Старость — это возрастить в себе душу...

«От века в нас заложена душа... Мы стареем, она нет... Оттого человек всегда чувствует внутри себя дитя. Но душу эту можно возрастить. И тогда не страшно тебе согнуться. Потому что есть в тебе, с кем беседовать под старость, и кто скажет — знаю и ведаю...»

Он ведал. Он ведал то, что ведают все старики на его острове. Он ведал про небо, рыбу и море... Он знал, если ночь темна и в небесах наволочно, когда и какой случится ветер.

Он знал, как шли глубины вокруг острова и на сколько сажений. Он слышал далеко плеск рыбы, когда ветер сбивал ее с тракта и совал в залив, рядом с островом.

Он знал, когда и где кладет рыба свой «анализ», то есть мечет икру, и куда идет она потом гулять.

Он знал, что делать, когда блудит компас и когда уходит с неба последняя звезда-зарница.

И еще ведал он что-то, что понял только сегодня и что никак не мог выразить.

Он подумал, как хорошо было тому старику в заграничном фильме — у него был мальчик.

Взрослые люди заняты. Когда он был взрослым, он часто бывал занят, и если бы какой-нибудь дед вздумал болтать свои байки, он бы прогнал его. А у детей есть время слушать, а ему надо рассказать то, что он ведает... Жаль, что дети выросли. В детстве да в старости жизнь похожа... Когда ты ребенок, у тебя и работа и забава — одна жизнь... Потом вырастаешь, и отделяется работа от забавы, разделяется и жизнь. А в старости — снова соединяется.

Он вышел на берег.

Ветер упал, потонул ветер. Море лежало неподвижно, и дорожка луны на воде не беспокоилась, не мерцала, а стыла голубым огнем...

В бухте, прямо на палубах фелюг, раскинув руки, спали рыбаки. Жирно блестя намазанные лица — мазь от комаров, а то сожрет их ночью комар.

Тяжко ступая по доскам, кто-то пробирался с фелюжки на фелюжку, сразу матюкаясь и хваля кого-то.

— Разговорился... Разговорился, — сказали в стороне, за камнями.

Солнцев увидел, как прочеркнула темноту отброшенная сигаретка. Потом услышал смех и приглушенный счастливый женский голос:

— У, медведь! Руки-то шершавые... как терки...

— Да, после наших рук хоть ежа за пазуху суй...

Солнцев улыбнулся. Он не ругал их и не сетовал на их бесстыдство, как раньше. В душе его настал ровный покой и радость. Он, видно, стал достаточно стар, и душа его уже принимала счастье чужого поцелуя. И он желал им добра.

...Где-то хлопнуло и раздался треск мотора. Это пробовали мотор на катере, который должен был отвозить самодеятельность.

Потом мужской голос сказал резко в тишине:

— Эй, бежи, скажи лягушкам астраханским, чтобы портки свои быстро натягивали... Я их всю ночь ждать не охотник.

И по песку побежала удаляющаяся детская фигурка. Это Федор Опанасенко, брат Васьки, послал мальчонку своего.

Маяк мигал.

И вдруг старику пришла в голову совсем странная, совсем ночная мысль. Он садится на катер, едет в Астрахань, приезжает туда к утру и берет там мальчика в детдоме на усыновление, а назавтра возвращается с ним обратно к старухе...

Мысль эта удивила его своей ладностью.

Он сообразил, что пока самодеятельность «портки натянет», он успеет дойти домой и собраться.

Но потом он лодумал: «А чего собираться? Документ при мне — зашит в телогрейку, и деньги есть, только вот старухе объяснить. Да ей ведь все равно не объяснишь. Нет, если время есть, лучше уж подойти в больницу, там сегодня фельдшер Кулеш дежурит, он человек знающий, клязузный, он и заявление нужное составит на мальчика...»

...Фельдшер Кулеш несколько не удивился просьбе старика. Будто он затем и дежурил в больнице, чтобы о мальчиках заявления писать...

Фельдшер Кулеш сразу сказал, что с этим делом надо Солнцеву пойти в газету. Адрес газеты он знал, потому что часто туда писал...

Фельдшер Кулеш вынул лист бумаги, поставил для солидности штампель больницы, глаза его сверкнули, и он начал писать. Сначала он написал, что товарищ Солнцев — герой труда, и старый рыбак, и ударник коммунистического труда, а ныне пенсионер, хочет усыновить мальчика для передачи ему (мальчику) своего опыта, так как опыта у товарища Солнцева очень много, а что с ним делать на старости...

сти лет — не солить же его... Кроме того, он просил обратить внимание редакции на следующие недостатки, подмеченные за истекшую неделю:

«Во-первых, во время своей поездки на Крайновский берег видел, как в гости к директору рыбзавода номер двенадцать приехал брат-фокусник, который за данное им представление был накормлен государственной рыбой. Во-вторых, сын главного инженера Ибрагимов развезжал на государственной машине. Номера не запомнил по причине потери очков, а дети, которые были при этом, убежали».

В заключение фельдшер Кулеш поставил еще одну печать и расписался.

На вопрос капитана Опанасенко, зачем ему в город, Солнцев не ответил, а только усмехнулся и прошел на катер.

Мальцу Опанасенко велели бежать к бабانه Солнцевой и сказать, чтобы дедушку сегодня не ждала, а ждала с самоваром завтра к вечеру.

Вместе с Солнцевым на катер сели портной, который приезжал на остров с Кизлярского комбината бытового обслуживания брать заказы, и участники художественной самодеятельности.

Участники как зашли на катер, сразу улеглись на снастях — так сморила их самодеятельность. Круглые коробки с кино поставили на корме около Солнцева, и он увидел в этом добрый знак. Он смотрел на коробки и все улыбался. Он знал, что в кармане у него лежит письмо и скоро будет у него такой же исключительный мальчик...

Опанасенко долго возился с якорем и все бурчал: — Механизация! Раза дернул — вся спина мокрая! Наконец катер затархтел и начал путь свой в ночь.

Ветер снова занялся, и с силой во тьме ходило море. А небо было звездное, южное. Все звезды, какие есть на небе, вышли поглядеться с землей. Они мерцали, лучились и торчали дальними тусклыми, холодными точками и просто звездной пылью.

Но старик знал, что с каждой минутой они теряли свой блеск и красоту свою и покидали небо. Подходили рассветные часы.

Портной из Кизляра, которому не спалось по причине немолодого возраста и морской болезни, вышел на корму побеседовать. Ему сказали, что надо все время двигать ртом, тогда болезнь переносить будет полегче.

— ...В детстве, — сказал портной старику Солнцеву, а может быть, просто вслух, чтобы двигать ртом, — я читал много книжек. Я был тихим мальчиком и мечтал об островах. Потом пошли дети, и мне пришлось стать портным. Колыбель — это якорь. — Портной уже чувствовал, как ходит внизу море и падает с волны на волну суденышко, и голова его медленно пошла вращаться вокруг туловища, и оттого он говорил все быстрее: — Так нет... теперь, когда я стал стар, мне поручили обслуживать острова... А у меня морская болезнь... Смешно... Смешно, — повторил он и засмеялся своим древним саркастическим смехом, усиленно двигая челюстями. — Смешно... В моей жизни появились корабли...

Кораблик плясал на волнах, и голова портного уже винтом отделялась от туловища, и кишки хотели выйти через рот. Но он заставлял себя говорить. Он был без очков и смутно различал что-то темное, жуткое, надвигавшееся с близкого берега справа.

— Что это, что это? — крикнул он хрипло.

— Это списанные корабли, папаша! — заорал Опанасенко из рубки. — Списанные, туды-растуды... Вертит сегодня!

Качало сильно. И старик Солнцев вдруг почувствовал, что у него заныла левая рука. Он хотел поднять ее, подумал, что держит неловко, но вмиг что-то тяжелое влилось сразу во всю его левую сторону.

Он сел на снасть и прислонился к борту. Рядом сидел портной, спиной к нему.

...В меркнувшей тьме, в наступавшем рассвете, мимо катера проплывали вытасченные на берег старые корабли. Одни лежали, громоздясь, вздувшимися бортами, другие стояли, облокотясь друг на друга... И мачты их четко выделялись на светящемся небе, склоненные, и перекрещенные, и одинокие, смотрящие азартно в небо. Во тьме под кораблями не было видно земли. И казалось, что случилась морская битва: сшиблись корабли — одни дали крен, другие уже тонут, а третьи плывут победителями.

Лежать старику стало легче.

Боль в боку слева отошла. Но рука все болела.

Сквозь стрекотание мотора катера вдруг стал различим тонкий, дрожащий звук. Это было вроде то же стрекотание мотора, только далекое, отдельное, будто его эхо.

— Что это? Что это? — сказал портной еле слышно, уже не оборачиваясь и сдавая жуткому кружению головы. Его рвало.

— Корабли, папаша. Их корпуса резонируют звук нашего мотора. Хорошая обшивка, руками вся сделана. Такую хоть завтра на все моря и океаны! — проорал Опанасенко.

— Резонируют, — шептал портной, лежа рядом со стариком. — Они просто грустят... Корабль должен плавать в море, а больной человек жить на бэрегу. Все иначе...

Старик лежал на снастях и смотрел перед собой.

Правой рукой он ощупал письмо: нет, не вывалилось при падении.

Качать стало меньше, и боль слева начала отпускать. Она перешла в нечто тихое, сладкое, ноющее. И наступающий утренний мир снова стал различим для него.

Он видел рассвет...

Бабочка слетела с рубки и ударила ему в лицо.

Огни фелюг в море уже не светились, а холодно догорали, и на небе отходила последняя звезда-зарница...

Внизу в море проскочили искры, и румянец закачался в волнах.

А там, в дали неба, где сливалось оно с морем, где в детстве был край его, радостно дымился и сгорал, оседая, неясный свет... А за ним уже кипел пожар. Длинное облако повыше приняло невидимые еще лучи, побагровело и обратилось в жар-птицу. Всюду вокруг дрожал красный отблеск. Все предметы стали отчетливы... Все сдвинулось, заходило. Краски падали, умирали, обновлялись. И с неосуществимой быстротой оттуда, из-за моря, вставал пламенный шар. Он поднимался вверх из-за облака. Вот уже показалось его тень, вот уже поднялся крестец. Вот уже он оторвался и пошел гулять над горизонтом. Шар стал жарок и светел и был теперь солнцем.

Старик лежал на снастях.

Как хорошо!.. Как исключительно хорошо, что прошла его боль, что увидел он мир совершенным, и краски его, и воздух его, и силу его!..

Он понял, он понял...

Встало солнце...



**Олег
Дмитриев**

Детство

Эти летние деньки
Выплыли из полумрака.
Смотрит дед из-под руки.
Рядом — черная собака.
Всюду ласка да любовь.
Пенки. Молоко парное.
Изобилие грибов
Перед будущей войною.
Со стола сигает кот
В палисадник заоконный.
Редко-редко промелькнет
Кто-то пеший или конный.
В небе тучки не видать.
Пахнет ягодой лесною.
Всюду тишь да благодать
Перед будущей войною.
Визготня и беготня
В рыжих лужах по колено.
Добродушная родня.
Остропахнувшее сено.
Все пекутся обо мне.
Все приветливы со мною.
Нет и мысли о войне
Перед будущей войною.
Бледный мальчик из Москвы,
Исхудавший от болезней,
В царство солнца и травы
Выбегает с громкой песней,
С белой булкой привозной,
С деревянным пистолетом —
Перед будущей войной,
Перед следующим летом.
Перед будущей войной,
Перед дальнею дорогой,
Перед памятью больной,
Перед смертною тревогой...
Перед будущей войной,
Мальчик, говори со мною,
Мальчик, говори со мной
Перед будущей войною...

Доброта

Никто не видел, как ты плачешь,
Ты и мила и весела,
Да только от людей не спрячешь
Того, что ты пережила.
Мы все узнать не преминули
Еще с военной той поры:
Лишь те, кто горюшка хлебнули,
Так неожиданно добры!
И мне не надо точных знаний
О временах твоей тоски —

Над омутом воспоминаний
Такие шаткие мостки...
Зачем ты снова над водою,
Которая черна и зла,
Над кратким счастьем, над бедою
По хлипким досочкам прошла!
Но снова день забыт вчерашний,
Смеешься ты, легко дыша,—
Но видно, как из бездны страшной
Высвобождается душа:
Едва заметное усилье,
Как при раскрытии листа,
Когда разворачивает крылья
Чуть-чуть не сразу доброта...

Воскресенье

Ты выходишь из города, как из больницы,
И, шатаясь, у леса стоишь.
Ты почти всю неделю сквозь окна-бойницы
Видел взлет и падение крыш.
Ты прохладное дерево гладишь руками —
Дрогнет ветвь с прошлогодним листком.
Получал ты весеннее небо кусками,
Так теперь получай целиком!
Выздоровливай, милый! С особую силой
Лупит солнце по бледным щекам.
Удивляйся — какой перелесок красивый,
Удивляйся другим пустякам!
Забирай же в объятия огромное небо,
А потом хочешь плачь, хочешь пой!
Брошен бинт заскорузлый последнего снега
По оврагу за темной тропой.
Но уже вечереет, и, значит, обратно
Беглецу возвращаться пора
В неприветливый город, где небо
квадратно,
Если еверх посмотреть из двора.
Ощутить, как он дышит тепло и неровно
В кутерьме разноцветных огней,
И любить его нежно и преданно, словно
Вы не виделись тысячу дней...
Ты потом от вокзала шагаешь устало,
Светофоры горят, как угли.
Под ногами сплетенье камней и металла,
Как сплетенье корней и земли.
Только здесь все сомненья твои разрешимы.
Вот шаги убыстряются. Дом.
Как спокойно на родине!
Шепчутся шины,
И трамваи звенят за углом...

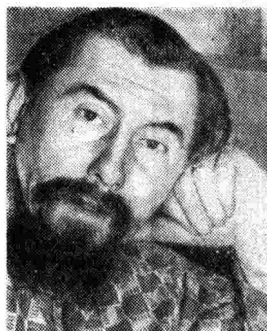
Двор

Двор равен миру, двор, как мир, громаден!
...Я шел домой, уставший от него,
А из того, что приключилось за день,
Валясь в постель, не помнил ничего.
В вечерней тьме сияя этажами,
Друг против друга жили корпуса,—
Как будто гладь речная отражала
В квадратных ярких звездах небеса.
Вот здесь я постигал души устройство
И времени неуловимый ход.
Здесь встретил я коварство и геройство,
Добро и зло, бесчестье и почет,
Прикосновенья нежности и злобы,
Презрение и ласку голосов...
Двор не боялся из своей утробы
Нас выпускать на несколько часов.
Из книжных странствий, из экранной дали,

Из школьных классов в теплом сентябре
 Мы, возвращаясь, снова припадали
 К его камням в безделье иль в игре.
 Деор сплетничал, работал, бил баклуши,
 Чудил, мирился, ссорился, спасал —
 В открытые мальчишеские души
 Он семена за горстью горсть бросал.
 Двор улыбался или покаянно
 Молчал в коротком приступе тоски,
 Когда всходили поздно или рано
 Колючие и добрые ростки.
 ...Я слушал коммунальную квартиру.
 Парадной дверью вечер грохотал.
 Сказали б мне тогда: «Дом равен миру!» —
 И я б, как сумасшедший, хохотал!
 Я хохотал бы! — Только без укора
 Смотрели б сотни окон потому,
 Что в этом мне, юнцу, довольно скоро
 Придется убедиться самому,
 Я хохотал бы — зная, есть другая,
 Иная жизнь! Планета велика!
 Молчал бы двор, спокойно полагая,
 Что спорить не резон наверняка.
 ...Когда в свой срок я вышел в мир
 огромный
 И едоволь помотался по стране,
 То столичный град и уголок укомный
 До доньшка понятны были мне —
 Двор равен миру! А взглянуть пошире —
 То, осознав себя перед войной,
 Я сразу начал жить в огромном мире,
 Которым был тогда мой двор родной!

☆

О, мгновенья тягучие эти!
 В жизни каждый хоть раз перенес
 Сон, ушедший на сером рассвете,
 И раздумья о жизни всерьез.
 И когда, потрясен и измучен,
 Ты встаешь, озираясь вокруг,
 То какой-нибудь каверзный случай
 Из забвенья рождается вдруг:
 Может, сам унижаешь кого-то
 Иль тебя унижает другой,—
 Так реален, что жить неохота,
 Давний час в своей правде нагой!
 Но зачем все, что так неприятно
 Вспоминать — выше всяческих сил! —
 Наша память выносит обратно,
 Слово шторм — взбаламученный ил!
 Почему на рассвете при свете,
 Затаенном в проеме окна,
 Тащат нервов широкие сети
 Что-то липкое с самого дна!
 Если это — души очищенные,
 То, наверное, легче всего
 За старинные вины прощенья
 Испросить у себя самого.
 Но другое тебя ожидает:
 То, что было со дна взметено,
 Покружась наверху, оседает
 И ложится, как прежде, на дно.
 Одевайся, иди на работу,
 Будь с друзьями, трудись дотемна,
 А потом ощути сквозь дремоту,
 Что душа беспокойно-ясна,
 Словно на год она повзрослела!
 А казалось бы — так, пронесло,
 А казалось бы — плевое дело
 Вспомнить то, что быльем поросло...



Николай
Глазков

Моим друзьям

В силу установленных привычек
 Я играю сыгранную роль:
 Прометей — изобретатель спичек,
 А отнюдь не спичечный король.
 Прометей не генерал, а гений,
 Но к фортунам и иным дарам
 По дороге, признанной и древней,
 Мы идем, взбираясь по горам.
 Если даже есть стезя иная,
 О фортунам и иных дарах
 То и дело нам напоминает
 Кошелек, набитый, как дурак!..
 У него в руках искусства залежь,
 Радость жизни, вечная весна,
 А восторжествует новизна лишь,
 Неосознанная новизна.
 Славен, кто выламывает двери
 И сквозь них врывается в миры,
 Кто силен, умен и откровенен,
 Любит труд, природу и пиры.
 А не тот, кто жизнь ведет монаха,
 У кого одна и та же лень...
 Тяжела ты, шапка Мономаха,
 Без тебя, однако, тяжелей!..

Дорога далека

Я сам себе корезу жизнь,
 Валяя дурака.
 От моря лжи до поля ржи
 Дорога далека.
 Вся жизнь моя такое что!
 В какой тупик зашла!
 Она не то, не то, не то,
 Чем быть должна!
 Жаль дней, которые минут,
 Бесследьем разозля,
 И гибнут тысячи минут
 Который раз зазря.
 Но хорошо, что солнце жжет,
 А стих предельно сжат,
 И хорошо, что колос желт
 Накануне жатв.
 А телеграфные столбы
 Идут куда-то вдаль.
 Прошедшее жалеть стал бы,
 Да прошлого не жаль.
 Я к цели не пришел еще,
 Идти надо века.
 Дорога — это хорошо,
 Дорога далека!



Юрий Черниченко



НЕБЕСНАЯ ГЛИНА

I.

Получили телеграмму от Шурика: «Кефаль пошла, высылайте младшего деверя». Алешка запрыгал: восьмилетка уже за холмом, да здравствует кефаль и творческий труд! Через день я отвез его в Домодедово.

Шурик дальняя родня; всех нас, чтоб не путаться, он зовет деверями; деверем считаем его и мы. Он все умеет; до его приезда откладывается и починка проигрывателя, и склейка разбитого моржового клыка, и выбор лыж. Работает он механиком рыбозавода, но обязанности его, как можно понять, в основном сводятся к добычанию всякой металлической всячины для сейнеров, холодильных камер и коптилен.

В день его приезда на кухне возникает гора банок с килькой, бычками и керченской сельдью, венчает ее канистра сухого вина. По мере того как выбиваются наряды на компрессоры и втулки-вкладыши, гора тает, и приходит наконец вечер, когда Шурик открывает последнюю банку килек пряного посола, достает заветный «галаган» — вяленую икру кефали, сливает в графин остатки рислинга, и мы можем не торопясь поспорить, в какой последовательности надо класть молодую фасоль, «синенькие» и болгарский перец в крымский «совус» и когда — в апреле или в мае — выползают на гальку у мыса Меганом икра-краснобай.

— Шурик, ты взятокдатель. Учти, передач тебе не будет.

— А ты давай реально. Ладно, потеряет завод ту паршивую банку. Зато сто тонн хамсы сейнеры не вывалят в море. Что я, себе тот компрессор беру? Да он мне сто лет не нужен. К рукам у меня не липнет, это начальство знает. А дефицитка, она е-сть, достают мне ее не с границы с Турцией или Пакистаном, — просто на базах. Но за красивые глаза не выпишут... Вот сделай, чтобы можно было ехать пустым, тогда и грозись.

Крест толкача деверь несет терпеливо, но жива в нем, инженере по диплому, пламенная страсть к «рацухе» — рационализации. В перерывах между поездками успевает сконструировать что-то для укладки

бычков в жестянки, для починки бочек, что-то переменит в котлах, насосах, и все служит исправно, будто таким поступило. В нем, видно, сидит дельный изобретатель. В соавторы к себе он щедро приглашает нужных людей и дробит премии, однако же именно «рацухам» обязан тем комфортом (телевизор, холодильник, мотоцикл), каким откровенно гордится.

И уж коль речь зашла о страстях, нельзя умолчать о любви деверя к той стороне Крыма, в которой вырос и проживает.

Нашу степную и предгорную часть — от Судака до Керчи — феодосийские художники и поэты именовали Киммерией (будто бы ее так назвал в «Одиссее» Гомер). Здесь нет кипарисно-лавровой экзотики Южного берега и приманок вроде Ласточкина гнезда, но прошлое наших краев богаче. Невесть как поселился в девере интерес к Пантикапею, эллинской Феодосии и русскому Сурожу, и теперь он с удивлением встречает всякое печатное доказательство громкой истории наших городков: будто кто-то ученый взялся подтвердить его, Шурика, выдумки! Он читает все, что может достать, но это не занятия историей. В маленьком городке каждый знает всех, чем-то выдающихся людей помнят прочно, Шурик же в число примечательных включает и понтийского царя Митридата и феодосийского жителя Айвазовского. Среди генуэзских консулов Феодосии и Судака у него приятели и враги, он не раз собирал компанию из своих заводских, добывал автобус и ездил показывать им Карадаг, Новый Свет, Судакскую крепость, желая рассказать про Христофора ди Негро, который «был человек», и про «гадюку» Скварчафико. Но заводские набирали столько водки, так неохотно поднимались к Девичьей башне и так легко сходили к «Камышу», что Шурик, расстроенный, зарекался повторять турне.

В последний приезд деверь поручил мне достать надувной матрац и узнать, откуда и чьи стихи «про Киммерию» (отрывок он вычитал в газете), Алешку же обещал устроить на лов кефали в рыбацкую бригаду. Вот тот отрывок:

Там, где на землю брошена
Небесная глина,
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина...

Через неделю от Алешки пришла открытка, потом письмо, другое. Шурик определил его «на коравы» — в хуторок при капитальном ставном неводе. Степь, три домика, рыбаки уезжают почевать в село, «на коравых» остается одна тетя Дина, она старая керченская рыбацка, готовит галаган. Из больших кефалей ей достают икру, она солит, сушит ее и потом опускает в растопленный воск. Кроме нее, никто делать галаган не умеет, она предложила Алешке выучиться и через три сезона стать мастером. (Черт возьми, наверняка древнейший способ консервации, сейчас воск слишком дорог.) Под обрывом — бухта, ее замыкают скалы Скирда и Кременчуг, между ними квадрат невода, он держится на вышках, а те называются так, что язык сломаешь: «агиз», «чебухан», «башгундер»... (Ничего странного, названия турецкие, способ лова, верно, не изменился с пятнадцатого века.) На вышках дежурят рыбаки, и как только дельфины загонят косяк в бухту, бригадир с «башгундера» кричит «режь!». Сторону квадрата поднимают, и на берегу все бросаются к байдам. Выбирать лобанов из невода трудно, они очень сильные, прыгают из воды на метр. Бывает, что только подгребут к берегу, как с вышки снова — «режь!». А иногда целыми днями нет ничего, тогда рыбаки дуются в карты или спят, и можно купаться с Толей или травить про разное.

Дальше в письмах пошло в основном про Толю. Очередная влюбленность. Теперь Толя — рыбак. Про тегю Дину уже сообщалось мельком: она пограничник-общественник, ночью повесит на шею бинокль и ходит вдоль берега.

(Керченские рыбаки знают о двух наших десантах — трагическом 1942 года и тоже тяжком победном — больше, чем где-нибудь можно прочесть. Они носили воду заточенным в катакомбах батальонам, спасали в своих халупах обмороженных, хоронили убитых и утонувших, их пацаны подрывались на своих и немецких минах. За тысячелетнюю историю эта земля не видала такого кровопролития, а море не приняло столько тел, как за четыре года Отечественной. Единственная свидетельница всего — рыбацка...)

«...А может, и ты завернешь, если будет дорóга? Лобан идет жирный. Кстати, что там с матрацем? Мне всю голову прогрызли. Сделал одну рацуху, классно вышло, потом расскажу»...

Есть на свете города... Норвежцы считают украшением земли Берген. Анекдот: учитель спрашивает первоклассников, откуда кто родом, дети отвечают, а один мальчик упорно молчит. В перемену молчун тихонько говорит учителю: «Мне не хотелось, чтоб подумали, будто я хвастаюсь. Я из Бергена».

Мальчик не видел Керчи.

Желтый ракушечник стен в оспинах пуль и осколков. Из асфальта тротуаров поднимаются витые корни виноградики — листья пластаются выше вторых этажей. За оградой порта покачиваются матчи сейнеров. Ветки перистых акаций кропят прохожих мягкой водой, но дождя уже нет, и народу на бульваре полно. Вернувшиеся из Атлантики парни небрежно несут на плечах куртки, повергающие Алешку в мизантропию. Океанический лов дает себя знать: в столовых кормят балыком из рыбы-меча, ухой из рыбы-капитана, у пивных ларьков толкуют про заграничные порты и прививки.

Алешка приехал в город за хлебом и черешней. Шурик исплохотал ему у бригадира отгул. Деверь в отличном настроении: выплатили за «рацуху», теперь старый немецкий мотоцикл, за мучительство

названный «фашистом», будет продан и заменен «Явой». Винные погребки замедляют наше движение, и все же в свой час мы достигнем раскопок Пантикаепа на склоне горы Митридат.

Поднимаясь на гору, плодотворно спорим, какой курган Золотой, какой, напротив, — Царский и до каких пор простирается гряда Юз-Оба, «Сто холмов», что так отяжелела хранилища Эрмитажа, Оксфорда, Исторического музея.

Фундаменты жилищ, таверн, узкие мостовые с водотоками, площадка храма с белыми обрубками колонн... Алешка не хочет верить, что в таких каменных клетухах жили целые семьи, Шурик укоряет: заелся, брат, тогда и сам Митридат не имел того, что сегодня у каждого шкета. Например? Ну, транзистор. ... Стоп, а у деверя в детстве был транзистор? А нужна в нем была? Лично у Алешки нет, допустим, прибора для управления чужими чувствами — и ничего.

— Есть хочешь? — догадывается деверь.

Набрав полные руки черепков, показавшихся интереснее прочих, мы принесли их в чудесную общепитовскую точку на приморском склоне горы. Заведение именовалось, разумеется, «Митридатом».

— Ребята, шашлыков нету, — соединяя поколения, сказала официантка.

Она лукавила, славная женщина! Были, были шашлычки — из нежирной и немороженной свинины, что даже лучше баранины в пасмурный день. И красный балык из рыбы-меча, и маслины полные, без морщинки, и целенькие помидоры, и уксус, и свежайшие батоны, и сухое вино совхоза «Коктебель», и яблочный напиток для мальчика — все это было и незамедлительно заняло стол, просто она не знала, что ее клиент работает вместе с Котей, ее двоюродным братом, завгаром, таким хорошим родичем и почти непьющим, а Симочка с переправы через капитана милиции Коровина им обоим почти что родня.

— А шо у вас за цацки такие? — любезно интересуется официантка, открывая разом череду бутылок.

— Царь Митридат горшок разбил, подобрали, — отвечает Шурик, утоляя первый аппетит.

— Та чи царь из простой посуды ел?

— Это у него ночной был.

— Фу, ну и скажете тоже, — умело застеснялась она, удаляясь.

— Сорок лет, между прочим, портил кровь Риму, — цскает языком деверь, наполняя стаканы. Имелся в виду, понятно, Митридат Шестой Евпатор (132—63 гг. до н. э.), на чьей, в сущности, могиле мы сидели. — Исключительно ненавидел.

— А закололся. Нехорошо! — мотает головой Алешка.

— Ха, почему закололся! Надо ж понимать. Помпей? Да в гробу он того Помпея... Сын изменил, зараза. И барахло ведь, не сын, доброго слова не стоил. Цезарь его живо: пришел, увидал — и кранты... А яд Митридата не брал — привычка, сам дозами принимал. Он выпить выпил, но не взяло, хоть уже был на седьмом десятке. Тогда он и говорит галлу: «Выручай, не хочу у них на параде идти, веселить гадов».

— А кто был тот галл? — Алешке безумно, до ослабления, нравится манера повествования.

— Галл и есть галл, ты рубай, стынет. — Припирать Шурика к стенке не надо, не любит. — Ладно, давай, пусть земля ему пухом...

Видно, рацпредложение деверя был новым словом в механике, иначе зачем было бы обмывать его таким превосходным, с чудной горчинкой вином?..

В полотно облаков случилась прорезь, солнце софитным лучом показало нам сухогрузы на рейде,

белый маяк на мысу, косу Чушку, самое грозное место при десантах.

— А я скажу — человек на разрыв становится крепче, — вдруг как-то не по-своему молвил Шурик. — Вот в Аджимушкае полажу — и ночь спать не могу. Страшно, когда поймешь. Полк в подземелье полгода, воды нет, капли со стен ловят, над головой кучи бомб рвут — все то ничего не говорит. А вот немцы пошли в атаку, и несколько ихних солдат во тьме заблудилось, так через два дня уже стали звать: «Рус, возьми в плен». Это объясняет! Ведь не дети же запросились, лбы дай боже, и знали, что расстреляют, а — «возьми». Человеческая натура боится подземелья, тьмы и жажды. Это есть ад! А к аду привыкнуть нельзя. И вот живой полк сам ушел в ад, дрался полгода и почти весь там остался, понимаешь? Такого прежде человек не выдерживал. Один закололся, другую руку себе сжег, тот марафон сделал и умер. И вот ни камня пока путевого, ни слова над катакомбой... Да не надо б ничего, только фонтан и так, что ли: «Пейте, у них воды не было».

Шурик посмотрел на нас, стыдясь своей патетики, взглядом прося прощения. Алешка сидел, нахохлившись: такое выпадало из программы. В Аджимушкай он не ходил. С ним в одном классе учатся пятеро немцев, с Гертрудой он катался на Воробьевке. Все история: что Цезарь, что тот полк...

— Давай, Шурик. Вечная память.

«Митридат» все полнитса, любезной хозяйке нет времени убрать пустые бутылки, она только ставит, уже не открывая, новые.

А вид-то, а простор, а дух мокрой полыни, а голоса пароходов!

— Слушай, про стихи ты узнал?

Стихи? Надо любить стихи. Таврида есть земля, музам любезная. Усилим воображения во-он на том откосе, за проливом, можно увидеть — глядите, вон там! — невысокого, кавалерийского склада человека в форменном сюртуке, почти юношу — странствующего офицера с дорожной по казенной надобности. Его легкие, петербургского шитья сапоги ступают по заросшей лебедой тропе над обрывом. Он юн чувствами, крепок и чуток, он видит слепого мальчика, гибкую певунью-контрабандистку, он восприимчив к горю в любом его проявлении. Обругает Тамань самым скверным из приморских городов России — и одарит ее негленным рассказом, заклеит родину печатью «страны рабов» и обогатит ее сказочно — юноша, сосланный за Пушкина на пушкинские пути.

— Ах, ах, гусары, — возникает из легкого тумана смеющийся Алешкин лик.

Ну да, это из Вахтанговского театра, там такие потешные «Дамы и гусары», одна сентиментальная дама все восклицает таким образом. Да, с чувствительностью надо кончать. Это от высоты...

— Нашел, откуда стихи?

Стихи? Эти — «Там, где на землю брошена...»?

— Стихи я найду в «Редкой книге»... Это отдел такой при Ленинке, отличный... Сказал — найду, не смей сердиться...

— Стой, а где мы взяли мотив для этой песни?

Там, где на землю брошена-а
Небесная глина-а...

Утром Алешка разбудил нас, суя под нос какие-то зеленые квитки и твердя:

— В восемь, в восемь автобус отходит...

Посоветовавшись, заключили, что накануне было принято самое трезвое и глубокомысленное из возможных решений. У Шурика свободны два дня.

В Киммерии!

II.

Что за радость, что за наслаждение эта «Редкая книга»!

Едешь автобусом до Александровского сада, минуешь Кутафью башню и, не в силах сдержать нетерпения, перемахиваешь в переходе сразу по три ступени. Колоннада Ленинской библиотеки, каменный внутренний дворик с фантастической рыбой на фонтане, и за дубовой массивной дверью...

— Вы в «Редкую»? — почтительный вопрос гардеробщницы.

Взбегаешь по широкой, белого мрамора лестнице с медными балясинами — второй этаж, третий... Наконец! Длинный пустой зал, витрины с фолиантами — музей книги. А в самом конце зала, словно вход в святая святых, — маленькая неприметная дверь. Ступаешь неслышно, поддаваясь царящему покою. Уже сидят, каждый за своим столиком: художники, филологи, книжники.

— У вас заказаны?

— Да-да...

Сейчас принесут. Ну, вот.

Доброе воскресенье, авторы.

Вы отлично выглядите, Павел Иванович Сумарков, кожа переплета без единой морщинки, а голубая бумага так идет чувствительной ортодоксальности «Досугов крымского судьи». Дерзкие насмешники возродят ваш стиль в мудростях Козьмы Пруткова, да бог их прости... Николай Мурзакевич, вы ученый, как же не совестно было посвящать книгу графу Воронцову, да еще называть полуневежду «просвещеннейшим вельможей своего времени»? Достойный Муравьев-Апостол, вам и в «Путешествии по Тавриде» удалось проявить республиканский дух, ваш декабристский род может числится в заслугах и эту книгу: из нее перешла в «Бахчисарайский фонтан» пленная полячка...

Я знаю, среди вас нет Радищевых. О Крыме, экзотической новой провинции, писать было приятней и легче, чем о деревнях меж Петербургом и Москвою. Вы не знамениты, подчас помпезны и велеречивы, что делать? Многие должны были забыться, прежде чем страна обрела перо Пушкина. Но у вас заслуга первого видения, вы помогли человеку оглядеться, осознать наследную причастность к единому потоку мировой культуры.

Итак, зачем пригласил я вас в этот воскресный день?

В Москве зима. И мне особенно хочется в Крым.

Почему я, однако, не пытаюсь перенестись туда, используя путеводители издательства «Крым»? Увы, в них фантазия особо не повольничает. Вы не прочь что-то сказать, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол?

«Генуэзцы как будто искали производить в потомстве удивление к дерзости каменщиков своих: иначе я не постигаю: для чего бы на месте неприступном построить башню так, что наружная оной стена стоит по отвесу со стремниною скалы».

Ну вот, здесь уже картина. Признаться, школьниками, взобравшись на генуэзскую крепость, мы тоже гадали: какие же хлебные карточки были у тех, кто взгромоздил на такую верхотуру столько камней...

О чем я намереваюсь спросить вас сегодня? О том ли, что Таврида, место действия многих мифов, дала Элладу? Известно, Демосфен то отмечал особо, что из Феодосии в Афины поступала пропашть хлеба. Или что Крым принес Риму, Византию, Орде, Венеции, Генуе, Турции? Никак нет.

Что дал он Руси, России — вот вопрос. (В этот день не спрошу вас о несчастьях, о разбойничьем

гнезде, что несколько веков когтило весь юг страны, смерчем докатываясь по Муравскому шляху до самой Москвы, и продлило мучительное отставание государства, пока не охладил бритоголовую ярость гренадеры царя Петра...

Я понимаю, Мурзакевич, начинать с головы святого Климента поздновато. Уже была Феодосия, то есть Богоданная, колония эллинов, там весть о новой премьере Аристофана, пришедшая на парусах, воспринималась с не меньшим интересом, чем ныне в Мурманске и Судакке спрашивают о Театре на Таганке. Херсонес как полноправный полис прожил веков семь, прежде чем император Траян направил сюда, рабом в каменоломни, римского епископа Климента. Но ссыльный прибыл и стал так пропагандировать христианство, что вскоре в городе стояло семьдесят церквей. Императору пришлось утопить упрямого в Черном море. А всего через семь веков неповрежденные мощи каменотеса нашел у берега Константин Философ. Его мы знаем как монаха Кирилла, создателя нашей письменности. Находку он разделил на три доли: одну отнес в Константинополь, другую — в Рим, голову же доставил в Киев.

Каких-нибудь пятнадцать лет спустя могущественный князь Владимир пришел к византийскому Херсонесу с кроткой целью: креститься. Правда, для этого ему понадобилось сперва взять город штурмом — обычный тогда способ причащения к святыне. И Владимир вместе с новой верой увозил иконы, колокола, а также заинтересовавшие его скульптуры и работы чеканщиков. Дива в этом еще не было.

Подлинным же чудом, повергшим королевские дворы тогдашней Европы в транс, стало сватовство энергичного князя полян к порфирородной Анне, принцессе константинопольской. Византийские императоры — первые среди монархов; они носители вековых традиций Рима, и притязания удалого славянина на равенство с властелинами Царь-града казались бы невероятными, смешными, если бы не были признаны самим Византием. Взятием Корсуня жених уверил, что невеста попадет в крепкие руки. Нет, не случайно Кирилл делит меж тремя городами так удачно найденные мощи: на востоке Европы расцветает первостатейное государство.

Византий передал Руси наследие античной культуры. Если с севера норманские дружины приносят науку о воинском строе и понятие о грабеже как профессии, то через Понт, Корсунь, «из грек» идут приемы архитектуры, навыки книжного дела, каноны живописи, идут не болящие веков образцы: древнейшая песнь материнства — Владимирская богоматерь, росписи Дмитриевского собора над Клязьмой, мозаики Киева. Средиземноморский подвой нашел за «морем Русским» богатые жизненным соком привои.

Черная волна татарщины изорвет кровеносные связи, разольется по степям морем рабства и варварства; не знающие грамоты чингизиды станут диктовать через пленных писцов свои обещания цивилизациям: «Когда весь мир от восхода солнца и до захода объединится в радости и в мире, тогда ясно будет, что мы хотим сделать». Но поздно. За охранными лесами донских и волжских верховий, на берегах Нерли, Вохова, Великой развилась удивительная по жизнелюбивости силе культура. Во дни тягчайших испытаний, в века разлагающей гнусности ига она будет для народа стержнем единства, залогом вызволения, щитом и булатом. Уже пустила корни пришедшая морем идея о Москве как «Третьем Риме», четвертому же не бывать. Процесс подсадки не прекращается, роль Тавриды остается прежней, и северные живописцы, зодчие станут рождать шедевры Ренессанса в одну пору с Италией.

Еще не гремела Куликовская битва, когда из Фео-

досии-Кафы переехал в Москву известный царьградскими и крымскими фресками живописец Феофан. Ему предстоит чуть не полвека трудиться в Москве, Новгороде, Нижнем, расписать сорок храмов, удивляя и свободой, легкостью, быстротой письма и способностью (позже отличавшей Леонардо) во время работы беседовать со всеми проходящими; ему предстоит стать всенародно чтимым, заслужить у современников аттестацию «живописца изящного», мудреца и философа, и все же величайшим творением Феофана Грека останется не картина, а мастер: Феофан учил Рублева.

Не свидетельствуй даже то летописи, мы знали бы о близости титанов. Родство выдает «голубец», исключительно редкая тогда ляпис-лазурь — краска яркого голубого тона, даже в Италии ценившаяся дороже золота. На головах феофановских богородиц платки того лазурного цвета, какого не найдешь на Руси ни до Грека, ни после него — до гениальной рублевской «Троицы». Плащ среднего и риза правого юношей светятся воистину неземной, пронзительной голубизной...

В Эрмитаже ты видишь детский рожок из эллинской Тавриды, вроде гончарного чайничка с длинным носком — и отгоняешь желание принять вещьцу за свою, только давным-давно потерянную, пролежавшую под травой тысячи две лет. Не к чему набиваться в родню, не одним молоком воспитаны. Но наследование — истина. И если б голубой полуостров, приютивший и дочь Агамемнона и римского каменотеса Климента, уже веков десять назад почему-либо исчез бесследно, и тогда признательную память о нем сохранила бы великая северная народность.

Тут, завихряясь в движении, смешивалось столько культур, народов, насыщая память наносы феодосийских и судакских речек, и прав Максимилиан Волошин:

Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата.
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата...

Не археология тут нас интересует — в этом смешении, в насыщенном этом растворе некогда кристаллизовался тип русича-южанина, формировалась натура таврического помора, столь многими чертами необычная, что былинное творчество, внимательное только к значительным явлениям, считает нужным откликнуться. Сурож средневековой — большущий город, центр черноморской торговли, «Слово о полку Игореве» включает его в границы русского влияния, и гость-суроженин становится героем былин.

Это Чурило Пленкович. Он молод, поражает воображение богатством и лоском, его достоинства неотразимо действуют на прекрасный пол — да добро б только на «молодушек», а то ведь и на самой княгиню Апраксию!

Точно известны имена сурожан в возрасте степенном, тех, что были взяты Дмитрием Донским на Куликовом поле: «видения ради, аще что бог случит поведати в дальних землях». Решаются судьбы Руси, и в свидетели битвы берется свой брат русич, но с опытом международных общений, человек абсолютного авторитета и твердого слова, знающий, кстати сказать, языки. Надо полагать, сурожские гости Василий Капица, Козьма Ковырь, Константин Волк, Тимофей Весяков, Дмитрий Черный, Семен Онтонов и четверо их товарищей исполнили долг с радостью и достоинством; миссия же сама собою характеризует их, словно подтверждая, что хорошее вино в срок бушует, в срок обретает ясную крепость.

Национальный характер — сложнейший из сплавов, всякая добавка в нем важна; какими бы дозами ни

присутствовали в нем черты южных поморов, они есть, не исчезли бесследно и, хочется верить, отнюдь не ухудшили заветную смесь.

Общение, общение! Недалека от глупости, учит Шекспир, домоседная мудрость! Как пестрые камни в коктейльском приборе, сталкивались, шлифовались на пристанях и в долинах Крыма обычаи, нравы, натуры. Кого ж узнавал тут сурожения? Имена, нужны имена, безымянность — то кара истории!

Пожалуйте вперед, Гильом Рубрук, предстаньте во всей красе — дородный францисканец, босой по правилам ордена, обожженный солнцем неведомых Европе степей, книжник, упрямец в трудах, любитель поест, истинный родич Кола Брюньона. Это вы, посол Людовика Девятого, короля франков, были направлены на разведку в империю монголов и высадились в Судаке-Солдае 21 мая 1253 года?

«Мы прибыли в область Газарию... Газария имеет город, именуемый Солдайя, ...и туда пристают все купцы, как едущие из Турции и желающие направиться в северные страны, так и едущие обратно из России и северных стран и желающие переправиться в Турцию. Одни привозят горностаев, белок и другие драгоценные меха; другие привозят ткани из хлопчатой бумаги, бумазею, шелковые материи и душистые корни».

Вы знали, что ваши шансы умереть по дороге в ханский Каракорум от голода и холода равны возможностям быть зарезанным на любом ночлеге?

Босиком в декабре по Прибайкалью — это ни к чему, орденский формализм. А вот в ханской юрте вы держались полным молодцом!

«Мангу-хан протянул ко мне посох, на который опирался, говоря: «Не бойтесь». Я, улыбаясь, сказал тихо: «Если бы я боялся, то не пришел бы сюда».

Улыбка — это отлично, честь мужеству. За восемь месяцев пути вы убедились: показавшему робость отсюда живым не уйти. Для западной части Европы татаро-монголы все еще оставались страшной загадкой, и ваш дневник представил миру новых гуннов; он был бы донесением разведчика, если б так не походил на труд этнографа, и мог быть назван работой географа, если бы не был книгой о психологии варвара.

Француз Рубрук был в Тавриде гостем. Но Италия, она в позднее средневековье чувствовала себя здесь хозяйкой. Генуэзцы построили сорок замков, причалы и доки, в Кафе и Солдае были возведены перво-разрядные крепости. Конечно, граждане «светлейшей общины» были на этих берегах чужеземцами; черноморскую торговлю они вели, разумеется, с большой выгодой и превыше всего ставили свой интерес — недаром «кознями Генуи лукавой» назовет политику колонистов Пушкин. Но сегодня в книжках, брошюрах, массовых путеводителях так усердно чествуют генуэзцев хищниками, грабителями, чуть не оккупантами, что, не ровен час, примешь их за грустное исключение в тогдашнем кротком и бескорыстном мире и сочтешь пребывание владений итальянской торговой республики на отторгнутом у ханства берегу тяжким несчастьем для Руси. А коль так, пусть постигнет корыстных возмездие!

Материализуется это «возмездие» в равнодушии к уникальным для Союза памятникам итальянского средневековья. В Карантине, феодосийской крепости, не увидишь туристов; в Доковой башне, почти шесть веков простоявшей у кромок прибора, разместили нефтебазу; зубчатые бастионы Криско и Климента очень нуждаются в укреплении, Круглая башня просто разрушается, как и своды храмов, стены внутреннего кольца. Сорок лет назад академик Грабарь с радостью писал из Феодосии, что открыл

«под полувершковым слоем штукатурки фрагменты (пока только одежда) высочайшего стиля, полностью совпадающего или по крайней мере не противоречащего феодосийскому». Поди сегодня, приезжий, попробуй повидать остатки фресок Феодана! На храмах — ржавые замки, не войти и в ограду, вообще не найти концов. Приморский город словно стыдится своей древности, прячет живучие ее следы за фасадами сборно-панельных домов, и только дотошный паломник выявит, что же здесь показывал феодосийский старожил Пушкину и о каких таких «вековых стенах прежней Кафы» писал Грибоедов. А все оттого, что «чужое».

Если бы с меркой «своего — чужого» входили в Крым присоединившие его к России полки, не видать было б потомкам ни дворца Бахчисарайского, ни фонтана: ханство заслуженно звалось «бичом народов». Фонтан же уцелел до Пушкина — и обрел бессмертие. К нему и сегодня идут тысячи, отдавая дань уважения мастерству, почитая выраженную в памятнике скорбь человеческого сердца...

Кто вносит предложение — Майорнан, римский император середины V века? Нет-нет, заране отвергается, извольте вернуться на стеллаж! Пусть ваш эдикт и значится первым в истории законом об охране памятников, руководствоваться им гуманный XX век не позволит. Конечно, похвально требовать, «чтобы все здания, воздвигнутые древними для общественных нужд и для украшения города, будь то храмы или другие монументы, оставались неприкосновенными». Но какие гарантии вы предлагаете? Ужас. «Чины, находящиеся на службе порядка, а потому ответственные за сохранность древних памятников, если допустят их разрушение, будут приговорены, после соответствующего наказания плетями, к отсечению рук». Жутко представить, что эдикт имеет силу, страшно вообразить толпы одноруких.

Защитайтесь-ка вы сами, граждане торговой республики. Попробуйте убедить, что генуэзцы бывали разные, что наряду с интриганами, не продававшими разве самих себя, были мужи чести, чьи представления о правах и достоинстве человека разовьются до идеологии, сметающей Бастилии.

Началось в пору созревания винограда, росным августовским утром в консульском замке Солдае. Строгий Христофоро ди Негро, шагая по кабинету, диктовал нотариусу Портуфино приказ. В приемной, додремывая, ожидал кавалерий Микаеле ди Сазели, чьей обязанностью было отпирать базарные ворота, следить, чтоб ночью никто не появлялся на улицах, а пять скучающих ханов, содержавшихся в крепости как резерв для крымского престола, не вздумали дать деру. С кавалерием явились солдаты-аргузии, они вполголоса обсуждали новость.

Давние враги республиканца-консула — дворяне братья ди Гуаско — вышли за всякие рамки. У своего замка они поставили виселицы и позорные столбы — символы феодальной власти. Это в солдайской округе, где население вольное! Теперь консул приберет их к рукам. Закон на стороне Негро, да как бы в этой драке меж сильными не досталось простому аргузию. У чванливых Гуаско — сильная рука в Кафе, у главного консула Черного моря...

«Во имя Христа. 1474 года 27 августа, утром в доме консульства. По приказу досточтимого господина Христофоро ди Негро, достойного консула Солдае, идите вы, Микаеле ди Сазели, кавалерий нашего города, и вы: Константино ди Франчисса, Мавродио, Якобо, Кароци, Сколари, Иорихо, Даниели, аргузии нашего города, ступайте все до единого в деревню Скути. Повалите, порубите, сожгите и бесследно уничтожьте виселицы и позорные столбы, которые

велели поставить в том месте Андреоло, Теодоро, Де-метрио, братья ди Гуаско».

Гуаско встретили власть отрядом из сорока головорезов, пустили в дело дреколье и поохотали над приказом, не скупясь на срамные слова.

Увы, солдайский правдолюб, у Гуаско хорошие кони, двери канцелярий открываются для братьев в любой час, и кошель с полновесными сонмами они охотней отдадут стоворчивым людям Кафы, чем в ваше казначейство! Вот и первая ласточка от кафского консула Габелы: «Приказываем вам и строго предписываем повременить и воздержаться от исполнения этого дела». Не трожь виселицы, ди Негро!

Где ж ты, справедливость, оплот республики? Кафский властелин шлет для разбирательства Скварчафико, этого казнокрада и лицемера, погрязшего в черных делах! Честному Негро угрожать судом?

«Подкупам и большими подарками, сделанными в Кафе некоторым лицам, соглашающимся быть заодно с главарями, они установили способ отменить в Кафе ...приговоры, вынесенные в Солдае... Жители Солдаи лишились возможности сеять хлеб, косить сено, заготовлять дрова. Солдайцы вынуждены делать это не иначе, как на захваченной ди Гуаско земле, сделались зависимы от них, по их воле ходят к ним на работу...»

Сам Габела продает за шесть тысяч золотых пост сельского правителя одному татарскому княжичу, Бахчисарай возмущен: вор у вора дубинку украл. Из Бахчисарая вторит посольство в единоверный Стамбул, угроза летит в Крым все реальней.

Первого июня 1475 года в бухту Кафы вошел флот Ахмета-паши, началась канонада. Громадный город населением своим многократно превышал число осаждавших янычар и сопротивляться мог бы долго. Но правители его знали одно оружие — предательство. Подкупленный пашой Скварчафико открыл ворота, турки, залив улицы кровью, взяли немощно большую полон. По тогдашнему миру покати-лась страшная весть о падении «Малого Царь-града».

На девятый день грабежей паша дал торжественный обед, пригласив на него и главных изменников. «Потом при прощании с ними велел им сходить одному за другим по весьма узкой лестнице, внизу коей ожидал их палач с поднятым топором, для отсечения им голов. Он оставил токмо вероломного Скварчафика, главного виновника гибели Кафы, ко-его отослал на казнь в Царь-град» (С. Сестренцевич).

Не так умирала Солдай! Рвы у стен были полны трупами янычар, когда последняя тысяча защитников заперлась в большом храме, чтоб в огне достойно принять смерть. Султану не досталось рабов.

Но почему из работы в работу передают историки слух о том, что малой группе итальянцев удалось бежать по тайной тропе к морю? Неужто просто хочется, чтоб все-таки спасся последний консул Солдаи, неподкупный Христофоро по прозвищу Черный?

...Пустеет зал «Редкой книги», за окном густо-синие зимние сумерки, на зубцах Троицкой башни устраиваются ночевать галки. Мне скоро прощаться с вами, авторы, и, видит бог, это грустно.

Так что ж ты дал России, Крым?

Облудил Пушкина. На одно лето сделал поэта счастливым.

Радость видеть море, горы, долины, прикосновение к античности, экзотика Востока, веселый мир Души, безбрежное счастье свадебной красоты мира, здоровья и юности — все помнилось ему и грело до конца дней.

После здесь жили Толстой, Чехов, Горький, Бунин,

Шаяпин, Поленов, Вересаев, Маяковский, Паустовский, Платонов, Булгаков, Грин...

Но, как первую любовь, сердце Крыма не забыло курчавого юношу-ссылного, и поэт-киммериец Волошин напишет чуть высокопарное, но верное:

Эти пределы священны уж тем, что однажды
Пушкин на них поглядел с корабля ^{под вечер}
по дороге ^{в Гурзуф.}

III.

А в Судаке было яркое солнце, и девочка, в коротеньком платьице, стоя на стремянке, рвала нам с дерева персики.

За Таней, двенадцатилетней племянницей Шурика, мы зашли, чтоб иметь в своем составе при походе к морю женщину. Вдруг да придется искать Олесю, дочку соседей, отдыхавшую в Судаке, на женском пляже. Олеся — студентка, «свой парень», при случае огорашивает приятельниц матери присловьями типа «Зубы жмут? Могу расставить», изучает отечественную историю почему-то на английском языке (факультет такой); мы решили пригласить ее с собой в путь по Киммерии.

Таня набрала в сумку помидоров и вяленых бычков, переоделась в матроску с плиссированной юбочкой, быстренько переплела косы, покусала перед зеркалом губы и, повесив на калитку листок «Комнат нет, коек нет», строго сказала:

— Пошлите.

Дорога вела среди виноградников. Татьяна несла на макушке нейлоновый бант достойно и просто, как королева: не скажешь — «воображала», не подумаешь — «тю, аршин проглотила». Ибо мы были на людях, то есть на виноградниках бригады ее мамы. И речь нашей водительницы была чинной: про то, какая прорва отдыхающих, и на базаре ничего не захватишь.

Эх, как в свою пору знали здешние виноградники пацаны — военная безотцовщина! Каждый куст белолиственного «чауша», каждая кисточка «шаслы», поспевающей в начале августа, держались на учете, даже кромешной ночью их без труда находили в лущине поздних сортов. Никакой агроном не мог помнить расположения «александрийского муската» и «дамских пальчиков» с той ясностью, которой обладала наша юная и вечно голодная память. Пока грозди оставались на чубуках, хлебные карточки не казались разрешением на жизнь — была бы хамса, винограда не выдаст.

Сбор винограда — работа не легче иной, но как любили, как ждали ее! Дни не знойные, ясные; все на одном участке, веселые, добрые друг к другу: над чанами, пахнущими брожением, вьются незлые осы. В обед никто в столовку не идет — располагаются у старого громадного каштана или у родника, где айва, делятся чесноком, тюлькой, тормошат или обливают ледяной водой дядю Илью Папшева, силача, единственного мужика нена начальника в нашей бригаде. Отгнав мальчишек, тетки устраивают купание в омутах быстрой речки, под зарослями ожины и одичавшего винограда.

Уборка была нашим теткам и отпуском и санаторием. В сентябре они прямо на глазах молодели, свежели; морщинистая, черная от солнца, с коричневыми от молочая пальцами, тетя Лина или тетя Галя вдруг оборачивалась озорной молодухой, лихо подхватывала припев про то, что «вдова вмиг цылувать», и у подвод с чанами звучали шуточки, от которых нас кидало в жар.

Но какой грустью, каким безысходным сиротством дышал участок, когда дядя Илья выносил на плечах последнюю кадь «шабаша», директор совхоза поздравлял наших теток с завершением, а мы оставались ни с чем! Листья торопились пожелтеть и осыпаться, обнажая на зубуках редкие холодные ягоды, ряды высоченных тополей принимались уныло шуметь, и впереди оказывался длинный, скучный год с подрезкой, перекопкой, подвязкой, бесконечной цаповкой...

— Истожили старый сад неумехи, маме пришлось пересаживать, — бросила через плечо королева в плиссе. Слова были чьи-то, но оттенок укоризны, безусловно, принадлежал нашей водителнице. И тут же — кому-то в виноградниках: — Драсьте, дядя Илюша, скажете маме, что я на море, ага? Вот с ими. — Кивок указывает, кто удостоился чести.

Сухой сутулый старик, чинивший шпалерные нити, распрямляется и, щурясь от солнца, пристально смотрит на нас. Да не может быть! Но такие длинные руки с огромными ладонями были у одного него, и только он умел загорать до такой черноты.

Дядя Илья, ты понял: я лгу, будто сразу тебя узнал, что изменился ты мало. И дело пустяковое, не по тебе, и плечи будто усохли, не блестят от пота...

— Ребята-ребята, куда сила ушла! Все виноградник вытянул.

Ты был богатырем этой долины, дядя Илья, ты делал самую тяжелую работу и был простоват: никогда не ловчил, не халтурил, делал, как сказано, и проверять агроном к тебе не ходил.

— Я ж, помнишь, специальный заступ Сеньке-цыгану заказывал, каждую осень ставил ему чехок, чтобы сталь клал получше и захват в аршин...

Какую семью тащи, сам всегда впроголодь, а ведь никто из нас не получал от тебя лозины, ты сам предлагал взять в школу по кисти «кокура». И когда ты с вязанкой на плечах и блестящей садовой пилой на боку шел в сумерках к дому, мы думали, что ты красивый, как Чапаев.

— ...а баллон с купоросом целый день носишь — что, без вреда? По спине течет, потом радикулит. А серой опылять, а дубы на кол распускать?

Ты был настоящим богатырем, дядя Илья, потому что съедал в день по пуду винограда и проливал по ведру пота, потому что ни одного дела не сделал худого и не взял сегодня того, что положено взять завтра. Теперь опрыскивает вертолет, пропахивает плуг с автоматом, отличающим лозу от сорняков, ремесло виноградаря уже перестало быть живой археологией, но какая машина смогла бы выдержать то, что вынес ты, и разве может какая-нибудь машина дать пацану в школу кисть винограда?

Рыжей в солнце и синей в тених короной венчала скалу над морем генуэзская крепость. Вот ведь диво: с каждым приездом все в долине уменьшается в размерах (от почты все ближе до пляжа, а от школы до шелковицы Святских просто рукой подать), но Консульский замок, башни Бернабо, Круглая, Девичья становятся все грозней и величественней. Когда-то историк Погодин написал: «Во всей Европе нет развалин живописнее этих, никакие рейнские замки не сравнятся с ними». И теперь отзыв этот так усиленно повторяют, что становится тревожно: а вдруг в Пиренеях или в Скандинавии сыщется что-то капельку живописнее, что тогда? Но если одесит просто верит, что его оперный театр второй в Европе, то судачанин спокойно и твердо прилагает к крепости письменный аттестат.

Море смеялось. Оно смеялось над нами, помнившими берег пустынным от острова под Генуэзской

до самого Алчака. Лежбище котиков без шуб? Таганка в часы «пик»? Столпотворение вавилонское?

— Вот как свободно сегодня, а в воскресенье народу понаедет, — сказала Таня.

И все же под самым крепостным откосом, ниже храма Двенадцати апостолов, мы издали заметили свободный уступ. Ах, вои в чем дело — раскопки!

Площадка, питавшая рыбацких коз, таила под собой улицу портовых кабачков с очагами, большими амфорами под вино и масло, с комнатами для гостей, со всем, чему положено быть на желанном для моряка берегу. А извлекла это на свет, как гласила запрещавшая вход надпись, археологическая партия Софийского заповедника. Судак — рай кладоискателей. Не так давно под Алчаком нашли сразу тысячу сто монет боспорской чеканки. Но деньги из Судака ученые увозят, а улочку веселую, дудки, не увезти.

Шурик, оглядевшись, воровски переступил в раннее средневековье и на цыпочках, боясь что-нибудь пошевелить, заглянул в первую таверну. Сел на ступеньку, довольно потер руки и негромко приказал:

— Хозяин, кувшинчик вина и козлиный задок с каперами!

— Вы шо, читать не можете? — заставил его вздрогнуть злой девчоночий голос. Две особы, Танины ровесницы, с угрожающей скоростью двигались к нему. — А ну давайте отсюда по-быстро!

— Та я ж только посмотреть, — искательно улыбнулся деверь. — А вы и есть археологи?

— Мы из исторического кружка, — призналась вторая, но первая с энергией оскорбленной рыбацки прервала ее:

— А ваше какое дело? Читали — так не рассаживайте тут, нашелся — грабить ценности!

Тут она узнала стоявшую чуть поодаль Татьяну и с ходу выдала ей:

— Это ты своих «дикарей» привела? Двоечница кривоногая!

Королева — мы видели это — хотела ответить только высокомерной улыбкой (все три обвинения были ложью), но кровь взяла свое, руки сами уперлись в бока, и особы, онемев, услышали, что они чокнутые, малахольные, дурочки ненормальные, что о них рук марать неохота... Шурик, спешно вернувшийся в наше время, не без наслаждения слушал добротный скандал судачанок.

Уже было сказано, что к нам позвуют старших братьев и те нам навешают, мало не будет, уже Алешка сдерживал Татьянин кураж, когда до стражей дошло, что мы просим прощения, не будем тут загорать и никого не пустим.

Не знаю, кто внушил судакским девчонкам, что черепки и камни с козьей поляны — это дорого и важно, но сражались они так, будто мы ломали их единственную черешню, губили цветник, терзали виноградник. Пока в Суроже вырастают такие девы, европейское живописное первенство ему обеспечено, ни один камень его древностей не лишится души.

«Полякова Олеся, мы здесь!» Такой плакатик Алешка и Таня показали во всех уголках бухты, а в итоге вернулись с незнакомой девушкой в мини-сарафанчике и в больших зеленых очках. Четким замоскворецким наречием незнакомка объяснила, что Олеся, с которой они жили на одной веранде, неделю назад уехала в Алушту и уже прислала свой адрес. Почему уехала?

— Так тут же ни фиги нет!

И с расположением землячки, желающей предостеречь от оплошности, она объяснила, что Судак, в сущности, — страшная дыра, тут на крепость раз скопить, а больше смотреть нечего, ей-богу, волком взвонешь. А в Алуште, как пишет Олеся, открыли мо-

дерновую корчму, можно посидеть, люди бывают интересные, приятный интерьер. Вообще Крым — там, за Алуштой, а тут и кипарисов нет, одно вот море.

Что ж, и Воронцовы не считали восточный берег Крымом. В Судак, Коктебеле, Феодосии проводили лето учителя, бедные музыканты, художники, здесь жизнь была дешевле.

Страсть нынешнего неорганизованного отдыхающего к Киммерии объясняется не так, пожалуй, нехваткой красот, как наличием свободного моря. Море, не отторгнутое санаториями, не застроенное навесами, бесплатное, чистое синее море восточного Крыма влечет к себе «дикаря», число которому — легион.

«Дикари» — это чудесно. Не такой уж большой срок в жизни человек отваживается спать со звездами перед глазами. Автомобилисты — это аристократы; у двадцатилетнего — «Волги», и даже мучающей потребности в ней нет. «Дикарь» даже не турист, он, как царский скиф, тяготеет к оседлости.

Родник, пусть хилый, пяток метров гальки или песка среди скал, какой-нибудь кустарник, чтоб сварить на нем гороховый суп со свиной и компот из зеленых яблок, — и возникнут низкие стены из обломков камня, каменная же плита обратится в стол, на длинном шесте будет поднят белый бараний череп, или флаг со скелетом селедки, или просто «веселый Роджер» — и стойбище начало жизнь.

Возвращение в природу. Свежие утра с запахом водорослей, когда полный штгиль показывает со скал стайки ставриды, а крабы-цыганки не спешат удирать от пришельца; медленные, ленивые полудни, когда чувствуешь, что лучи добрались до самой середины костей, и приходишь в себя от жары только в маске и ластах метрах в пяти под уровнем моря. Ловля надоевшей цикады, зачитанная «Неделя», кинг и покер после обеда — и обидное мытье котелков. Бездумные вечера с гитарой, с мужской хрипотцой, сигареты «Стюардесс» для девушек, твист на лунном камне и страшная ночная гроза, шторм, от которого потом идет счет дням. Уединения, походы за билетами в поселок, объявления у скрещения троп — «Купите банку топленого масла, роман «Щит и меч» и насос для надувного матраца», — прощальный ужин, три копейки в волну — и будь здорова, Таврида, чао, ла мар!

Что еще надо?

Надо, чтоб крымского солнца хватило на жизнь. Как Пушкину.

Надо увидеть Тавриду. Красота, уверял Грин, крашит и тех, кто созерцает ее.

Хочешь, нет ли, а вся Киммерия — храм истории и художества. И была таковым до того, как стала великим и шумным стойбищем «дикарей». В храме надо вести себя достойно. Их, храмы, строго говоря, нельзя оскорбить невежеством или безразличием. С них как с гуся вода, унизишь только себя самого. Грех бездуховности не отпускается. На этих берегах, наверное, сотое поколение людей умеет читать, это сотое строем души должно отвечать высоте.

Было и Алешке двенадцать лет, и в те времена мы предприняли с ним путешествие в первичном смысле: шествие по пути от Феодосии до Севастополя. С продуктами были перебор, и мы еще дома запаслись консервами, Рюкзак свисали, как курдюки, края банок с печеночным паштетом вгрызались в позвоночник. Еды в Крыму оказалось полно, но бросать было жалко, до Судак мы тащили эти вериги.

С Царского пляжа решили перевалить в долину села Веселого, там у моря заночевать. До того, про-

щаяся с Судакской крепостью, вдосталь натолковались про сурового Христофоро, тонконового ловкача-нотариуса Портуфино: одноглазого, чтоб характерней было, кавалерия Микаеле ди Сазели, щеголя и выпивоха, аргузиев, любителей жареной кефали и свежего сыра. Четкая, как легенда, история конца Солдайи усвоена была моим спутником ясно — так ясно, пожалуй, как мы когда-то представляли расположение мускатных кустов.

В Новом Свете встретили четверку «дикарей» из Москвы: двух парней, двух девушек. Они слышали, что за урочищем Рай и Ад есть «совершенно железное место», мы предложили проводить. Но одна из девушек, молчаливая красавица, рассекла ногу и сама не могла идти. Взвалив на себя все имущество, парни наказали девушкам ждать, а сами обогнали нас и только кричали с горы, куда ли идут. Одного мы назвали Тягачом, другого, за рост, Паганелем. Алешка тянулся к ним: радость общения, каждый встречный в потенции Шурик.

К закату мы сухими балками вышли к рощице дубняка, укрытой пригорком от моря. Тут был родник, близко вздыхали волны, место впрямь было «железное». Смыв пот, парни поручили нам к их приходу вскипятить воды для супа и отправились за спутницами.

Вскоре смерклося. Костер наш пылал. Мы заморили червячка консервами, все приготовив для варива. Алешка устроил себе из плитняка и полыни логово и прикорнул, изредка оживляя мою фантазию вопросами и понуканиями. Сухой дубняк горел ароматно, иногда на огонь налетала легучая мышь, в балке переговаривались сверчки.

Тут и пришел к нам Христофоро ди Негро.

Он поднялся из-за пригорка, оборванный и мокрый, минутку постоял, ожидая, потом шагнул на свет. Левая рука его была на перевязи, в правой блесла пистоль. За плечом его мы увидели Микаеле, — кавалерия легко было узнать по повязке на глазу. Негро слышно явился из-за холма Якобо, Иорихо, Портуфино с чернильницей у пояса (остальные знакомые солдайки погибли).

— Кто вы? — спросил Христофоро по-итальянски. — Кристиани? Мусульмани?

— Мы русские, — ответили мы. — Не бойтесь, идите к костру, вот вода, пейте.

Христофоро нас понял: он часто имел дела с гостями-суроужанами, да и в долине жило немало виноградарей-русских. Утолив жажду, генуэзцы устало опустились у костра. Аргузии налегли на консервы, но их строгий комендант к еде не притронулся.

— Вы пастухи? Земледельцы? Ограбленные купцы? Или жалкие разбойники, заманивающие жертву на свой огонь?

— Консул Христофоро, мы путешественники. Идем в Чембало, к Херсонесу.

— Вы знаете мое имя?

— Да. Вы ведь единственный честный человек в генуэзской Газарни.

— Вы забыли об этих людях. — Он взглянул на спутников. — Что турки? Свободно ли море? Говорите правду, от этого зависит жизнь добрых христиан, девой Марией спасенных от лап неверных.

— Достойный Христофоро, мы скажем правду. Обстоятельства трагичны. Турки перебили в Кафе тьму людей. Даже Скварчафико не повезло: его доставили в Константинополь и собираются повесить на крюке за подбородок в подвале Дворца...

— Повторите! — вдруг оживился Микаеле. — За подбородок? Сладостно слышать. Но, тысяча проклятий, разбойники и этого не сделают как следует!

— Не отправишься ли с предложением услуг? — мрачно буркнул Якобо.

— Кончайте! — оборвал консул. — Что с Габелой?

— На галерах.

— Прекрасное назначение, — одобрил нотариус, — но каналья сбежит, клянусь светлой Генуей, и тебе впрямь не мешало б проверить кандалы, Микаеле.

— А один из братьев Гуаско, Антонио, спасся. Он бежал к персам, рассказывает там о гибели Кафы.

— Это правда? Вы слышали, аргузии? — Христофор сверкнул глазами, его истощенное лицо выразило охотничий азарт. — Мы не можем вернуться в Геную, пока один из предателей оскорбляет ступнями землю.

— Консул, у меня жена и пятеро малюток, — вздохнул Иорихо. — По счастливому случаю они не успели приплыть в Солдайю и ждут меня под Генуей.

— Еще каких-нибудь семнадцать лет, — тронул Якобо консула за руку, — и ваш тезка Колумб отправится искать новый путь в Индию. Право, разумнее околоть на его каравелле от тухлой воды и червивых сухарей, чем гоняться за этим последышем и оказаться на одной скамье с гребцом из Кафы.

— Бесчестья не примем! — резко оборвал ди Негро. — Мерзавец погибнет от этого пистоля. Добрые пилгримы, где источник? Мы наполним столько бочонков, что хватит пересечь море. О горе, Черкио в руках неверных, на горе Митридат — полумесяц! Курс надо держать к берегам христиан-абхазцев.

— Пожалуйста, возьмите у нас свиную тушенку. Эту еду не надо готовить, стоит лишь разрезать кинжалом железо крышки.

— Да вознаградит вас дева Мария. Держите, вам этого хватит до Чембало, если не ограбят татары.

Консул протянул крупную золотую монету, но она выскользнула и упала в костер.

Тут донесся звук шагов, зашуршал под кедами шифер, мы слышали голоса Тягача и Паганеля.

— Э, как там, булькает? Жрать — прямо мочи нет. Галка, давай руководи...

Они усадили красавицу, толстая девушка в шортах быстро достала концентраты. Тягач подбросил дров, оглядел поляну:

— Вон в том овражке — «же», за кустами — «ме», не путать. Вообще объект годится. Как, Лель?

— Ничего, — ответила красавица. — Только колючее тут все какое-то. И как тут темнеет быстро...

— За хлебом ходить далеко, а так — порядок, — одобрила та, что была в шортах. — Кусты рубить придется, больше топить нечем.

— Ну, завтра — день здоровья, — потянулся Паганель. — Гори синим огнем — пальцем не пошевелишь.

Они были напористы и деловиты. Молча поели, слили остатки в балку, где «же», разбили палатку — все быстро, привычно, не заметив ни взошедшей луны, ни сверчков, ни шума моря. Они открыли эту землю, тут все было для них: кусты — топить, море — стрелять лобанов, балки — тоже для пользы. Все по правилам — не заставили девушек нести груз, не захлामीли поляну.

И все же я не мог представить, что у гаснущих углей можно заговорить с ними про Сурож, консула, изменника на галере, про тропу от башни к морю и про живописца-грека, покрывавшего сырую штукатурку изображениями мучеников. Они приехали в зону, что не зеленая, и завтра начнутся для них «дни здоровья» с пасовкой на песке, хождениями в рабкооп и дежурствами по костру.

Алешка, странное дело, поднялся раньше меня. Умылся, меланхолически поковырял прутом золу вчерашнего костра, поглядел на спящих попутчиков и подошел ко мне:

— Вставай, а? Пойдем, пока они не поднялись.

Идти без консервов было легко. За первым мысом мы заговорили в полный голос.

Не ловите, я отлично понимаю, что двенадцать лет — одно, а двадцать — совсем иное!

— Тогда чего он, если такой понятивый? Чего ему от тех четырех, не знаешь? В Воронцовский дворец ехать, ага? В Никитском саду сниматься? Вызывать тени забытых предков? Растолкуй — туго со временем. Потом весь год в полседьмого — «вставайте, граф, рассвет уже полощется», в метро дремать. И каждый гривенник на счету. В Суздаль никак не выберешься, а он с этой своей Солдайей, или как? Фугани его как следует, ну, надоед, спасу нет...

Вы правы, уважаемый, очереди во дворец полумилорда — жуткий кошмар, а бивни мамонтов в музеях скучны до обмороков.

Я к тому, что особенность Киммерии — парение. Прежде эта сторона славилась станцией планеристов. Восходящие потоки не только поднимают в зенит замки из кучевых облаков — они бесшумно возносили парней и девчат Осоавиахима. Но это к слову. Молодой организм в этих местах вообще способен приходить в то счастливое состояние, когда полет на одних распахнутых руках над бухтами, полынными долинами, старыми башнями становится мыслямым и желанным, только страшновато с непривычки. Отсохни язык у того, кто снова начнет нудить про шорты, открытые купальники и прочее «моральное уродство». Не познавший морской купели хуже и скучнее крещенного в волнах, и дети у первого будут бледными и послушными. Сколько — полмиллиона или около того — принимает на волны в год киммерийская часть Понта? А места хватит на миллион, на два. Но в морской пене родилась Венера. Она богиня, с ней грубо нельзя.

Я к тому, что «дикарь» — это сказано в шутку.

Конечно, веселье бактерии брожения должны быть занесены, без них и хороший сок не превратится в вино. Но если любой край — только не закупоривай, не пастеризуй себя — имеет то, что и обыкновенно, не обремененного особыми дарами человека может подтолкнуть к жизни художественной, то воздух восточного Крыма — испытано! — особенно богат животворными дрожжами. Тут столько заново увидано, столько открыто в простых и вечных материях, чередованиях, вещах, столько добротного сделано! Благодарный поклон высоким и желанным гостям, но в Киммерии жилали и хозяева.

В Старый Крым мы отправились с Таней.

IV.

О действительно стар, городок Старый Крым, бывшая столица ханов, но старость его здорова и завидна: почтенный, несуетный возраст каменщика, чабана или огородника, морщинистого и жилистого, свежего, со вкусом к бытию и покойной практичностью ума.

Грин переселился сюда из Феодосии потому, нам рассказывали, что здесь была дешевая жизнь. Но к тому ж, хочется догадываться, тут была тишина, люди занимались своими делами: выращивали табак, собирали и сушили сливы, знаменитый «изюм-ерик», стригли овец, и некому было интересоваться замкнутым художником автором «Алых парусов», которого уже честили за вредный символизм.

Шурик давал Алешке на рыбацкий хутор роман «Блестающий мир» — про человека, который летал. Не на машине, не с помощью крыльев, а просто так, желанием. Алешкин пересказ Татьяна слушала с любопытством, но интересовало ее одно: как именно летал тот Друд? Что вибрация колокольчиков поднимала на воздух лодку, не удивляло: все же вибрация! А откуда у того бралась невесомость? Алешка, согласно книге, твердил, что для Друда летать было легко, обычно, а это не удовлетворяло, интерес иссяк.

Поросшая спорышем и калачиками улица, где машина — великая редкость. Акации, приземистые шапты грецких орехов и заросли чернослива скрывают черепичные крыши. Тишину прерывают только голоса молодых петушков и звон ведер у колонки. Заборы, калитки, подведенные синькой приступки белых домов — все выгорело на солнце.

И вдруг сквозь планки ограды — ярчайшее пятно. — Смотри, Алешка, — пароход! — охнула Татьяна.

Перед маленьким, в два окошка на улицу, белёным домом с двускатной черепичной крышей, на травяной клумбе, стояла яхта с алыми парусами. Цвет шелка был действительно тот гордый цвет утренней зари, глубокой радости, но саму модель мастер выкрасил не белилами, а серо-голубой защитной краской, какой покрывают борта и надстройки военных кораблей.

Мы пришли рано; девушка филологического вида, с мокрой тряпкой в руках сказала нам, что в музее сейчас уборка, придется зайти через два часа.

Но тут вышла с полной лейкой седая, невысокая, прямая женщина и принялась поливать траву вокруг яхты. Судакский кодекс поведения («Бабушка, давайте помогу») позволил Тане узнать, что модель сделали два старых севастопольских матроса, сами же и привезли. Моряки любят Грина. А Таня читала «Алые паруса»?

— Ага, — кивнула судачанка и заелела.

— Понравилось или нет? — с интересом спросила старушка.

— Ага, — торопливо кивнула Таня. — А она плавает, выпускали?..

Перед нами была хозяйка феерии: автор преподнес и посвятил «Алые паруса» Нине Николаевне Грин.

Сидя в тени молодого ореха рядом с плетеным креслом хозяйки, мы узнали, что этот дом Нина Николаевна купила у двух монашек, вернее, выменяла на золотой браслет с часиками — свадебный подарок Александра Степановича.

— Боялась, что узнает, рассердится, поэтому долго держала в секрете. Но все обошлось. «Вот допишу «Недотрогу» — будут и часы и браслет». Место тут очень здоровое: ведь пятьсот метров над морем.

Мы узнали, что Александр Степанович был обыкновенным человеком. То есть никаким не фантазером, не чудачком, а старательным работником, знавшим, что он должен делать.

Был резковат, прям в симпатиях и антипатиях, но нелюдимым не был. Пока с ними жила мать Нины Николаевны, искусная хозяйка, и водились деньги, нередко собирались гости.

Был злым курильщиком, любил сухое вино, но мог обходиться столь малым, что нужда не замечалась.

Был отличным ходяком, они вдвоем исходили всю долину речки Чурук-Су, все окрестные горы. Но чудачества, благоглупости не от мира сего? Нет, их за ним не водилось. Он был писатель. От нужды старался отбиться работой, а не луком и стрелами.

Разговор же получил такое направление вот почему. Небылицы о Грине, пусть и красивые, сочиняют сами писатели. Причем большие и умные, любившие его книги. У одного человек узнает, что Грин сделал

себе лук и, чтоб прокормиться, охотился вблизи Старого Крыма. Солдат, матрос Грин — и с луком?

Другой писатель зачем-то написал, будто Грин украл свою комнату деревянной статуей, которая подпирает бушприт парусника. Или обломком статуи, головой — во всяком случае, «на стену, где у других висят фотографии, этот человек плеснул морем!».

Никаких статуй мы не увидели. Да и комната так мала, что и поместить что-то крупное немислимо. Видимо, домыслы эти — попытки объяснить читателю, помочь ему понять, как «человек летает».

А объяснять, пожалуй, и трудно и незачем.

Герой Грина, «прямой, как пламя свечи», настолько сильно чувствует и хочет, что для него совершенно естественно влететь осенней ночью в окно маяка, перебежать по волнам залива, одеть в шелк корабль. Это обычные, рождаемые его натурой движения. Писатель считает парение духа нормой, остальные состояния — аномалией, и никаких снижений!

Необычное скорее в действительном, непридуманном. Грин уезжает от моря, от Зурбаганов и Лиссов, в предгорья, в степь... Обитает в таком же жилье, как и судакские мои тетки, солдатские вдовы, жившие после каждого дождя; нуждается в куске хлеба, в керосине для лампы и в вязанке дров, но работает с твердой верой, что проповедь «делать так называемые чудеса своими руками» будет услышана, что его духовная мера будет принята. Испытывал за жизнь столько, что хватало бы изуродовать десятилетия, он обогащает русскую литературу неизвестным ей мастерством раскованной мечты — это обычно?

Жена его, женщина на восьмом десятке, живет по-прежнему трудно, на крохотную пенсию. Есть в ее жизни такое, чего нельзя исправить и о чем не хочется говорить в роскошный и добрый августовский день. Есть и служение Грину, составляющее суть жизни. Она сама содержит музей, точнее, смотрит за домиком. Ведь музея никакого нет, в путеводителях даже дом не обозначен, просто заходят туристы, группы школьников, проезжие, услышавшие, что тут-то и жил сочинитель странно волнующих книг.

Тут деверь и спросил про стихи о небесной глине: не знает ли их Нина Николаевна?

— Да-да. У меня стихи эти были еще недавно. Лежали на столике у Александра Степановича. Но их... (она со вкусом выговорила озорное словцо) сперли!.. Теперь не помню, память стала не та.

Шурик раздосадованно крякнул, но вслух укорять за потерю бдительности не стал. Мы сказали, что идем отсюда на могилу Александра Степановича.

— Тогда повремените, я с вами пошла цветов.

Нина Николаевна взяла ножницы, прошла в садик и вскоре вернулась с букетом великолепных, нежно-оранжевых, впрямь рассветного цвета роз.

— Знаете, какой это сорт? «Глория деи», «божья слава». Верно, в монастыре каком-нибудь вывели...

Кладбище тоже было выгоревшее и сероватое от пылини, «серебряной» краски оград и запяленных листьев сирени. На сухом этом взгорье деревья, видно, и не слишком старались сажать.

И снова изящная необычность: над могилой Грина рдело дерево алычи.

Жизнь диковатой родственницы слив, видать, нелегка: листья рано покраснели, зажелтели, кое-где прорылся фиолетовый даже оттенок, кора створа в салатом лишайнике. И все же крона осталась бы зеленой, если бы не такой урожай ягод — не красных, а именно алых, облепивших все ветви.

И что дерево было не редкостное и не садовое, а вроде бы чуть лесное и очень неприхотливое (другому бы тут не выжить), что солнце не обесцвечивало, а пестрило и красило его, что ягоды были на вкус

терпковаты и утоляли жажду, — все это было так точно, верно, что лучше не выдумать. Ягоды нижних ветвей были ошипаны, но не все, а с какой-то деликатностью, а над беломраморным обелиском свисал повязанный на ветку красный галстук. Это такой обычай — оставлять алыче матросские воротники и форменные пионерские повязки...

Мы согрешили: одну розу, едва распустившуюся и ярче других окрашенную, не поставили в воду. Взяли для могилы Волошина. Меж ним и Грином, как говорила Нина Николаевна, «было тепло», и мы подумали, что это ничего — привезти в Коктебель хорошую розу от Грина.

Через полчаса в глубом тумане показались купола прибрежных дач, «белая басина» — водонапорная башня, тополя, черепичные крыши, аквамаринавая полоса моря, и я, как в судакские годы, почувал холодок волнения: мы подъезжали к городу.

V.

В Феодосийской бухте стояли суда.

Их было много, и залив перестал казаться громадным. Были они очень современные, стремительных линий, стояли в разном положении к солнцу: блеск моря лишал их, назерно, теней. Это было как праздник: легкие барашки от бриза, рыжий берег, густая дымка над Феодосией и такие красивые суда.

Алешка был восхищен полностью, до нежелания говорить, до грубого «отстаньте».

Суда напомнили нам о флоте, о штормах, об Айвазовском. И мы послушно сбежали к парапету набережной, к тополям, в тени которых сидел и глядел на море (в рабочей блузе, с палитрой и кистью) живописец главного штаба российского флота.

«Феодосия — Айвазовскому». Насколько знаю, это единственный в Союзе памятник с таким посвящением: город выступает как единое лицо, как полис.

Впрямь поразительная судьба. Сын небогатого купца-армянина («айвас» — слуга-армянин у мусульман) работами феодосийского градоначальника определен в гимназию и со стипендией Николая Первого — в Академию художеств. Слава быстрая, блистающая, пенная, признание Европой, десятки выставок, орден Почетного легиона и путешествия с царем, моря, заливы, острова; фантастическая плодovitость, теория о недопустимости писания с природы; умение держать в памяти, как ведет себя гребень волны, как пучина упрямится лучам, как мерцает море в полнолуние, а в итоге — «известный маринист». Не великий художник, а маринист — известный, виднейший, прославленный... То есть как бы не великий полководец просто, а знаменитый артиллерист, кавалерист или мастер водить пехоту.

Романтик подлинный, любовь к морю страстная, да что там — открытие моря!

Но его бури никому не приходит в голову принять за символ. Образ бушующего моря очень популярен, на сходках звучит языковский «Пловец», «Песня о Буревестнике» лишь по-новому повторит привычное. А «Девятый вал» — это ведь тоже разгул неукротимых сил, не так ли?

Не так. Стихия при всем видимом своеволии удержится в рамках: плывущие на мачтах спасутся, ветер не совершит непредвиденного, шторм сам тяготеет к штилю.

Тут ничего не попишешь: мировоззрение. Минуты десятилетия, гремят передвижки, Россия узнает себя в «Бурлаках» и «Утре стрелецкой казни», а бывлой

стипендиат благодетеля с оловянным взглядом все повторяет себя. Он написал Чесменский бой, но не мог бы написать Цусиму. У него есть севастопольский матрос, пришедший помянуть своих на Малахове курган, но не могли возникнуть моряки «Очакова» и «Потемкина». Художник, не забывающий в автопортретах ни одной звезды, кажется, неиссякаем — шесть тысяч картин, подумать только! А столичная критика все-таки весьма умеренна в оценках.

Ну и бог с ними, столичными, он счастлив в своей Феодосии. Город озарен его известностью, чуть ли не в каждом доме — картина с его подписью, он добр, щедр, заботлив. Провел из своего имени воду (Феодосия спокоен веков жаждет), заранее завещал городу галерею со множеством работ, учит живописи одаренных мальчиков. Правда, с учениками не клеится. Грек-чабаненок Куинджи очень недолго копирует морские виды, сбегает. Богаевский, отправленный в академию, срезался на экзаменах, и только заступничеством того же Куинджи принят, чтоб больше никогда не рисовать моря.

Что удалось, — это создать художественную атмосферу. Город полюбил живопись.

Ведь все так — повторения, благонамеренность, эффекты, но вдруг сквозь воспитание академии, сквозь самоцензуру прорвется недожженный талант — и рождается великолепная импровизация «Среди волн». Громадное полотно, созданное уже преклонных лет человеком, — как прорубь в стене: и пучина подлинная, бездонная, едва на сажень только признанная солнцем, и живая, сбегаящая пленка пены и ветер, соленый, неукротимый ветер над водной планетой... Только вода, ничего больше, но уже не окантованное картинными скалами, оживленное кораблями море, а грозный океан врывается в удобный, устроенный дом, свистит и грохочет — и не нужны звезды, чтоб признать живописца могучим, прощаешь ему и убогую помпезность «Екатерины Великой в Феодосии» и нынешнюю симпатию заведующих чайными.

Для нас галерея была чудом света. Сколько раз ни посылали тебя в город, столько раз и заходил сюда. Тут была стеклянная крыша, тут висели красивые картины — красивые все до одной, и если «Ливень в Судаке» ты отличал по понятным причинам, то и Наполеон на розовой скале и пышный выезд Нептуна нравились несколько не меньше. Видел Латри, Лагорио... И просто любопытно, что за все хождения не зацепилось в памяти это имя — Богаевский, Константин Федорович Богаевский.

«Он родился среди камней древней Феодосии, стертых, как их имена; бродил в детстве по ее размытым холмам и могильникам; кенегезские степи приучили его взгляд разбирать созвездия и наблюдать клубящиеся облака; зубцы коктебельских гор на горизонте были источником его романтизма...

В годы детства Богаевского Феодосия была похожа на приморский городок Южной Италии...»

Так уже в советское время писал о своем учителе и разом ученике Максимилиан Волошин. И еще он писал:

«Караимские и татарские кварталы Феодосии, глинобитные постройки с плоскими крышами, монументальные каменные ворота и такие же дома с глухими арками дают ему материал для постройки фантастических городов... Он начинает постигать гармонию мировых смен и равновесий. Он становится творцом и свидетелем космических и земных трагедий и идиллий...»

Другие искусствоведы в советские же годы, называя Богаевского, творца «героического» пейзажа, одним из крупнейших русских художников, писали:

«Тот, кто полюбил эти места, не может не полюбить Богаевского. А тот, кто полюбил Богаевского,— для того Киммерия сделалась второй родиной».

Еходишь в его зал — и вдруг точно легкий удар тока: настоящее! Все будто знакомо тебе и словно впервые увидено. Башни Солдаи — неужто они так громадны и грозны? Бухта Коктебеля, фронт гор за Меганомом, панорама Феодосии — все словно собрано из тех же частей, но иначе. Ну это же Богоданная, факт! А странное какое освещение — словно белой ночью, солнца нет, а все зримо. Не во сне ли он увидел город таким безлюдным, без знака времени года, без знаков эпохи? Делателя нет, увидено сделанное. Или вот — «Тавроскифия»: синие горы... нет, не горы, а соединение гор, крепостей, пиков, башен, не сразу различишь, где деяние природы, где — рук. Вечны мощные гребни побережья, неразрушимы и создания людей. Человек — соперник изначального созидания.

И вот, словно на фундаменте тысячелетних кладок, вырастает светлый монолит — Днепрогэс... Лес нефтяных вышек — он красив, как и лес настоящий, дающая радость.

Живописец-философ, он пробился сквозь условную фантастику, сквозь декоративность, понял и принял пафос первых пятилеток, вдохнул воздух преобразующего деяния, и пейзаж его стал героическим без всяких кавычек.

Из всех заслуженных деятелей искусств РСФСР Богаевский, наверно, незаслуженней всех забыт. В Третьяковской галерее немало его вещей, но в экспозициях — только одна, не из лучших.

Шурик тянет за рукав и тихо:

— Пошли к «Атомной войне».

Так деверь называет картину «Облако». Тревожное, сжимающее сердце видение: над неизвестным, зримым лишь в контурах, но прекрасным городом — ужасающее завихрение. Тонкую, но такую дорогую пленку жизни грозит прорвать дьявольская сила. Библейское происшествие с Гоморрой? Прозрение — водородный взрыв? Или предчувствие близкой войны, в которой он, мастер, погибнет, а милая ему Киммерия испытает страшные разрушения? Где ветер, чтоб раздуть смерч? Надо, надо раздуть!

— Это и есть Богаевский? — разочарованно спрашивает Алешка. — Ты ж говорил — «историческое»...

— Говорил.

— Я думал: в шлемах, в башнях, у пушек...

— Шлем хоть я тебе сделаю, — говорит Шурик, — а ты скажи, как он до атомного грибка додумался? Ведь погиб-то в сорок третьем.

— Шурик, точно сделаешь? С султаном?

— С падишахом. Раз полный билет взяли, надо шурупить, а не паркет натирать.

Добавить к моральте нечего. Но я вдруг замечаю:

— Татьяна, а где роза?

Роза Грина исчезла. Мамзель в растерянности. На пирсе еще была? Да. А когда с мороженщиком кокетничала? Не кокетничала. А у Доковой башни, у греческих львов, на бульваре? Но в галерее уже не было? Устраиваем персональное дело. Не кается:

— Сдалась кому-то ваша завялая роза!

А ведь верно! Волошину положено носить камни, разноцветные камни Коктебеля, а не цветы, как же мы забыли... Значит, вопрос снимается. Роза не потеряна, а подарена. Феодосии.

Старый, жаждущий города, пахнущий полынью и пылью мостовых, город иссякших фонтанов, заброшенных древних мечетей и очередей у колонок, ты доживаешь последние дни. Скоро ты исчезнешь.

Уже на северной окраине видны шеи экскаваторов, к тебе подошел Северо-Крымский канал, и на дне-

провскую воду земля ответит зеленым взрывом. На твоих холмах повиснут сады, в кронах чinar, тополей, вязов потонет мозаика твоих крыш, скроются башни Климента и Криско; санатории обегут дугу залива, и возникнет здесь шумный, тенистый, до блеска промытый курорт, проходящие стальные фрегаты будут заполнять свои трюмы целыми озерами мягкой украинской воды.

А старая Феодосия исчезнет. И никто больше не увидит ее так, всю разом, не вдохнет жара ее камней, дымка летних кухонь, духа полыни, никто не узнает в ней городов Богаевского и гриновского Зурбагана.

Прими в знак прощания розу, старая Кафа.

VI.

Он избирал себе место долго. Хороший ходок, художник, он исходил и запечатлел в акварелях каждый уголок Коктебельской долины. Завещал для себя этот холм.

Холм достаточно высок, чтоб видеть разом и готические зубцы Карадага, и планерные плато во глубине котловины, и мыс Хамелеон, и море километров на двадцать вглубь, и дом, дом Волошина на самом берегу, этакий сухопутный корабль с палубой вместо крыши. Могила обложена крупной галькой, верхний слой — почти сплошь из дареных камней: одеситы, челябинцы, харьковчане, кто-то из Гурьева, москвичи, снова москвичи. Мы камня не принесли: сильные штормы почти полностью унесли в море гальку пляжа, и теперь колонны самосвалов возят балласт. Надо было ждать, пока море обточит шифер и щебенку. Лет пять, наверно, ждать.

Наш учитель Ефим Францевич Карпович, судакский метеоролог, художник и краевед, читавший нам географию, имел обыкновение говорить:

— Ты что зарос, как Волошин?

Или:

— Вы что это — купаться в апреле? Какие Волошины нашлись.

Мы усвоили: Волошин — чудак.

Теперь, читая воспоминания (а их много, уж на целую книгу), убеждаюсь, что и для современников он был чудачком.

«Он был грузный мужчина с огромной головой, пскрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни; ходил в длинном древнегреческом хитоне с голыми икрами и сандалиями на ногах. Вокруг него группировалась талантливая местная и приезжая молодежь. Сами они называли себя «обормотами» и яро враждовали с благой частью населения...» (В. В. Вересаев). «...нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека... усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, желанное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре» (И. А. Бунин).

И только после такого вступления обычно заходит речь о Волошине-поэте.

Он считался одним из видных поэтов предреволюционных лет России — парнасцем, символистом, эстетом. Видно, он был меньшим поэтом, чем сам себе казался, и фраза, написанная им о другом — о том, «у кого мысли рождаются из слов», — может быть стнесена и к нему самому.

Манерность, стремление к красизостям, плен у сло-

вес — не верится, что писано дюжим мужчиной, не декадентской дамой:

Скрыты горы синью пятен и линий —
Переливами перламутра...
Точно кисть лиловых бедных глициний,
Расцветает утро.

Названия циклов апокрифичны, изысканны — «Звезда Полюнь», «Армагеддон»... Это вот к чему: стихи Волошина давно уж стали библиографической редкостью, отсюда — легенда, любопытство, хотя забвение многого из написанного им закономерно и справедливо.

Умный и недобрый Бунин, на склоне жизни не жалевший желчи, тотчас разглядел за внешностью «крепостного мужика, Приапа, кашалота» натуру порядком самовлюбленную, в чем-то искусственную и поиронизировал — потому было ему известно, что самому было присуще: и «сделанная внешность» и постоянное видение себя со стороны. Только дружелюбия, тяги к расположению людей, гостеприимства, той «любезности» не было в Бунине, и этого он Волошину не простил. И еще не простил «слишком литературного воспевания» происходящего в революционные годы, иначе — попытки разобраться во всем, нежелания стать в лагерь белых. Бунин, благословлявший белые карательные полки грамотными, отточенными стихами, не мог оправдать поведения Волошина.

«Максимилиану Александровичу Волошину! С доброй памятью о Вас шлю Вам эту книгу, где пока-

заны мы, которым в 1918—20 гг. Вы оказали смелую помощь в своем Коктебеле, не боясь белых.

Вс. Вишневский».

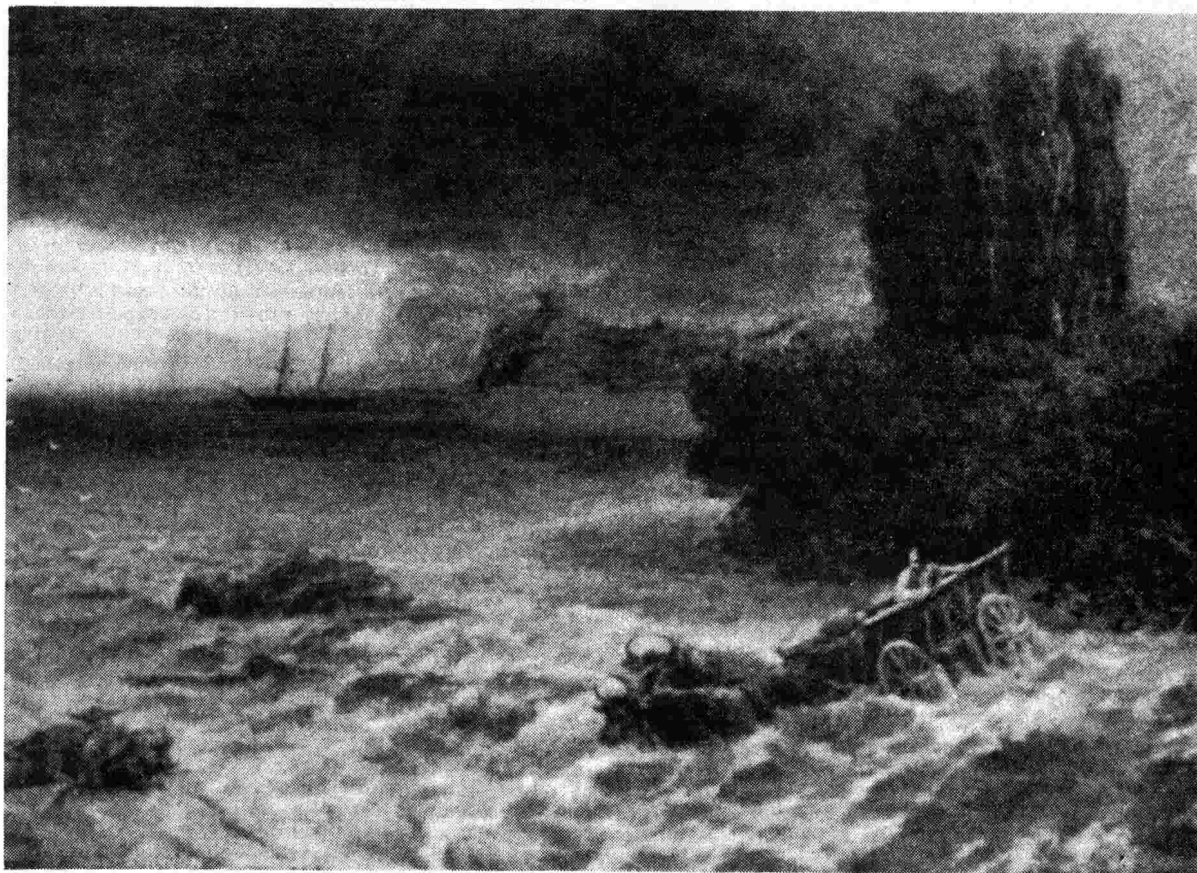
Экземпляр «Первой Конной», хранящийся в коктебельской библиотеке с этой авторской надписью, уже аттестует. В девятнадцатом году Волошин живет, как он сам заявляет в письме, «с репутацией большевика». В Народном университете Феодосии он читает красноармейцам, штурмовавшим Перекоп, лекции о Леонардо и Микеланджело. Советская власть сохранила за ним дачу, уже ставшую фактически домом отдыха писателей.

Но не к чему задним числом выправлять былое. Волошин старался стать «над схваткой», гордился тем, что в доме его спасались «и красный вождь, и белый офицер», изображать его отказ от эмиграции актом политического прозрения нельзя. Он остался в Коктебеле, потому что здесь была вся его жизнь. А оставшись, волею обстоятельств принужден был многое обдумать. Работал он много, возмужал как поэт, стал строже, проще, мудрее.

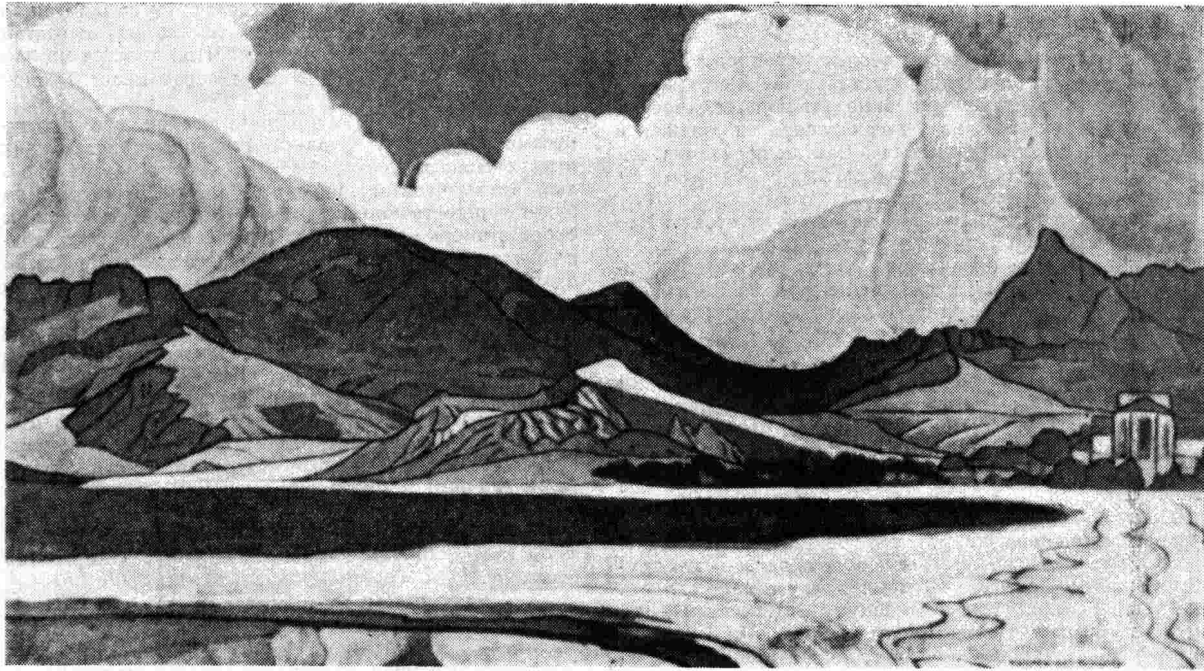
Его стихи советских лет о Крыме — самое, наверно, крепкое из созданного им. Это гимны маленькому уголку планеты, где человек становится свидетелем течения цивилизации. Своим Коктебелем он готов угощать весь Союз:

Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом открыт навстречу всех дорог.

Его пейзажная лирика прямо-таки научно точна,



И. К. Айвазовский. Ливень в Судане.



М. А. Волошин. Коктебель.

акварели же его заказывались геологическими партиями: специалисты получали от его работ более точное представление о геологии района, чем от фотографий. Чаще же поэт и художник выступали «в соавторстве»: под акварелью появлялась стихотворная подпись:

Остатки генуэзских крепостей
Еще стоят на страже лукоморья.

Или лунный пейзаж:

Медный бубен ночи.

«Художественное краеведение» — можно было бы сказать о большом цикле волошинских работ, если бы не нагнетало скуки второе слово, родящее в сознании чучела, окаменелости, тишь районных музеев.

Вдохновение гида, водителя глазастых, удивляющихся, верящих людей — есть такое или нет? Во всяком случае, Волошин им обладал. Фундаментально образованный, читавший на девяти, кажется, языках, знаток живописи и архитектуры, он умел заразить Киммерией; свой Карадаг, фантастические его бухты, каменные чаши, россыпи сердоликов он показывал Горькому и Шалапину, Врубелю и Эренбургу, десяткам молодых литераторов, художников, приезжавших в «странноприимный дом». Он готов и теперь — томиком стихов, альбомом репродукций — вести по тропам потухшего вулкана веселые толпы «дикарей».

Нет такого томика, не приобрести и открытки. Заботами вдовы Волошина Марии Степановны, ленинградского литературоведа В. А. Мануйлова наследство поэта сохранено, содержится в порядке. Рукописи ждут читателя.

Можно административным порядком запрещать порчу леса на приморских склонах Карадага, можно советить туристам: не портили бы вы, милые, такое чудо горами ржавых консервных банок, надписями, топориками своими. А можно поставить у дороги на спящий вулкан пилу с надписью:

Из недр низверженным порывом,
Трагическим и горделивым,

Взметнулись вихри древних сил:
Так в буре складок, в свисте крыл,
В водоворотках снов и бреда,
Прорвавшись сквозь упор веков,
Клубится мрамор всех ветров —
Самофракийская победа!

Это ведь правда, Карадаг — Ника Самофракийская среди гор Кавказа и Крыма, от Батуми до Дуная нет ничего подобного. И посмотреть бы, какой способ охранить чудо будет плодотворней...

Свой дом Волошин завещал Союзу писателей. За десятилетия рядом с дачей-кораблем вырос целый поселок — знаменитый «Дом творчества», но по-прежнему самым интересным остается уютный коктебельского эрудита. Мы увидели здесь огромный бюст древнеегипетской царицы Таиах — Волошин привез некогда этот слепок из Каира; редкостную морскую раковину — она, по преданию, служила Врубелю «цветовым камертоном» во время работы над «Царевой Лебедью»; громадное собрание книг античных и русских, французских и итальянских авторов; стол Загоскина, бюро Алексея Толстого, картины знаменитых мастеров... Как уцелела эта обитель муз в годы оккупации?

Мария Степановна Волошина (у нее стало неладно с глазами: от солнца режет) проходит затененной комнатой и упирается руками в косяки двери:

— Вот так стала в дверях, когда они пришли, и сказала: «Расстреляйте, тогда переступите!» Именно так. Помялись, выругались и ушли.

А что это за брус на стене — окован изъеденной временем бронзой, да и сам какой-то необычно старый?

— Часть форштевня древнего корабля, — объяснила Мария Степановна. — Максимилиан Александрович очень дорожил этой находкой. Вы знаете, что вдоль этих берегов проходили корабли Одиссея?

— Вот ведь вечно напутают, — укоризненно говорил деверь на лестнице, имея в виду, ясное дело, пишущий люд.

На прощание устраиваем себе изысканное удовольствие: отправляемся купаться в Капсельскую бухту, за старинную винодельню Архедрессе, под самый мыс Меганом, где и теперь ни души, а в спокойных лагунах, вымытых в плитах песчаника, видеть каждый стебель водорослей.

Татьяна придумала игру:

— Вы будете подонки, а я на вас буду стоять. Кто дольше под водой пройдет, тот — гордец.

Звание гордеца оспаривают Алешка и деверь. Силы неравные: Шурик с сидящей нерендой на плечах почти пересекает лагунку. Вылажу обсохнуть и оглядеться.

«Киммерия печальная область»... Да нет же, Гомер, — веселая! Вот не подкатила при расставании сбывшая тощица и в горле почти не першит. Вид синеватых гор, громада скалистого мыса, степная тишь Капсели дают ощущение счастья. Такие моменты редки, но не они ли делают жизнь золотоносной породой?

Привет, Меганом, ты больше похож на медведя, чем засмотренный Аю-Даг, его греки звали не Медведом, а Бараньим Лбом! Твои синие обвалы — это трубы органа, выходящие из моря, и так славно глядеть на твою полинялую бурую шкуру с домиками — кубиками рафинада — на самом хребте. На обрывах твоих живут вороны, они древние, мезозойские, и забавы у них отчаянные — падать со скалы в обрыв над морем и с шумом в перьях выходить из пике, похохатывая каменным клеткотом. Привет, Георгий, гора с родником у вершины!

Привет вам, ящерицы, привет, крабы-цыганки со следами подковы в серединках панцирей, привет, сухохрылые кузнечики в кустах змеиной травы — она названа так мамами, чтобы мы не ели головок с семенами. Привет, полынь-трава, заставлявшая плакать ханов, привет, плети каперсов с зелеными снаружи и алыми внутри бомбочками плодов, привет, тамариск с красноватыми теплокровными прутьями и перистой мягкой хвоей, пахнущей зноем и ежевикой. Привет тихим лагунам, творящим жизнь! Вон новый всход — двое голенастых, держа в генах опыт всех земных эр, плещутся в прозрачном тепле. Привет, белые барашки на синем выходе из бухты и охряный ялик на волнах у Алчака!

Привет, Крым, сухой и крепкий, колючий, каменистый, с почвой, насыщенной ароматами и терпкостью, где все, что умудряется вырасти, исполнено цепкости, вкуса, упругости. Привет, земля непрерываемой жизни, где меч и огонь никогда не могли одолеть заступа и мастерка!

Меня званием гостя, пожалуйста, не огорчай, но тех, длинноногих, сегодняшних, привет, как ты умеешь. Облужи! Не оскорбляйся, встретив непочтительность или равнодушие: ведь среди них, никогнито, Пушкины.

О чем я думаю? Чтоб устроить тут род школы тех-

минимума? Ой, нет! О новых очередях в галереи, о том, чтобы колоннами организованных был вытопан весь спорыш на заветной улице? Чтоб простая могила на холме превратилась в холм сердоликов? Тысячу раз — нет.

Я не предполагаю — я просто уверен, что под отвесами Карадага и Судакской крепости, в глубоких бухтах Нового Света и Коктебеля будут видеть белый трехмачтовый корабль с алыми парусами, он будет торжественно входить в Феодосийский залив и бросать якорь недалеко от пляжа, чтоб ребяты подплывала и отдыхала на звеньях его цепи. Ночью на палубе будут устраивать концерты. И это будет не ряженье, не аттракцион, а только прогулочный корабль для счастливых людей, плавающий памятник писателю. Это ведь не менее реально, чем возрождение Соловков и Суздаля, а руки дошли и до них.

...А в самый разгар сезона сюда на недельку-другую возвращается магическое золото скифов и Черноморской Эллады — те немислимые, сверхъестественные серьги Феодосии с квадригой, Никой, крылатыми гениями и пропастью прочего в объеме фасолы, и диадемы, и гривны, и фиалы, и чеканные колчаны-гориты, и монеты с профилем Македонского, и олени, барсы, грифоны скифского «звериного» стиля...

...А в праздник моряков имеет место финал состязания на «чайках», казачьих челнах — переход от Севастополя, скажем, до Керчи.

...А каждый поэт, рассказчик, проживающий путевочный срок у обители Волошина, отдает один вечер чтению своих вещей перед гостями Коктебеля, пешими и машинными. Не беда, если на объявленную встречу приходят только двое, тещ и слушатель: хоршим строкам этого вполне достаточно.

Не напрягая фантазии, вижу: в цоколи новых домов строители закладывают плиты древних построек, а на бульварах, набережных, как сейчас античные львы пред домом мариниста, поставлены подлинны амфоры, чем-то интересные камни.

Уверенность, что все это — раньше или позже — будет сделано и устроено, идет от того, что в местах иных нечто подобное уже отлажено, организовано, служит. А раньше или позже этим оценятся выдумка, серьезность и энергия людей разных возрастов, руководящих освоением «курортной целины» (да, так говорится) восточного Крыма.

Только как забывать: все затеи, даже самые тонкие, мастерски исполненные, — лишь помощь настроиться. Уж если плавать всякий учится сам, то чувствовать землю — и подавно.

Паруса алеют тайно, отдельно для каждого, в редкие мгновения свободного и счастливого парения.

Зато их шелк не выгорает. Достаточно раз появиться им перед тобою, и долгие-долгие годы сможешь усилием сердца вызвать страну, где горы по-небесному сини и кажутся комьями глины со стола изначальных скульпторов.

Ноябрь, 1968 г.



ПУБЛИ-
ЦИСТИКА

В. Сухомлинский,
заслуженный учитель УССР,
член-корреспондент Академии
педагогических наук СССР,
Герой Социалистического Труда

СЕМЬЯ НЕСГИБАЕМЫХ

В школе, где я работаю, 650 детей, подростков, юношей и девушек. Я знаю не только каждого ученика, но и их матерей, отцов, дедушек и бабушек.

Каждое утро я встречаю своих учеников, всматриваюсь в их лица, вслушиваюсь в звонкое детское щебетание. День за днем, неделя за неделей, год за годом в этих утренних встречах и потом на протяжении всего дня открываются передо мной безграничные человеческие миры. В одних глазах вижу радость, в других — горе; в одних глазах дети несут из дому, от отцов и матерей, мир и покой, в других — смятение и тревогу, равнодушие и разочарование, обиду и возмущение, стыд и унижение...

Так вот о тех, кто в смятении и тревоге.

Дети — увеличительные стекла зла. Эта мысль А. Н. Толстого стала для меня своего рода окошком, через которое я постигаю по крупице великую мудрость воспитания. Не только увеличительные стекла зла, но и увеличительные стекла добра. Но добро и радость в каждом индивидуальном детском мире почти одни и те же: жизнерадостный, счастливый и духовно здоровый Петро, такой же, как и жизнерадостная, счастливая, духовно здоровая Олеся. А зло и горе — как они многолики! Годы необыкновенной нашей работы научили читать в детских глазах тончайшие оттенки, отличать смятение от негодования, страдание от униженного достоинства, возмущение от растерянности и изумления, стыд от обиды, наглость от самоуверенности, бессердечность от безмятежного равнодушия, озлобленность от злорадства. Жизнь научила видеть детей с большой душой.

Горе или зло, если они окружают ребенка в семье и являются для него средой, ранят его сознание, управляют его жизнью. Он изболевает, измучен; вся его жизнедеятельность совершенно не такая, как у ре-

бенка, здорового духом; а ведь и того и другого мы одинаково учим, одинаково ведем по пути познания, одинаково заботимся об их мышлении, о развитии их способностей.

Я убедился: есть тысячи вариантов человеческой психики, в формировании которых допущены ошибки; к несчастью, ошибки и невежество семьи иногда, бывает, усугубляются ошибками школы. Тысячи самых разнообразных и самых неожиданных, порой самых невероятных прикосновений к детской душе ранят и уязвляют ее — и в результате боль, обида, угнетенность, страдание. От состояния духа зависит не только здоровье, но и поведение, все нравственное развитие человека, осознание и переживание им своего места в мире, вхождение его в человеческую среду, включение в общество, формирование и утверждение творческих сил личности.

Все без исключения трудные дети — трудные в смысле их нравственного развития — это дети с душевной травмой, с надломом. У меня сердце обливается кровью, когда я вижу в детских глазах тоску, безнадежность, ни с чем не сравнимое детское переживание домашней беды — пьянства, бессердечности, равнодушия родителей, бесчеловечного их отношения друг к другу и к детям. Открытая рана души у ребенка из такой семьи ежедневно посыпается солью и прижигается раскаленным железом — вот что такое детская жизнь в семье, где постоянны выпивки, скандалы, шумные сцены драк и короткое затишье пьяных примирений. Огромным злом, которому подвергаются в семье отдельные дети, является ремень, подзатыльник. Душа ребенка, которого бьют, — это окостеневшая, ставшая бесчувственной опухоль, под которой гнойник.

Большое зло приносят и те любвеобильные матери и отцы, которые избавляют своих детей от какого бы то ни было труда, превращают их жизнь в безбед-

ное и безмятежное существование, перекармливают радостями, годами выдерживают в душевной теплице; потом, выйдя на свежий воздух, под горячее солнце жизни, человек гибнет или переживает много мук, пока приспособится к условиям настоящей, а не тепловой жизни.

Есть множество Других оттенков горя и зла, которые приносят дети в школу. Это и горе из-за утраты близких, и стыд, и страх, и возмущение, и обида, и унижение, и жестокое разочарование в человеке, которого ребенок считал хорошим, и мысль о смерти. Так или иначе ребенок сгибается под ударами жизненных испытаний, непосильных для него. Его нужно не столько учить, сколько врачевать, выпрямлять душу. Да, выпрямлять человеческую душу и сделать ее несгибаемой — в этом я видел миссию школы, свою миссию педагога по отношению к этим обездоленным людям. Как это сделать, подсказала сама жизнь.

Был пасмурный осенний вечер. Я проверял ученические тетради. Вдруг тревожный стук в окно. Я вышел и увидел девятилетнего Мишу Любченко. Он прильнул ко мне и зарыдал. Я чувствовал, что о несчастье, которое, вероятно, произошло дома, мальчик не скажет ни слова. Оставив ребенка под присмотром жены, я пошел к родителям Миши.

У Миши Любченко отец — пьяница. Мать, добрая, трудолюбивая женщина, безропотно терпела побои и издевательства мужа. На глазах у мальчика иногда происходили дикие сцены. Мальчик стал замкнутым, у него не было товарищей. Часто я оставлял его ночевать у себя дома. Школа обращалась с ходатайством о лишении отца Миши родительских прав, но нам отвечали: до тех пор, пока его жена не обратится с жалобой, ничего предпринять не можем. А жена не обращалась, терпела. Отец Миши, работая кладовщиком, растратил много казенных денег. В тот день он пришел домой в сумерки. Сказал Мише: «Пойдем в сарай, выстрелишь из ружья». У отца было охотничье ружье, и выстрелил из него было мечтой мальчика. В алкогольном чаду отец взял ружье, пошел в сарай, повел за руку сына. В кромешной темноте укренил ружье на столбе и сказал Мише: «Вот, нажимай на крючок!» Миша нажал на спусковой крючок, раздался выстрел — отец, ставший против дула, упал мертвым...

Возвратившись домой, я целую ночь сидел с Мишей. Мальчик тихо стонал... В ту ночь стало ясно, что Мишу нельзя ни на минуту отпустить от себя. Перед моим мысленным взором прошли тогда все дети с больной душой. Они должны быть со мной, надо не дать им погибнуть.

Вот третьеклассник Гриша Козаченко. Четырехлетним ребенком, за несколько лет до школы, малыш нашел в поле патрон, играл им; произошел взрыв. Грише выбило глаз и искалечило руку. Гриша был единственным ребенком в семье. Сострадание ослепило отца и мать, они забыли, что придет время, когда сын их станет взрослым человеком, что у него будут свои дети, что ему — каким бы ни было его личное горе — придется трудиться. Мальчик был окружен в семье всеобщей заботой и... захваливанием. Шести лет он выучил азбуку и писал все буквы — это приводило в восторг и родителей и бабушку с дедушкой. Отец и мать приглашали соседей: поглядите, какой у нас мудрый, необыкновенный сын. Мальчику было уже семь лет, а бабушка выносила его на руках в уборную... Гриша жил очень близко от школы, но, когда пришло время учиться, мальчика ежедневно то ли мама, то ли дедушка привозили на маленькой тележке.

Учение в школе принесло разочарование. Гриша по своим способностям оказался таким же, как и другие, во многом же был хуже других — неусидчивым, капризным. Он вообще не мог трудиться и считал труд наказанием. Эгоизм и развенчанность стали предметом насмешек детей; особенно высмеивали дети тележку, на которой ребенка привозили в школу. Наши советы выбросить тележку вызывали у матери и отца гнев и обиду. Во втором классе тележку оставили в покое, зато мать стала приносить сыну в школу обильный завтрак, считая, что в школьной столовой его не могут хорошо накормить. Мальчик стал ненавидеть товарищей, он озлобился против всех — и учителей и детей. Озлобление стали вызывать у него и родители: они попытались напомнить сыну, что надо хорошо учиться. Однажды учительница написала в тетрадке Гриши строчку красивых букв и посоветовала: вот так надо писать. Гриша заплакал и вырвал листок из тетради. Вскоре вся школа была взволнована чрезвычайным событием: пропал звонок. Три дня школа жила без звонка. Прочитав в глазах Гриши тщательно скрываемое ликование, я догадался, что это он решил отомстить школе. Моя догадка оправдалась: мать Гриши принесла звонок, спрятанный в укромном уголке, и впервые я услышал из ее уст слова: «Что же делать?»

Вот еще ребенок с больной душой. Коля Наливайко. Отец у него умер, мать больна. Осталась с четырьмя детьми. Коля самый старший. Никогда не забуду, как, идя мимо колхозной мельницы, я увидел семилетнего Колю — он тогда еще не учился в школе. Мальчик привез мешочек пшеницы. Я разговорился с ним, и мое сердце сжалось от боли, когда я услышал, как семилетний ребенок рассуждает о хозяйственных делах семьи: остался вот пуд пшеницы, а до нового урожая еще два месяца... Теперь Коле двенадцать лет, он в пятом классе. Трое младших — два брата и сестренка — в детском доме, но из-за тупой бессердечности какого-то чиновника братья находятся в одном доме, а сестра — в другом... У Коли взрослые, непосильные для него заботы о больной матери, о братьях и сестре. Каждый год мы несколько раз составляем и отправляем просьбы о том, чтобы братья и сестра жили в одном детском доме, но наши просьбы напрасны.

Саша Сербин. У него жестокий, бессердечный отец. Выпив с друзьями, он буквально звереет, бьет жену и детей — Сашу и трехлетнюю Наташу, — берет нож и угрожает им: вот сейчас я покончу с вами. Много раз обращались мы в прокуратуру с просьбой: защитите детей. Но ответ все тот же: пьяницу можно наказывать только тогда, когда с жалобой обратится жена. А жена молчит, запуганная угрозами и, главное, «общественным мнением»: как бы люди не подумали, что она собственного мужа отправляет в тюрьму.

Двенадцатилетний Андрей Еременко. В пятилетнем возрасте он разряжал запал гранаты, запал взорвался, тяжело раненный Андрейко еле выжил. Я часто вижу в его глазах недетскую грусть. Но грусть эта не от физической боли. Болезнь его души — одиночество. У него мать и семилетний братишка. Мать — безнравственное существо, родившее детей, как она сама не раз говорила, «по ошибке». Андрейко чувствует, что он никому не нужен, и страдает от этого. Часто я оставлял его после уроков в школе, вел к себе домой, и мы копались в моей библиотеке. Я чувствовал, что это счастливые часы для ребенка. Ему нужно единственное лекарство — человек, нужно убеждение, что он кому-то дорог, что кто-то без него не может жить.

У Яши Косарика свое горе. Тридцатилетний отец

его вернулся с фронта без глаз и без руки. У него была жена и семилетний сын. Жена отказалась от мужа-инвалида. Он женился на другой женщине; родился Яша. С малых лет сознание Яши было потрясено мыслью о человеческой неверности. Он безгранично любил отца и мать, но страдания слепого и безрукого отца отдавались в его сердце глубокой болью. Часто в состоянии здоровья отца наступало ухудшение, и тогда Яша сидел на уроках с угасшими глазами, не слышал ничего, о чем рассказывали учителя. Ночью он плакал, кричал: «Фашисты проклятые, я отомщу вам за отца».

У семилетней Гали Козак неродной отец. Бывают неродные отцы хорошие, душевные люди, а Галин отчим — равнодушный, бессердечный человек. Он не видит, не замечает Гали. Девочка знает, что где-то далеко живет ее родной отец, она его смутно помнит. Бывая в семьях у своих подрузек, она видит счастье тех, кого любит родной отец, понимает и чувствует, что такое отцовская любовь. Однажды рано утром я встретил ее, плачущую, в школьном саду. «Почему родные отцы оставляют детей? — сквозь слезы спросила она меня. — Я не могу, ну, не могу жить в одном доме с этим человеком...» Немного успокоившись, она вдруг взяла мою руку и горячо прошептала: «Будьте вы моим отцом... Ну, пусть один раз в день я буду приходить к вам, и вы скажете мне одно ласковое слово. Я никогда не слышала ласкового отцовского слова...» — И она опять заплакала. Я обнял и поцеловал малышку. «Хорошо, Галя, — сказал я, — ты будешь моей дочкой. Можешь называть меня отцом при всех — не стесняйся и не стыдись. Я буду гордиться тобой». Рассеять детское страдание — это творчество души. Готов ли я к этому творчеству? Хватит ли сил, теплоты, чувства долга?

Да, это, пожалуй, самое важное — чувство долга, ответственности за человека. С того мгновения, как я согласился быть отцом Гали, меня никогда не оставяла тревожная мысль, что эта маленькая черноглазая девочка — частица меня самого. В каждую минуту дня и ночи я с тревогой думал: где она сейчас? Что у нее на душе? Я был спокоен лишь тогда, когда видел Галю рядом с собой. И всегда закрадывалась тревога: а смогу ли я быть таким же для всех детей с больной душой?

Ведь и Коля Наливайко, и Саша Сербин, и Андрейко Еременко, и Яша Косарик — все они нуждаются в человеке, в человеческом участии и сострадании, каждому из них хочется чувствовать, что он для кого-то безмерно дорог и что он доставляет самому близкому в мире человеку ничем не заменимое счастье уже тем, что живет на свете. Да, самая могучая сила воспитательного влияния человека на человека заключается, по-видимому, в том, что один человек нужен другому, один не может жить без другого, как не может жить без воздуха. Человеческое тепло — вот могучая сила, воспитывающая ребенка.

В человеческом тепле нуждается и другая маленькая девочка, тоже первоклассница — Нина Дымова. Полгода назад она пережила большое потрясение. Мама отправила ее на несколько дней в гости в далекое село к двоюродным братьям. Погостив и приехав домой, девочка узнала, что в ее отсутствие умерла бабушка — самый дорогой для нее человек. Бабушка вынянчила Нину, она ее первый учитель и воспитатель, от бабушки она восприняла чуткость к людям и умение видеть и понимать красоту. И вот бабушки нет. Вместо ласковых глаз и теплых заботливых рук, вместо сказки о победе добра над злом — маленький надгробный холмик. Мысли о смерти не оставляли Нину: «Значит, и я помру, и все, все помрут, все будут лежать в земле?» Нину особенно

поразило и потрясло: как же это так, вот бабушки нет, а мама и тато так не же, как и всегда, — поглощены своими заботами, никто не горюет по бабушке. Все это я услышал от Нины, когда она открыла передо мной свое сердце. Я убедился, что такие мысли часто приходят и к другим детям.

У Миши Кобзаренко совсем нет отца. Если кто-нибудь скажет ему об этом, мальчик плачет. Безбатченко — так говорят о Мише, говорят беззлобно, с сожалением и участливостью. А Мише хочется знать, кто его отец, где он. Мальчик не раз спрашивал об этом у матери, но та молчала и даже гневалась... Откуда-то Мише стало известно, что отец у него был очень хорошим, добрым человеком, но мама не смогла поладить с отцом, чем-то обидела его, и он ушел. Мальчик переживает чувство недоверия к матери. Как и Андрейко Еременко, он одинок.

Женя Жилко. Во время грозы сторела их хата, мама лишилась рассудка, теперь она в больнице, а Женя живет с отцом — «непутевым человеком», как говорят в селе: жена болеет, а он жениться собирается. Женя верит, что «к маме ум вернется». И еще одно горе у этого мальчика: сторели документы и фотокарточки его дедушки. «Я уже не могу вспомнить, какие у дедушки глаза...» — с болью рассказывал мне Женя. В селе все помнят дедушку и говорят о нем с большим уважением: на фронте он сбил пять фашистских самолетов; его портрет был опубликован в газете, об этом мальчик узнал из рассказов. И вот семилетний мальчик отправляется в далекое путешествие — в областной центр, за сто двадцать километров. Где идет пешком, где едет, добирается до города, находит редакцию областной газеты, несколько лет назад опубликовавшей портрет дедушки. Добрые люди, встретившиеся на пути, помогают ему. Он приезжает домой радостный, сияющий, показывает отцу портрет дедушки... Через три года, когда Женя учился уже в третьем классе, он принес мне пожелтевшую газету и попросил: «Нарисуйте портрет дедушки на большом листе бумаги...» Я чувствовал, что память о дедушке — единственное, что есть у мальчика родного и близкого. К отцу у него сложное, трудное отношение. Соседи рассказывали мне, как однажды Женя со слезами на глазах уговаривал пьяного отца: «Не надо пить, вспомни о маме». Часто Женя осматривает все уголки, ищет спрятанную отцом водку. Если удается найти где бутылку спиртного, мальчик выбрасывает ее, а потом сидит и плачет.

У Гали Черной, десятилетней синеглазой красавицы, недавно умерла мать. В семью уже через месяц пришла молодая женщина. Отец требует, чтобы Галя называла ее мамой. Однажды вечером, идя берегом пруда, я увидел: девочка стояла на большом камне, смотрела на воду и тихо плакала. Меня потрясли глаза Гали: в них было отчаяние. Я подошел к девочке, взял ее за руку, повел в школу. Галю мучило то же горе, что и Мишу Кобзаренко, и Женю Жилко, — одиночество. Но свое горе носить ей было еще труднее: девочка не могла смотреть на счастливого отца, быстро забывшего покойную мать Гали.

Через несколько лет Галя сказала мне: «Тогда, стоя на берегу пруда, я готова была покончить жизнь самоубийством. Если бы вы не взяли меня за руку, я бы погибла». Каждый раз, когда мне удавалось рассеять в глазах этой девочки грусть, я снова и снова думал: нельзя жить спокойно, когда рядом с тобой страдает дитя. Ведь достаточно прибавить к переполненной чаше страдания маленькую капелючку — и человек может погибнуть. Тридцать пять лет работы с детьми убедили меня, что от наших прикосновений к детскому сердцу зависит не только душевный покой, но и сама жизнь человека.

У Вани Турботы — маленького черноглазого мальчика — есть отец и нет отца. Он оставил семью, ушел к другой женщине. У той женщины — дочка, ровесница Вани. Однажды она встретила мальчика на улице и сказала ему: «А твой папа теперь мой папа...» После этого мальчик три дня плакал. Ему стыдно, когда кто-нибудь говорит о его отце. Стыдно смотреть в глаза товарищам, стыдно идти по улице. Ребенку кажется, что все показывают пальцем: вот идет мальчик, от которого отказался отец. Какие тонкие, больные уголки детских сердец можно задеть, если вы неумело, бестактно начнете в коллективе разговор об отцах... Достаточно, если в классе один ребенок, у которого упоминание о том, где работает отец, вызывает сердечную боль, — и уже никаких разговоров об отцах, о месте их работы не должно быть. Мы у себя в школе запретили эти разговоры, чтобы не травмировать детские сердца.

Свое, не похожее на другие, горе, у Миши Кули. Его отец — инвалид, вернулся с фронта без обеих ног. Мать Миши — человек большого мужества и душевной красоты; она отдает все свои силы во имя того, чтобы муж не чувствовал горя, одиночества. Девять лет после того, как ее муж возвратился из госпиталя, у них не было детей; рождение Миши было счастьем для этой дружной, хорошей семьи. Но вскоре это счастье омрачилось болезнью матери. «Как будем жить, сынок?» — спрашивал отец у Миши. Однажды я пришел к Мише и увидел плачущими их обоих — безногого отца и восьмилетнего ребенка.

Наташа Петренко прикована к постели тяжким недугом: парализованы ноги. Можно положить девочку в больницу, но она плачет, как только напомним об этом. Мать тоже не хочет расставаться с девочкой, говорит: «Я хорошо знаю, что никакие лекарства ей не помогут. Нельзя лишить ее того единственного счастья, которое у нее есть, — материнской ласки». Я беседовал с врачом; он говорит, что никакая больница не может принести Наташе выздоровления: «Единственное, на что можно надеяться, — это детская радость. Дайте ребенку как можно больше радости, и, возможно, пробудятся неведомые нам силы — девочка встанет на ноги». Мы записали Наташу в список первого класса и сказали ей, что она — ученица. Девочка вначале обрадовалась. «Как же я буду ходить в школу?» — спросила она затем. «Мы будем учить тебя дома, Наташенька, — сказал я девочке. — Каждый день к тебе кто-нибудь будет приходить. И я каждый день буду навещать тебя: летом рано утром, после восхода солнышка, а осенью и зимой — по вечерам». Я увидел в глазах девочки безграничное доверие. Теперь, дав Наташе обещание, я взял на себя огромную ответственность. Я отвечаю за тебя, Наташенька.

Нежный, хрупкий, тоненький, как тростиночка, синеглазый Толя Крыленко. С первого же взгляда, когда я увидел Толю — его привел в школу отец, — меня поразили грустные, задумчивые глаза. Казалось, в них навсегда застыла боль. Счастлива жила эта семья — мать, отец и единственный сын — Толя. Отец был в командировке, когда однажды ночью пятилетний мальчик проснулся от стога матери. На его глазах мать умерла от сердечного приступа, и Толя до утра был у тела матери.

Юра Кобыляцкий. У него были мать, отец, брат, сестра. Семья не особенно богатая по духовным запросам и интересам, но о детях мать и отец заботились. Юра был самым маленьким. Он рос живым, непослушным ребенком. Как-то после очередной его капризности мать, рассердившись, сказала: «И зачем он взялся на мою голову? Зачем мы его усыновили?» Эти слова не дошли до сознания ребенка, но стали

известны соседям. Все узнали, что Юра — «подкидыш». Женщина прсклинула себя за неосторожно брошенное слово, но изменить уже ничего нельзя было. Мы, взрослые, не можем себе во всей полноте представить, что переживает ребенок, когда его сердце подвергается такому испытанию. «Никакой любви и ласки нет — все притворство и ложь...» — сказал он мне. Сколько нужно теперь усилий, чтобы утвердить в этом сердце веру в чистоту и добро!

Ваня Холодий — один сын у матери. Добрая, трудолюбивая женщина была несправедливо обвинена в преступлении. Две недели она была в заключении, пока восторжествовала справедливость... Думал ли кто-нибудь из взрослых, по чьей вине допустили ошибку, что творилось в эти дни в душе десятилетнего мальчика? На него смотрели как на сына преступницы, — он это чувствовал. Он лучше, чем кто бы то ни было, знал, что мать неповинна, но ему не верили. Ребенок вырос в духе честности и правды, он даже представить себе не мог, что человек человеку может не верить. Мать освободили, но с ребенком никто даже не думал поговорить, рассеять его боль и сомнения.

Одной обиды в детстве достаточно бывает для того, чтобы отравить человеку всю жизнь. Самый постыдный и позорный проступок взрослого — это сбидеть ребенка, причинить ему боль и страдания несправедливостью. Обида — это особенно опасное горе, опасное тем, что ребенок может годами носить его в себе, не умея или не желая выразить его, излить, а взрослые часто не замечают детской обиды, просто не понимают, как это можно обидеть ребенка. Если же ребенку причиняются обиды одна за другой, сердце его каменеет и ожесточается. Оно становится невосприимчивым ни к беде, ни к обиде, но зато и жестоким. Бойтесь причинить обиду ребенку! С ним можно быть гневным и суровым, но нежно накричать, его можно наказать — все это допустимо и нередко бывает нужно, но во всем этом должна быть справедливость. Как тонко чувствует ребенок справедливость, как тянется он к строгой справедливости и справедливой строгости!..

Катя Троянда тоже носит в себе обиду. Девочка мало что понимает из разговоров взрослых, но чувствует душой, что в жизни матери есть что-то постыдное. Она знает, что взрослые, скрывая от нее это, жалеют ее, и от этого ее страдания еще глубже.

Учится в третьем классе маленькая черноглазая певунья и плясунья Варя Соловейко. Невозможно было представить начальные классы без звонкого смеха или песни Вари. И вдруг девочка умолкла. Ночью она услышала разговор родителей и страшные слова отца: «Я тебя больше не люблю... Зачем обманывать друг друга и лицемерить? Через несколько дней я уйду...» Девочка была потрясена. До утра она не могла уснуть, а на рассвете прибежала ко мне и все рассказала. Теперь мое сердце сжимается от боли, когда я вижу эту девочку. А когда ее нет, сердце еще больше болит от тревоги.

Я здесь много рассказываю о детях, которых обычно называют трудными. Но именно с такими детьми столкнула меня моя педагогическая судьба.

Чем глубже я проникал мыслью и сердцем в судьбы этих детей, в сложные переплетения горя и зла, несчастья и невежества, тем больше убеждался, какая это сложная вещь — воспитание человека. Надо подойти к маленькому человеку, прикоснуться к его сердцу по-человечески, выпрямить согнутую горем, несчастьем, страданиями, злом, невежеством родите-

лей душу ребенка, сделать ее нестигаемой. Не только задевать раны, не только поднять каждого человека, но и возвысить его, утвердить в каждой душе чувство высокого человеческого достоинства, сделать каждого человека прекрасным — вот моя миссия. Ясный ум, высокие идеалы, чистое сердце, золотые руки, личное счастье — вот что надо вложить в каждую человеческую личность. Я твердо убежден, что воспитание в советской школе — это, по существу, творение счастья личности. Каждый человек — это, по словам Гейне, «мир, который с ним рождается и с ним умирает. Под каждой могильной плитой лежит всемирная история». У каждого, буквально у каждого человека, как у алмаза, добытого из таинственных глубин, тысячи граней. Воспитание заключается в том, чтобы умело, умно, мудро, сердечно прикоснуться к каждой из тысячи граней, найти ту, которая должна засиять неповторным сиянием человеческого таланта.

Прикосновение к человеческим сердцам — это самая сущность воспитательной работы. С каждым годом все более тонким, сложным, чутким становится личный духовный мир человека, который приходит к нам в школу. Он приходит не несмышленышем, нет. Он несет нам в своем сердце все величие и благородство нового мира, утверждающегося в нашей стране, но он приносит нам и болячки прошлого.

Ни одного ребенка с больной душой нельзя оставить в одиночестве — вот самое главное. Таких детей я должен ввести в мир человеческого благородства, для многих из них стать и отцом и матерью: их сердца истосковались по человеческой доброте, ласке, участию.

Как же все это сделать? Как больных телом кладут в больницу, так больных душой я собираю вокруг себя. Они будут всегда со мной. Мы будем жить счастливой, богатой, полнокровной семьей. Наш коллектив будет Семьей Нестигаемых. Я позабочусь о том, чтобы здесь установились тонкие, благородные человеческие отношения, какие могут быть только у счастливых людей, сознающих и переживающих высокое чувство достоинства, чести.

Мне стали родными, дорогими эти дети. Я не мог жить без них, как садовник не может жить без сада. Хотелось что-то сделать для каждого ребенка, чтобы вместо недетской тоски, горя, страданий, боли, равнодушия, обиды в глазах у каждого засветилась детская радость. Возвратить малышам детство — это начало всех начал; ведь многие из них не знают его. Я не думал о том, как буду воспитывать детей с больной душой. Думал о радостях детства — может быть, в этом самая сущность воспитания. Я решил: буду все время с ними. Пусть наша Семья Нестигаемых станет очагом счастья, добра, мужества, духовного благородства и красоты, сердечности, заботы о человеке.

Наступила весна. Каждый день мои дети приходили в школу. Мы шли в лес, в овраги и луга, в широкую степь, на берег реки. Мне казалось, что начать надо с самого простого и вместе с тем, на мой взгляд, самого важного: открыть детские сердца для высоких, благородных чувств, одухотворить ими изболелшиеся, истрадавшие души. Годы труда утвердили мое педагогическое убеждение: в основе воспитания лежит возвышение человека до понимания и чувствования своей собственной красоты, своего достоинства, своей чести. С самого начала воспитание является самопознанием, самоутверждением, самовоспитанием; человек

вообще не может быть воспитываемым, если он не увидел в себе хотя бы маленькую искорку красоты, добра. Первое лекарство, которое я считал необходимым дать моим питомцам, было восхищение красотой окружающего мира, переживание радости бытия в коллективе, познание красоты человеческого общения. Ведь это чувство, как я с горечью убедился позже, не было доступным ни одному моему питомцу: они не могли, не умели замечать красоты вокруг себя.

В тихое майское утро собрались мы в школе. До восхода солнца пришли на опушку леса. Это был мой любимый уголок, с этого места открывается чудесный вид на большой пруд, в зеркале которого отражается вся игра красок рождающегося дня. Сели на траву. С волнением я ожидал, как откликнутся детские сердца на изумительную красоту утренней зари. Я рассказал детям сказку, родившуюся в моей голове здесь же.

— Где-то далеко, за горами и морями, живет Волшебник. Он — Творец Красоты. Он счастлив только тогда, когда его красоте радуются люди. Он добр. Каждую ночь он вспахивает большое поле и сеет на нем маки. К рассвету маки расцветают. Огромное, безграничное поле маков — вот что такое розовое небо, которое вы видите, дети. Видите, как играет, трепещет солнечный луч на каждом маковом лепестке...

Дети слушали, затаив дыхание. В эти мгновения я убедился, что в раннем детстве никому из них, за исключением Нины Дымовой, Толи Крыленко и Вани Холодия, никто не рассказывал сказок. Разве может быть счастливым ребенок, если он не познал детской сказки — этой колыбели мысли и красоты, добра и благородства? Я вижу в детских глазах восхищение; сердца моих питомцев охвачены в эти мгновения чувством восторга. Галя Козак сжала мою руку и смотрит на меня ласковыми, нежными глазами. Я впервые вижу такими ее глаза. Миша Любченко встретился взглядом с Колей Наливайко, они улыбаются друг другу и, мне кажется, даже с удивлением смотрят друг на друга, как будто впервые в жизни встретились. Нет, это не удивление, а радость, восхищение: человек радуется тому, что и другой рядом с ним переживает в эти мгновения чувство восторга. Годы педагогического труда убедили меня в том, что красота окружающего мира, красота человеческой доблести, мужества, любви — это могучая сила, благодаря которой сердца открываются одно перед другим; человек радуется счастью другого человека и поэтому глубже чувствует, переживает собственное счастье, он стремится постигнуть красоту вне себя и сделать ее собственным достоянием — красотой самого себя. Я увидел, как Андрей Еременко широко открытыми глазами неотрывно смотрел на маленький цветочек, в лепестках которого бархатилась отяжелевшая от росы букашка. Он поднял изумленные глаза и встретился взглядом с Катей Трояндой; в глазах девочки светился огонек восхищения.

Рану детской души не излечишь утешениями и соболезнованиями. Это может лишь растравить рану. Лечение детской души всегда представлялось мне прежде всего воспитанием духовной стойкости, мужества, веры в добро и в человека — все это ребенок может постигнуть только тогда, когда сердце его открыто сердцам других людей, когда люди в коллективе несут друг другу свои духовные богатства, когда человек радуется другому человеку и, чувствуя его счастье, сам становится счастливым. Меня всегда волновал вопрос: почему радость, познания детьми в коллективе, так сближает их, рождает чувства взаимной симпатии, пробуждает великое чувст-

во потребности человека в человеке? Наверное, в этой магической силе коллектива и заключается источник гражданского долга, сознание ответственности человека перед людьми, перед обществом.

Каждый день дети ни свет ни заря были уже у меня. Их тянуло ко мне. У нас было много уголков, где можно было отдыхать, развлекаться. Колхоз дал нам продукты, хлеб; мы варили кашу, пекли и жарили картошку. Наше внимание привлекла глухая роща с пустым амбаром и старым кирпичным забором — когда-то здесь была помещичья усадьба. Когда мы приблизились к забору, в воздух поднялась стая ласточек. На стенах амбара и на заборе мы увидели множество ласточковых гнезд. В роще жили дятлы, синички, иволги. Казалось, здесь давно не ступала человеческая нога — до того все здесь было забыто и запущено. На крыше сарая росли маленькие деревца — осины.

В этом уголке мы и обосновались. Нас было немного — девятнадцать человек; потом, через год, стало больше. В старом амбаре поставили печку, варили обед. К деревьям прикрепили дуплянки — пусть будет здесь настоящее птичье царство. Воображение Вани Турботы рисовало целый птичий питомник: будем приносить семена конопли, поджаренные зернышки подсолнечника... будем входить сюда «по билету», а «билетом» пусть будет горсть семян конопли — это любимое блюдо синичек зимой, а нам, конечно, надо создавать зимние запасы.

Птицы вначале боялись детей, но когда малыши стали приносить лакомства, встречали их радостным щебетанием. Это радовало детей. В роще никогда не умолкало пение многоголосого хора. В преддверии питомника стояли «часовые» (так хотелось называться тем, кто «проверял билеты»), отбиравшие у каждого из нас корм для зимних запасов.

Вспоминается тихое летнее утро. Я шел к птичьему питомнику со стороны степной балки. На толстом сучке сидело много синичек, к ним подошел Миша Любченко и кормил птичек чем-то из рук. Синички попискивали, и мне почудилось в их писке нетерпение и боязнь того, что их обделят. Меня изумила не столько сама по себе эта картина, сколько то, что птичек кормил Миша. Боязливая птичка берет корм из рук человека, который видел много зла...

Тридцать пять лет не дает мне покоя мысль: с чего начинается нравственное благородство, духовная красота человека? С каждым годом я все больше утверждаюсь в убеждении: моральная красота начинается с того, что человек выражает себя в труде, в деятельности, в творчестве — для радости и счастья других людей. Одухотворенный, очеловеченный труд, труд, благодаря которому человек познает красоту в самом себе, — это самый тонкий аромат того букета, который называется воспитанием. Если я хочу, чтобы сердце ребенка открылось передо мной, чтобы он принес мне свои радости и горести, я стремлюсь к выражению человека в труде.

Роща, прилегающая к амбару, походила на муравейник. Каждый что-то делал. Галя Козак с девочками лепила из глины игрушечную посуду и «обжигала» ее на солнце. Ваня Холодий и Коля Наливайко сооружали из камыша шалаш. Нина Дымова с Варей Соловейко копали ямку и соединяли ее канавкой с прудом — здесь устроили аквариум для маленьких рыбок и лягушат. Малыши взяли на учет все птичьи гнезда, зорко следили за тем, чтобы их никто не повредил.

Мне важно было добиться прежде всего, чтобы дети стали детьми, чтобы в их духовную жизнь при-

шли детские радости и детские заботы. Не только человеческие радости, но и человеческие заботы. Я не представлял себе подлинного воспитания без того, чтобы дети не боролись за свое человеческое достоинство, выходили победителями в этой борьбе, чувствовали гордость борцов. Пожалуй, самой большой заботой моей была мысль о том, чтобы чувствование, переживание собственной моральной негибкости стало постоянным лекарством для больных душ. Я стремился к тому, чтобы в маленьком нашем коллективе каждый чувствовал себя большой силой. Для этого необходим такой коллективный труд, который давал бы каждому чувство гордости, изумления: неужели это сделали мы?

Однажды не пришел Миша Куля. Я рассказал, почему нет Миши: хата у его семьи требует большого ремонта, надо привезти кирпич, обложить стены — все это для матери и Миши очень большой труд. Если мы поможем, Миша опять будет с нами. Дети загорелись желанием помочь Мише и его матери. Пошли в колхоз, попросили две автомашины. За три дня перевезли кирпич, а еще через неделю хата была неузнаваемой: вместо ободранной лачужки — кирпичный домик. Мы работали с утра до ночи, безногий отец Миши сидел на траве, мать варила обед. Труд наш был нелегким, но радостным.

Матери запрещали детям купаться в пруду, но дети тянуло к воде. Иногда я разрешал малышам побултыхаться в воде, но один раз это чуть не окончилось бедой: Толя Крыленко незаметно удалился от берега и поплыл бы и дальше, если бы я ежеминутно не пересчитывал детские головки. После этого случая мы пошли к председателю колхоза и попросили отгородить часть пруда, устроить бассейн для купания. Нам устроили не только бассейн, но и площадку для прыжков в воду, соорудили навес для защиты от жгучего южного солнца.

Каждое утро мы собирались в заранее назначенном месте — как правило, на рассвете. Мы собирались на древнем скифском кургане, откуда открывался изумительный вид на широкую степь, на далекие села в долинах, на заднепровские горы. На другой день забирались в дремучую лесную чащу, вслушивались в музыку пробуждающегося леса, в тихое журчание ручья, любовались игрой света и тени под листвой дубов и лип. На третий день мы встречали утро в степи; дети восхищались стройными тополями у дороги, открывали невиданную раньше игру красок и оттенков пшеничных полей, слушали песню жаворонка. На четвертый день местом нашего сбора был берег пруда, на пятый — зеленый луг, на шестой — колхозный виноградник, на седьмой — тихий, пустынный островок на заливных лугах Приднепровья, на восьмой — далекое озеро в приднепровских лесах, куда мы добирались, выходя из дому в полночь. Я вел детей к истокам красоты не просто для того, чтобы они восторгались и восхищались увиденным. Это было открытие или, точнее, постижение человека; постигая красоту, каждый из нас познавал человеческое богатство в самом себе. Гриша Козаченко становился мягче, сердечнее; Миша Любченко, удивлявший меня эмоциональной толстокожестью, неумением чувствовать огорчение, обиду, страдание другого человека, — постепенно оттаивал, стал замечать, чувствовать душевное состояние товарищей.

Радостно было видеть, как детей тянуло друг к другу. В постоянном общении они делили радость друг для друга. Каждый чувствовал: я нужен товарищам, без меня не может быть радость других. Если кто-нибудь опаздывал к месту нашего ежедневного сбора, все тревожились: не случилась ли беда? Тяготение к человеку, потребность в по-

стоянном общении с человеком, радость «отдачи духовных сил во имя радости других людей, чувствование тончайших порывов другого человека — все это и было лечением больных человеческих душ.

В начале июля произошло событие, навсегда оставшееся в сердце и в памяти у детей и у меня. С вечера мы отправились в далекое путешествие на маленький островок, затерявшийся среди бесчисленных рукавов Днепра. Мы перебрали неглубокое озеро и расположились под столетним дубом. Каждый выложил в общий котел продукты, принесенные из дому. Сварили кашу, поужинали и крепко уснули. Проснулись задолго до рассвета. День был жаркий. Мы нашли на острове много интересного: в глубокой норе жила лиса со своим выводком, в тихом озере плавали лебеди, на прибрежном песке оставил свой след лось. Мы мечтали: года через два, когда подрастут самые маленькие, придем сюда на несколько дней, а может быть, и на месяц, устроим здесь жилье, будем ловить рыбу... К полудню небо затянуло облаками, загрел гром. Мы радовались: хотелось свежего летнего дождика. Разразилась страшная гроза, такой никто из нас не помнил. Потoki воды падали с неба. Я с тревогой видел, как озеро превращается в безбрежное море. Вода заливала остров, а гроза не прекращалась. Мы сидели под дубом, прижавшись друг к другу. Я понял, что детям угрожает опасность: вода может залить весь остров. Надеюсь, что дождь, может быть, прекратится, я стремился подавить в себе тревогу и опасения; дети доверчиво смотрели мне в глаза, смеялись. Мне казалось, что они даже радуются необычному происшествию, ни тени тревоги я не видел в их глазах. Чем безнадежнее становилось наше положение, тем теснее прижимались дети ко мне, тем доверчивее становились их глаза. Они безгранично доверяли мне, и поэтому их ничто не страшило.

А в моем сознании в эти мгновения пронесся такой бурный поток мыслей, что, наверное, за всю свою предыдущую жизнь с детьми я не испытывал столько тревог и волнений.

По-настоящему воспитывать — это, наверное, каждое мгновение чувствовать каждой частицей своей души, что ты отвечаешь за жизнь того, кто пришел с верой в тебя. Чувствовать ответственность за жизнь маленького человека буквально ежечасно и ежеминутно — это, по-видимому, корень всей педагогической мудрости. Из этого корня вырастают и расцветают побег строгой требовательности и требовательной строгости. Только там, где есть эти корни, ласка и любовь воспринимаются детьми как отцовская и материнская боль, забота, тревога.

...Единственным для нас спасением был дуб. Девочки одна за другой становились на мои плечи и влезали на дерево. За девочками — мальчики. Огромная крона дала приют всем. Вдохнув с облегчением, я стоял под дубом. Вода приближалась ко мне, и лишь тогда я увидел тревогу в детских глазах. А до этого дети переживали только радость необычного происшествия; никому и в голову не приходило, что мы подвергались опасности.

Из этого необыкновенного приключения я вынес убеждение еще об одной могучей силе воспитания — вере детей в воспитателя. До тех пор, пока дети верят в тебя, ты властелин их душ, перед твоим словом открыты их сердца. Если ты оправдываешь безграничную веру ребенка в тебя, если ребенок чувствует, что он дорог тебе, что он глубоко вошел в твое сердце, ты становишься для своих питомцев идеалом. Ты притягиваешь к себе детскую душу, выпрямляешь ее, снимаешь боль и страдания и творишь детское счастье. Самую глубокую и тяжкую

рану детской души можно залечить, и ребенок забудет о ней навсегда, если в его душе горит вечный огонек веры в человека — в воспитателя, в отца, в мать.

Детскую душу выпрямляет, делает ее гордой и нестигаемой ощущение того, что он, ребенок, безгранично дорог другому человеку. Дорог не как уникальная игрушка, а как живая человеческая жизнь, только родившаяся, еще очень неуверенно стоящая на ногах, требующая помощи и защиты. Я всегда стремился к тому, чтобы в человеческом мире человек не чувствовал себя как в пустыне — это самая страшная, самая жестокая опасность, подстерегающая беспомощное человеческое существо.

Ливень прошел, вода стала постепенно спадать. Пригрело солнышко. Мы слезли с дуба, собрались на маленьком еще островке суши и с гордостью смотрели друг другу в глаза. Дети как бы не узнавали друг друга, каждый из них увидел друг в друге что-то новое, родившееся вот сейчас, в эти тревожные мгновения.

«Вот теперь мы и будем Семейей Несгибаемых», — сказал я. Дети радостно подхватили: «Да, мы — Семья Несгибаемых!»

С той поры каждый с гордостью говорил: «Я из Семьи Несгибаемых».

Приближалась осень. Созревали груши и яблоки, наливались янтарным соком арбузы, сизой дымкой туманились сливы, над перезревшими, черными вишнями кружились ленивые, отяжелевшие осы, а пчелы, почуяв, что у кого-нибудь из моих малышей в кармане лежит горсть сладких вишен или надкушенное яблоко, залезали в карман, под рубашку. Однажды мы сидели на пасеке, я рассказывал сказку. Вдруг Галя Черная вскрикнула и подскочила: оказалось, пчела ужалила ее в живот. А раз ужалила пчела, значит, что-то там под кофточкой сладкое... Наступало нелегкое для детей время, когда трудно устоять перед искушениями. Время от времени кто-нибудь из малышей исчезал. Появлялись странно растолстевшие: под рубашками желтели груши и яблоки, краснели поздние вишни, оставленные заботливыми хозяйками на варенье.

Чтобы уберечь детвору от этой фруктово-ягодной лихорадки, я решил поселиться с ними в школьном саду, среди яблонь и груш, среди вишен и винограда, рядом с пасекой, в чистом воздухе, пахнущем медом и нагретыми солнцем яблоками. Теперь мы и ночевали вместе. Это было огромной радостью для детей. Они наполняли корзины яблоками, грушами, виноградом — теперь, когда все это было в изобилии, оказалось, что и в сад и в виноградник тянет уже не для того, чтобы наполнить карманы плодами, а по другой причине: хотелось найти то необыкновенное прозрачное яблочко, о котором рассказывается в сказке, — через прозрачную мякоть видно зернышки.

Но наибольшей радостью в эти дни для детей было то, что с нами теперь и Наташа Петренко. Мы привезли девочку в той маленькой тележке, которая когда-то была причиной многих неприятностей для Гриши Козаченко. Поставили для Наташи кровать рядом с пасекой, под ветвистым ореховым деревом — к ароматному ореху не летят ни мухи, ни комары. По совету врача мы лечили ее и яблоками, и медом, и пчелиными укусами, но главным, конечно, был трепет детского сердца, переполненного гордостью от мысли о том, что вот я, маленькая больная девочка, безгранично дорога людям, забота обо мне доставляет им радость. Гриша Козаченко и Миша Ялубченко с самого утра отправлялись в сад — на поиски вол-

шебного яблочка. Яблока с прозрачной мякотью все никак не удавалось найти, но мальчики приносили Наташе необыкновенно вкусные, сочные яблоки, по вкусу напоминавшие лимон. В школьном саду таких яблок не было. Оказалось, что самый сладкий плод для детей — плод запретный: мальчики не обращали внимания на корзины собственных яблок и совершали вылазки в чужие сады. Я посоветовал детям: не надо делать это украдкой. Разве Несгибаемый может быть нечестным? Разве от дурного поступка не стыдно самому перед собой? Если вы хотите угощать Наташу каждое утро лимонными яблоками, попросите у людей, и они никогда вам не откажут.

«Не будем унижать себя нечестностью», — такое слово дети дали сами себе, собравшись вечером на пасеке, и это клятвенное обещание строго выполнялось.

У нас было много праздников. Называли мы их по-разному: Праздник Медосбора, Праздник Сенокоса, Праздник Цветов, Праздник Первой Борозды, Праздник Яблони, Праздник Хризантем, Праздник Прощания с летом — но, по существу, все это были праздники торжества благородных человеческих отношений — тех отношений, в которых утверждается вера человека в добро, вера человека в человека, утверждается сознание, что я дорог и нужен людям и я не могу жить без людей. Это были праздники труда, одухотворенного искренним желанием каждого ребенка принести радость другим людям. Эту могучую воспитательную силу, врачующую больные души сильнее и в то же время тоньше и нежнее любой другой силы, я бы назвал очеловеченным трудом — трудом, делающим счастье другим людям и поэтому возвышающим того, кто это счастье делает.

Рядом с пасекой мы весной посеяли гречиху; она долго цвела, мы заботились о том, чтобы цветение продолжалось до осени, — поливали гречиху. Этот труд вознаградила нас. Мы открыли свой гречишный улей и накачали килограммов двадцать меда. Первую чашку меда мы понесли старейшему колхознику, столетнему дедушке. Потом угостили медом отцов Миши Кули и Яши Косарика, большую банку оставили на зиму для Наташи Петренко. С чашечками, наполненными медом, мы ходили от хаты к хате, и чем больше мы отдавали, тем богаче становились души детей. Мне в эти часы еще раз вспомнились слова А. Н. Толстого о том, что дети — увеличительные стекла зла. Не только зла, но и добра. Силы, пусть

самые незначительные, вложенные человеком в годы детства во имя счастья и радости других людей, эти силы — дремлющее богатство души. Оно пробуждается в зрелые годы, превращается в духовное богатство. Создавайте это богатство про запас, богатство впрок, богатство для будущего — без него невозможен человек.

Радостным, волнующим был Праздник Первой Борозды. Мы вскопали небольшой участок земли, внесли удобрения, посеяли озимую пшеницу. Сельские дети знают, что такое труд для хлеба, мы мечтали о том, как через год соберем свой первый урожай, смеем пшеницу, и у нас будет еще один праздник — Праздник Первого Хлеба.

Праздник Яблони придумала Варя Соловейко: давайте заложим питомник, будем выращивать саженцы яблони; пусть село наше станет яблоневым садом.

Я не мог жить, не думая о судьбах моих детей. Особенно тревожными и беспокойными были мои думы в тихие ночные часы, когда дети засыпали. Я сидел на ступеньке маленького домика в саду и, казалось, чувствовал их ровное дыхание. Мне не давала покоя мучительная мысль: не уподобляюсь ли я насадке, под крылышком которой цыплятам и уютно и тепло? Что будет с ними, когда каждый из них окажется лицом к лицу с суровыми испытаниями? Хватит ли у меня сил для того, чтобы не только залечить раны юных душ, но и утвердить в ребятах духовную стойкость, мужество, подлинную несгибаемость мыслей, убеждений, чувств, всех душевных порывов? Я видел: чем ярче выражает ребенок себя в мире забот, тревог, волнений о судьбе другого человека, чем глубже одухотворяются эти порывы его души желанием стать хорошим в глазах людей, тем самобытнее раскрывается он вообще как человек, тем глубже проявляется в нем его индивидуальность, неповторимость, тем больше он приносит в коллектив и тем богаче духовная жизнь коллектива. Смогу ли я вдохнуть в каждую душу этот могучий талант — умение правильно относиться к себе? Я дал слово Гале Козак быть ее отцом. Я отдаю себе отчет в том, что такое отец. Отец не тот, кто породил, а тот, кто создал человека. Смогу ли я, врачюя юную душу, в то же время повторить в ней самого себя, сделать ее сильной, мужественной?

Я чувствовал, что нет креста тяжелее, чем крест воспитателя.

Так началась жизнь нашей Семьи Несгибаемых.

Феликс
Кузнецов



ГЛАВНАЯ КНИГА

Статья вторая¹

I

Успехи современной литературной Ленинианы прежде всего связаны с лирико-публицистической, в основе своей строго документальной прозой. Объективированная, психологическая проза о Ленине — удел огромного таланта, может быть, гения, — пока впереди.

Разведкой такой прозы, выдержавшей испытания ленинской темой, можно считать «Синюю тетрадь» Эм. Казакевича.

Эм. Казакевич, по его собственному признанию, всю жизнь шел к образу Ленина, как альпинист, долго и настойчиво готовился к взятию этой вершины.

— Я давно работаю над этой повестью, главным действующим лицом которой является Ленин, — говорил Эм. Казакевич незадолго до смерти. — И когда закончил ее и прочитал, то ужаснулся несовершенствам своей работы. Несовершенствам не стилистическим и даже не художественным. У меня даже было впечатление, что мне удалось в какой-то мере верно и впечатляюще обрисовать образ Ленина и других действующих лиц, атмосферу событий. Нет, не в том было дело. Я снова стал читать сочинения Ленина, касающиеся того периода, и не мог не ужаснуться, насколько моя картина беднее той, настоящей картины; насколько мой художественный комментарий беднее текста; насколько сильнее раскрываются в сочинениях Ленина его характер, его манера, сила его мысли, мощь его предвидения, тяжесть его ответственности, нежели все это раскрывается в моем изображении...

Это признание дает нам возможность почувствовать всю меру сложности художественного решения ленинской темы даже для незаурядного таланта, каким был Эм. Казакевич. Вместе с тем оно помогает нам проникнуть и в авторский замысел, в те внутренние творческие задачи, которые ставил перед собой Эм. Казакевич, когда работал над «Синей тетрадью». Пи-

сатель стремился раскрыть во всей глубине и сложности характер Ленина, силу ленинской мысли, мощь его предвидения, тяжесть исторической ответственности, которая ложилась на его плечи. Он выбрал для этого один из самых драматических моментов в истории революции, в жизни Ленина: июль 1917 года, когда руководитель партии большевиков, только что вернувшись из-за границы, был вынужден вновь уйти в подполье; когда Временное правительство, расстреляв июльскую демонстрацию, перешло в наступление на большевиков.

В лучших произведениях современной Ленинианы вождь революции обращается к читателям разными гранями своей гигантской личности. Если в очерках М. Шагинян главное — масштаб и глубина нравственной, духовной, интеллектуальной жизни Ленина-мыслителя, то в «Синей тетради» Ленин предстает в первую очередь как гениальный политик. Конечно, немислимо разорвать взаимообусловленные качества мыслителя и политика, столь органично слитые в ленинской натуре. Эм. Казакевич показывает, что Ленин мог быть гениальным политиком именно потому, что он был гениальным мыслителем. Но не только. Ленин являлся гениальным политиком также и потому, что он был человеком незаурядного мужества, огромной духовной, нравственной силы. И, наконец, Ленин был гениальным пролетарским политиком в силу своей исключительной близости к людям, к трудящимся массам.

Ленин, каким его видит Эм. Казакевич, верит в массы и чувствует огромную ответственность перед ними. Как зеницу ока, бережет он веру, доверие масс.

— Наша тактика, — утверждает Ленин, — говорить массам правду. Правду надо им говорить даже тогда, когда это нам невыгодно; только тогда они будут нам верить. Мы будем непобедимы в том случае — и только в том случае, — если всегда, при всех поворотах истории будем говорить массам правду, не будем выдавать желаемое за сущее, не будем врать из так называемых «тактических соображений».

В течение веков политика и этика считались взаимосключающими понятиями.

¹ Первая статья опубликована в журнале «Юность» № 6 за 1969 год.

Для Ленина политика неотделима от нравственности — пролетарской, коммунистической нравственности, в основе которой лежит подвижническая борьба за общечеловеческое благо, за коммунизм.

В «Синей тетради» Эм. Казакевича Ленин раскрывается в реальной плоти его чувствований, борений, мыслей и переживаний. Он — живой. Писатель обладает необходимыми изобразительными возможностями, пластикой языка, художнической зоркостью и провицательностью, чтобы дать почувствовать и ленинский юмор, и его человеческую, естественную теплоту, и внутреннюю работу ленинской мысли. Ленин думает в повести не раскавыченными цитатами из собственных произведений (беда многих и многих книг о Ленине!), но органично, естественно и страстно, порой мучительно трудно, однако всегда определенно, ясно.

Эм. Казакевич не ищет занимательной фабулы, беллетризованных линий сюжета, он идет самым трудным путем. Композиция повести строго соответствует реальным обстоятельствам жизни Ленина той поры: приезд вместе с Зиновьевым в Разлив под опекой рабочего Емельянова и его семьи, короткие наезды туда Свердлова, Дзержинского и других товарищей по партии, уход на новую тайную квартиру в Финляндию. И хотя за поимку Ленина назначена награда, тысячи добрототов ищут его, и по следу Ильича пущена знаменитая собака-ищейка Треф, — в повести нет внешнего аффектированного действия, она развивается спокойно, сдержанно, почти бессобытийно.

Пружинной повести, удерживающей читателя в постоянном напряжении, ее главным героем является ленинская мысль. Мысль политика и одновременно философа, ибо для Ленина политика без философии не существует. «Еще Платон говорил, что если в государствах не будут властвовать философы, или если властители не научатся быть философами и государственная власть и философия не совпадут воедино, то ни для государства, ни вообще для рода человеческого невозможен конец злу», — утверждает он.

В основу сюжета, в основу конфликта книги Эм. Казакевич кладет упругую динамику ленинской мысли, развивающейся в единоборстве с трусливой и осторожной мыслью Зиновьева, оказавшегося вместе с Лениным в шалаше на озере Разлив. Это не только единоборство взглядов, но и единоборство характеров, умов, воли.

Со сдержанным, скрытым юмором, а порою и со злой иронией Эм. Казакевич рисует растерянность Зиновьева в трудные дни июля 1917 года. Соотнесение характеров Ленина и Зиновьева, политический, а значит, и нравственно-психологический конфликт между ними дают возможность писателю резко обозначить масштаб ленинской личности, мощь его интеллекта, дар политического предвидения. Отношения Ленина и Зиновьева — это отношения Моцарта и Сальери, противостояние гения и заурядной способности. Но не только. Это еще и противостояние двух типов революционера — пролетарского и мелкобуржуазного. Политическое и нравственное сальерианство Зиновьева, обнаженное Эм. Казакевичем, проявляется в сложном комплексе неполноценности, которым мучился Зиновьев рядом с Лениным, — в комплексе зависимости перед Ильичем, презирающим слабость и нерешительность больше всего на свете. Зиновьев завидовал бодрости, вере, спокойствию Ленина в момент, когда казалось, все потеряно, и не верил этой бодрости, думая втайне, что «Ленин только искусно притворяется бодрым и неунывающим, а в действительности знает, что революция не удалась, что они обречены». Почти с торжеством, замечает Эм. Казакевич, ловил Зиновьев мгновения, когда Ленин задумывался, становился

рассеянным и печальным. Эта рассеянность, этот скорбно-печальный взгляд вызывал в Зиновьеве приливы острого страха перед будущим и в то же время чувство приятного самоуспокоения: значит, он, Зиновьев, не так уж плох, значит, его безрадостные мысли не являются признанием ничтожества, слабости...

Снова и снова размышлял Зиновьев о бескрайней России, полной жадных хуторян и корыстолюбивых лавочников, пьяных мастеровых и юродивых богомазов, чудотворных икон и животворящих крестов, примерял к такой России кучку интеллигентов, помышляющих о революции, и не понимал Ленина, его отваги, уверенности, непримиримости. Не понимал практических, тактических решений Ленина: в тот самый момент, когда революционные части разоружены, сам Ленин в подполье, большевики почти разгромлены, звать массы к вооруженному восстанию?!

— Неужели вы не видите, что этап мирного развития революции окончился бесповоротно и наступил новый, в котором все будет решаться силой оружия? — отвечает в повести Зиновьеву Ленин. — Не видите? Странно! А я вижу...

В этом разница. В даре предвидения, которым в избытке обладал Ленин, как никто другой чувствовавший «пульс революции, ее приливы, отливы, подспудные течения». В этом даре не было ничего мистического, — он определялся масштабом личности Ленина-политика, Ленина-мыслителя, Ленина-борца. Он определялся верой Ленина в массы, в историческую правоту своего дела, в неизбежное торжество революции. Верой, основанной опять же не на мистике, а на знании — всеобъемлющем знании законов исторического развития, закономерностей революционной борьбы, «коренных интересов масс».

Особенно поразила Зиновьева одна, казалось бы, частная просьба Ленина: доставить из Стокгольма в Разлив синего цвета тетрадку в твердом переплете, озаглавленную «Марксизм о государстве». «Это архиважно», — сказал Ленин.

«Синяя тетрадь» — озаглавил свою повесть Эм. Казакевич; следовательно, с точки зрения автора, она играет в повествовании особую роль. «Синяя тетрадь» была первым наброском книги «Государство и революция», она является не чем иным, как программой действий большевиков на ближайшее время после захвата власти. Речь в ней шла о характере, даже о стиле жизни нового, пролетарского государства.

Но Казакевич вынес «Синюю тетрадь» в заглавие повести не только и, может быть, даже не столько потому, что это был один из самых значительных документов ленинской политической мысли. Его, как художника, взволновал прежде всего психологический, нравственный подтекст темы: в дни тяжелого подполья, в те самые дни, когда маловерам казалось, что революция не удалась, что большевики обречены, Ленин считает архиважным дать верный теоретический ответ на вопрос, как строить новое, пролетарское государство после победы социалистической революции.

Это-то и поражало, убивало Зиновьева: после июльского разгрома и разоружения большевистских полков углубляться в чисто теоретические изыскания казалось Зиновьеву совершенно бессмысленным занятием.

Ленин представляется Зиновьеву фанатиком, совершенно потерявшим чувство реальности, витающим в облаках. Ленин недоступен пониманию Зиновьева, настолько он крунее, реальнее, жизненнее его.

Миллионы человеческих глаз, говорит Казакевич, были устремлены на Ленина — и не с ликованием, а

скорее с вопросом: «Что ты нам скажешь? Что ты можешь для нас делать? Вырвешь ли ты нас из бедности и слепоты? Куда нам идти? Скажи, если знаешь».

Ленин отдавал себе полный отчет в мере трудности этих ответов, в бремени ответственности, которую принял на свои плечи. Потому что делать революцию надо было в нищей России, стране по преимуществу крестьянской, мелкобуржуазной, и строить социализм с тем человеческим материалом, который имеется налицо.

«...Нельзя сделать специальных людей для социализма... — размышляет в повести Ленин, — надо будет эти х переделать, надо будет с этими работать, ибо страны Утопии нет, есть страна Россия. Это будет нелегко, трудно, чертовски трудно, труднее, чем сделать самую революцию, но другого выхода нет».

2

Если в очерках М. Шагинян, в повести Эм. Казакевича мы встречаемся с Лениным-мыслителем, с Лениным-политиком, то в «Черных сухарях», «Балладе о большевистском подполье» Е. Драбкиной мы знакомимся с Лениным — практиком революционного дела. Это не значит, что движение мысли Ленина-политика за пределами писательского интереса Е. Драбкиной. Философия, политика, практическое руководство революцией и строительством социализма в полном соответствии с тезисом, провозглашенным в «Синей тетради», что именно философы должны управлять государством, были неразрывны для Ленина. Но у Е. Драбкиной свой, особый угол зрения на Ильича, отличный и от Эм. Казакевича и от М. Шагинян. Он определен жанром ее книг, а в конечном счете ее личной судьбой.

В отличие от Эм. Казакевича и М. Шагинян Е. Драбкина лично знала Ленина. Член партии с 1917 года, дочь профессиональных революционеров-большевиков, Елизавета Драбкина прошла славный и трудный жизненный путь. Еще маленькой девочкой «Елизавет-Воробей», как звали ее товарищи, помогала матери выполнять конспиративные боевые задания, в эмиграции бывала в семье Ленина, знала многих профессиональных революционеров, а после революции была секретарем Свердлова, участницей боев гражданской войны, свидетельницей трагического конца ноябрьской революции 1918 года в Германии. Она находилась в гуще событий, в эпицентре борьбы и труда молодого Советского государства.

Е. Драбкина неоднократно беседовала с Владимиром Ильичем, бывала гостем его семьи, слушала ленинские речи, была свидетельницей гигантской работы Ленина по организации обороны страны, по созданию нового общества и нового государства.

Впечатления юности, подкрепленные изучением ленинских трудов, чтением воспоминаний, работой в архивах легли в основу книг Е. Драбкиной. Это не мемуары, но книги документальной и вместе с тем лирической прозы, книги-раздумья, книги-размышления о Ленине и активного личного авторского отношения к изображаемому.

В новой повести Е. Драбкиной, «Зимний перевал», приводятся слова одного из старейших большевиков, П. Н. Лепешинского, сказанные им вскоре после того, как Владимира Ильича не стало:

— Мы, современники Ильича, более или менее близко подходившие к нему и имевшие счастливые случаи видеть его, слышать его речь, наблюдать кусочки его работы или жизни, обязаны хотя бы и не-

умелыми, детскими руками снова и снова пытаться воспроизвести его образ, сделать сотни и тысячи хотя бы и очень несовершенных, эскизных зарисовок его, уловить как можно более отдельных черточек, присущих ему. Словом, сделать все возможное, чтобы подлинный, живой облик Ильича не был бы окончательно утерян для будущих поколений и чтобы его интереснейшая индивидуальность не стерлась от времени, не растворилась бы в море легенд, которые, несомненно, будут в огромной мере накапливаться около его имени...

Е. Драбкина в меру своих сил и возможностей стремится выполнить этот долг.

Ей помогает в этом не только отличное знание материала, но и литературный дар, умение воплотить в слове, в меткой детали, в художественной картине и лирическом размышлении тот завидный опыт жизни и души, который она имеет. Ей помогает чувство, которое лучше всего выражено в той сценке, где писательница рассказывает, как она наблюдала Владимира Ильича слушающим Бетховена в концертном зале:

«Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича — выступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он бывал в действии, в движении. Сейчас, впервые, я видела его в минуту сосредоточенного раздумья, когда ему казалось, что он был наедине с самим собою... Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой... сидел так, что мне видна была правая половина его лица. Выражение его было сосредоточенным и даже грустным. И чувство огромной любви к нему охватило мою душу».

Это чувство пронизывает все, что пишет Е. Драбкина о Ленине.

Ее «Черные сухари» — книга этюдов, эссе, миниатюрных новелл, лирических размышлений, объединенных темой революции, темой Ленина. Она завершается 1919 годом, воспоминанием писательницы о первом майском празднике 1919 года, о речи Ленина в тот день, которую он закончил словами: «Да здравствует коммунизм!», — речи, в которой он подводил итоги прошлого и обращался мысленно к будущему — к тому новому миру, который вырисовывался из-за туч порохового дыма, окутавшего Советскую Россию.

Ленин входит в книгу в исторические дни Первого Всероссийского съезда Советов, открывшегося 3 июня 1917 года — на нем присутствовал Е. Драбкина.

Она слышала речь министра Временного правительства меньшевика Церетели, вещавшего:

— В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте нам в руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет!

Она видела, как эсеры согласно зашевелились, как меньшевики поддакивающе затряслись. И вдруг, вспоминает Е. Драбкина, тишину прорезал звонкий чистый голос:

— Есть!

Это Ленин со своего места, встав и глядя прямо в глаза продажному министру-социалисту, воскликнул:

— Есть такая партия!

«И над замершим от неожиданности залом, над Россией, над всем миром прозвучал его голос, полный силы, страсти, огня:

— Есть! Есть такая партия! Это — партия большевиков!»

О времени, когда вскоре после Первого съезда Советов Ленин был вынужден уйти в подполье, о его жизни на озере Разлив, где он нацелил партию на вооруженное восстание, рассказано Эм. Казакевичем в повести «Синяя тетрадь».

Е. Драбкина как бы приняла эстафету от Эм. Казакевича: Ленин вновь появляется в «Черных сухарях» в октябрьские дни семнадцатого года, когда, вернувшись из подполья, он возглавил непосредственно подготовку к восстанию. Не сговариваясь, Е. Драбкина характеризует Ленина в эти дни примерно теми же словами, что и Эм. Казакевич, сравнивавший Ильича, устами рабочего Емельянова, с мощной динамо-машиной:

— Мы, рядовые члены партии, не зная о его приезде, ощущали его близкое присутствие. Словно в строй вступила мощная турбина — так энергично, быстро, четко завертелись все валы партийного механизма.

Ленинская любовь к людям, его человечность и доброты были прежде всего активным, целеустремленным действием, направляемым на помощь людям, во благо им. В конечном счете — революционным действием, направленным на преобразование мира на принципиально новых, истинно человеческих началах, началах «реального гуманизма».

Человечность Ленин претворял в ее высшую форму — в социалистическое сознание; в революционную волю, в созидательное действие масс, в борьбу за коммунизм. Этому он подчинял все: чувства, эмоции, разум, жизнь. На страницах книги «Черные сухари» мы встречаемся с Лениным, целеустремленным до жесткости, нетерпимым к расхлябанности, бесхребетности, разгильдяйству, неорганизованности, ко всему, что мешает этой борьбе.

Е. Драбкина и показывает Ленина в этой самой трудной, повседневной, практической, организаторской борьбе. Впрочем, «показывает» — слово в данном случае неточное: она скорее делится с читателем своим зрительным, эмоциональным восприятием Ленина, запечатленным в памяти с тех давних времен, когда она слушала, видела, общалась с Ильичем.

...Ленин на трибуне. «Каждое движение... проникнуто волей, энергией, целеустремленностью. И весь зал... жид вместе с ним — его чувствами, его напряженной мыслью».

...Ленин, председательствующий на заседании Совнаркома: быстрый, деловой темп, четкая формулировка решений, и попутно — просмотр бумаг, телеграмм, ответы на них, короткие записки присутствующим, письменный обмен мнениями и тут же решение вопросов — так, как будто «ведя одновременно еще одно заседание».

...Ленин — в разговоре, чаще всего одновременно с несколькими собеседниками: быстрые, короткие вопросы, требование ясных и точных ответов и — новые вопросы:

— Вы приняли меры? Какие? Когда? День и час?

Или:

— Проверяли ли вы? Сколько? Кому передано? Кто за это отвечает?

«Если он смеялся, то смеялся, но если уж гневался, то гневался. Тут пощады не было никому. Такой беспощадный, яростный гнев вызывали в нем обычно не действия классовых врагов: к ним в его душе горел ровный огонь постоянной ненависти. Взрывы гнева чаще всего бывали у него порождены случаями бездушного бюрократизма и невнимания к народным нуждам и к делу революции со стороны некоторых советских работников».

Таким встает со страниц книги Е. Драбкиной Ленин: скорее суровым, чем добреньким; предельно собранным, целеустремленным и деловым; твердым, строгим, определенным до жесткости. Человеком дела, а не фразы, колоссальной творческой энергии, внутреннего напора, собранного в сгусток воли.

«Каждый, кто встречался с ним, — замечает Е. Драбкина, — чувствовал исходящую от него необъяснимую силу».

Он был человеком огромного сердца, вмещающего в себя все боли людские. Гениальной мысли — не сухой, холодной, безжизненной, но полной чувства, страсти, огненного темперамента.

Он был человеком гигантской воли, динамической жизненной силы, целеустремленного, бесстрашного действия.

Столь редкое сочетание «особых свойств» ленинского характера и делало его естественным и общепризнанным вождем самой трудной, самой глубокой, самой всеобъемлющей революции в человеческой истории. Только оно позволило Ленину провести революцию сквозь все «тягчайшие испытания» этого «великого», — пишет Е. Драбкина, — полного трагизма года».

Мощь ленинской воли, его внутренняя сила и энергия, его личность особенно реально раскрывались в трудные для страны моменты. Истоки этой силы — в святой вере в победу, в несокрушимость революционных масс:

«Если вы разъясните народу всю правду, если откроете перед ним всю душу Советской власти, голодные русские рабочие совершат чудо и в борьбе против хищников всего мира спасут Советскую Россию, — говорит Ленин в «Черных сухарях». — Это будет чудом, но это чудо совершится...»

В книге воссоздан не только облик Ленина, но и образ революционного народа, воодушевленного призывом вождя «добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной». И в первую очередь — образ молодого поколения тех лет, поколения, которое, не задумываясь, шло на смерть. У молодых революционных бойцов, пишет Е. Драбкина, были «впалые от голода щеки», но «лица их были исполнены такой непреклонности, такой веры в свое дело, такой готовности либо победить, либо умереть, что видно было: эти люди будут сражаться до последнего вздоха, но не отступят и не откроют врагу дорогу...»

Кадры партии, совершившей революцию, были на удивление молоды: достаточно сказать, что средний возраст делегатов VI партийного съезда, вспоминает Е. Драбкина, составлял 29 лет.

С образом коммуниста с первых дней революции, замечает она, непременно связывался высокий идеал человека, отдавшего жизнь борьбе за народное счастье. Рабочий народ сделал слово «коммунист» синонимом честности, мужества, благородства, служения правому делу.

О высоте нравственности, бескорыстия, подвижничества революционной эпохи в книге Е. Драбкиной сказано много. Наиболее ясно дух той великой эпохи передает глава о «Черных сухарях», давшая название книге. Это глава о хлебе, которого так не хватало, о хлебе, который по призыву Ильича собирала голодная революционная Россия для революционной Германии.

В ответ на письмо Ленина, на его призыв помочь немецкому пролетариату, поднявшемуся в девятнадцатом году на революцию, русский народ, измученный войной, разрухой, голодом, интервенцией, не задумываясь, разделил свой кусок хлеба с германским народом. Поделиться продовольствием решили все: и изголодавшийся Питер, и бесхлебная Кострома, и превращенный в развалины Ярославль. На элеваторах создавали запасы муки и зерна, а народ собирал и сушил черные ржаные сухари.

«Черные сухари, черные сухари! — вспоминает Е. Драбкина. — Их приносили по два, по три в районные комитеты партии и комсомола, в профсоюзы и фабзавкомы, приносили бережно завернутыми в белую тряпицу и осторожно выкладывали на стол, чтобы не уронить ни одной драгоценной крошки. Как много мог бы рассказать каждый из этих сухарей!..»

Пятьдесят вагонов этого «святого хлеба» было направлено голодающей Россией в помощь трудящимся Германии.

3

«Зимний перевал» Е. Драбкиной (опубликована первая часть книги в журнале «Новый мир» № 10 за 1968 год) посвящен последним годам жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. Эта книга как бы продолжает во времени «Черные сухари» и вместе с тем в чем-то неуловимо отличается от них. Быть может, большей сосредоточенностью авторского внимания на образе Ленина: в «Черных сухарях» ленинская тема — один из важных мотивов книги, посвященной событиям Октября; «Зимний перевал» весь, полностью посвящен Ленину и только Ленину. Если в «Черных сухарях» Е. Драбкина стремилась через Ленина и его сподвижников «передать дух великой эпохи», то в «Зимнем перевале» через «нерегулированные черты эпохи», через ее «краски, шум и голоса во всей их неповторимой подлинности» воссоздать «необыкновенную духовную мощь» Ленина в последние годы его жизни. И в первую очередь — в те годы, которые обычно называют годами перехода к новой экономической политике и которые были, замечает Е. Драбкина, «годами плодотворнейшего взлета творческого гения Ленина».

Е. Драбкина оговаривается, что предлагает вниманию читателя «не законченную картину, а лишь первоначальнейшую загрузку холста», что книга ее — «не повесть, не роман, не научное исследование, не произведение мемуарной литературы», но скорее «беседа о Ленине, раздумье о нем».

Раздумье о жизни, труде, судьбе Ленина и революции на перевале с осени двадцатого по весну двадцать второго, когда писательница на XI съезде партии в последний раз видела Ильича. На историческом перевале, когда партия и народ, вдохновленные Лениным, начали новый, мирный бой за переустройство жизни на социалистический лад.

В качественно новых условиях приступа к социалистическому строительству, когда страна делала первые шаги по неизведанному пути, с особой силой проявился талант Ленина-теоретика. Именно это качество главы молодого государства поражало в первую очередь современников. И Клара Цеткин с ее пылкой душой революционерки, и воспринимающая мир глазами художника скульптор-англичанка Клэр Шеридан, и полный скепсиса и иронии Герберт Уэллс — все эти разные люди, встречавшиеся в двадцатом с Лениным, увидели в нем, пишет Е. Драбкина, «одного и того же человека, поразившего их духовной глубиной и силой интеллекта».

Внимание автора «Зимнего перевала» приковано к движению ленинской мысли, к крутому повороту политики партии в начале двадцатых годов. Еще не окончилась гражданская война, а Ленин уже спешит сосредоточить внимание на принципиально новых задачах — задачах социалистического строительства в израненной, голодной России. В стране, чья продук-

ция промышленности после двух войн и разрухи составляла всего восемнадцать процентов довоенной.

С драматизмом описывает Е. Драбкина тяжелое состояние страны, разруху, тяготы «военного коммунизма», незасеянные поля, омертвевшие заводы, окоченевшие паровозы, страшный голод, обрушившийся на Поволжье летом двадцать первого года, когда число голодающих приближалось к двадцати пяти миллионам, а весной двадцать второго возросло до тридцати семи.

Истину отчаянного положения дел в послереволюционной России Ленин, с его беспощадной трезвостью анализа, знал лучше, чем кто бы то ни было другой. Неизмеримо лучше, к примеру, чем знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс, посетивший в двадцатом Советскую Россию и написавший книгу «Россия во мгле». Трудно не согласиться с автором «Зимнего перевала», увидевшего в знаменитом споре Уэллса с Лениным одно из парадоксальнейших проявлений иронии истории: она, история, взяла писателя, прославившегося своей безграничной и неисчерпаемой фантазией, дала ему услышать из уст Ленина о плане электрификации и коммунистического возрождения нашей разоренной страны, а потом сунула ему в руки перо, чтобы он, и м е н и о н, этот непревзойденный фантаст, объявил ленинские планы «сверхфантазией»!

Объяснение ленинской победы в этом по сей день удивляющем нас споре писательница видит в прозорливости Ленина, в редкостном сочетании качеств мыслителя-теоретика и трезвого политика. Как это ни парадоксально, именно трезвость и бесстрашие мысли Ленина обуславливали поразившую Уэллса своей фантастичностью реальность его предвидения.

Ленин лучше, глубже, полнее Уэллса видел, знал, чувствовал экономическое положение страны. Он знал, что города голодали, деревня измогала под бременем принудительной разверстки. Заводы стояли, потому что не было сырья, топлива, хлеба, а деревня срывала производство сельскохозяйственной продукции, потому что в условиях продразверстки расширять производство хлеба было невыгодно. Крестьяне могли бы давать больше хлеба, если в обмен им предоставить товары — ситец, спички, деготь, сапоги. Но где их взять, если фабрики стоят, а те мизерные ресурсы, которые имеются в городе, необходимы не на восстановление ситценабивных фабрик, а на ремонт паровозов? Возникал классический заколдованный круг.

Где же выход? В еще большем «закручивании гаек», как того требовал Троцкий в ходе навязанной им партии дискуссии о профсоюзах? Писательница внимательно анализирует ход этой дискуссии и показывает, что суть требований Троцкого сводилась к продолжению и усилению в мирных условиях политики «военного коммунизма», к насаждению, как пишет Е. Драбкина, «военно-административного социализма, в котором действуют не люди, а покорные множества», «социализма, лишённого того, что Н. К. Крупская так прекрасно назвала тайной одухотворения, очеловечения масс, когда жизнь очищается, осмысливается, преобразуется благодаря таланту, энергии, высоким идеалам тех, кто ее творит...»

Ленин не был согласен с Троцким. «Раз политика требует решительной перемены, гибкости, умелого перехода, — приводит Е. Драбкина слова Ленина, — руководители должны это понять».

Выход был только один — тот крутой поворот в экономической политике, который был найден Лениным и впоследствии назван «новой экономической политикой».

В «Зимнем перевале» прослежен путь ленинской мысли, которым он шел к этому знаменательному решению, и прежде всего показано, сколь внимательно Ленин вслушивался в то, что говорила деревня, по словам Крупской, как бы «прикладывая ухо к земле».

Ленин формулирует не только новые цели государственной политики, но и новые принципы, новые критерии партийной деятельности.

Ленин не только требовал от коммунистов овладевать искусством практики строительства, практики хозяйствования, — он учил тому личным примером. Он был не только великим политиком, но и великим строителем и именно поэтому так ненавидел разгильдяйство и разболтанность, безрукость, волокиту, бюрократизм.

В письме к П. А. Богданову от 23 декабря 1921 г. В. И. Ленин требует карать судом «за волокиту и святеньких, но безруких болванов (суд, пожалуй повежливее выразится), ибо нам, РСФСР, нужна не святость, а умение вести дело».

Качество партийности в новых условиях, условиях социалистического созидания, проверяется, с точки зрения Ленина, не только умением коммунистов грамотно вести свое повседневное, сугубо практическое дело, но и мерой гражданской ответственности, самостоятельности, инициативы, умением отстаивать общепартийный интерес. Он требует «ценить самостоятельных людей», умеющих настоять на своем, добиваться своего. Первоочередное требование Ленина к коммунистам в этой новой исторической обстановке — сохранять качества борца.

Партийное отношение к делу для Ленина ни в какой мере неравнозначно слепой исполнительности (хотя государственная дисциплина, с его точки зрения, святой и неуклонный закон); оно прежде всего — в деловом государственном мышлении, в верности общепартийному интересу, в умном, творческом подходе к порученной работе, в борьбе с антигосударственной практикой хозяйствования, которую рождают бюрократизм, равнодушие к народу, карьеризм, приспособленчество, индивидуализм.

Нужны были ленинская смелость и дар предвидения, чтобы в пору неотгремевших раскатов классовых битв, в пылу упоения романтикой революции столь круто поворачивать партию к трезвой, будничной практике, к необходимости «снова учиться с приготовительного класса», учиться «культурному подходу к

простейшему государственному делу», овладевать знаниями и высоким деловым профессионализмом.

Об этом трудном повороте, осуществлявшемся Ильичем с присущей ему волей, упорством, последовательностью и страстностью, — «Зимний перевал» Е. Драбкиной. События в книге, в опубликованной первой ее части, завершаются XI съездом партии. Последним съездом, в работе которого принимал непосредственное участие Ленин.

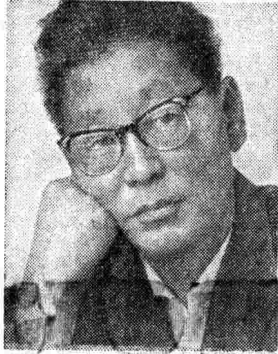
Ленин выступал на съезде, зная, что уже болен. В эти дни он писал товарищам: «Я болен. Совершенно не в состоянии взять на себя какую-либо работу... Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят». Он догадывался, пишет Е. Драбкина, об истинном характере своей болезни и, словно предчувствуя, что ему недолго осталось жить, торопился сделать как можно больше. Но речь его на XI съезде партии дышала оптимизмом, остроумием, жизнелюбием. «Причина — в том, что зимний перевал был преодолен, — замечает Е. Драбкина. — Впереди — весна. И таким же весенним был доклад Ленина». И он был такой же, как всегда, — «быстрый, подвижный, веселый, со смелыми и сияющими глазами»; «никто из присутствующих не мог и подумать, что он болен».

Именно в этом докладе Ильича были слова, которые для всех нас, пишет Е. Драбкина, прозвучали так же радостно, как победа в боях гражданской войны: **отступление окончено!**

В докладе на XI съезде Ленин дал не только глубокое обоснование новой экономической политики, прочертил стратегический курс, который должен был привести партию к победе, но самым подробнейшим образом говорил о качественно новой тактике борьбы, необходимой, чтобы вырвать победу.

Слушавший Ильича на XI съезде известный немецкий публицист Максимилиан Гарден так писал о Ленине:

«Тот самый Ленин, который немилосердно высмеял призыв Струве «идти на выучку к капитализму», произнес, при совершенно другой обстановке, можно сказать — под другим небом, знаменитые слова: «у каждого дюжинного приказчика мы можем и должны учиться». Он никогда не был более велик, чем в этой своей речи на XI съезде партии, в этой величественно-жесточкой откровенности своего признания... Болезнь уже подтачивала его тогда. Но прежде, чем закатилось его солнце, небо еще раз загорелось от блеска — и ни утро, ни полдень его дней не расточали столь ослепительного великолепия...»



**Семен
Данилов**

Ручей

Ручей, родившийся в горах,
таит восторг молчанья вечный...
О, этот сокровенный страх —
заговорить по-человечьи!
Скорей! Пропасть в траве, к цветам
припасть с беззвучным детским плачем.
И сразу — ветром по листьям —
раскрыться в шепоте горячем.
Но на его журчанье лось
большой мотает головою.
И заяц скачет вкривь и вкось,
дрожа под шубой меховою.
Охотник, милый, не спеши!
Не упusti заветный слухай.
Пойми язык моей души —
и жаждой век себя не мучай!
Она придет, твоя пора.
Но человек не обернулся.
И даже, как от комара,
он от ручья не отмахнулся.
Открыты дали! Что теперь!
За тугоухим по оврагу
бежать, как дикий синий зверь:
кругом разбрызгивая влагу!
Но есть свобода выбирать
на голубом пространстве жизни.
И есть свобода умирать
в еще неведомой отчизне.
Благословенен ясный миг
ручья, впадающего в реку.
Его таинственный язык
да будет внятн человеку!
Река да будет вольно течь
и станет вновь ручьем полнее,
ручьем светлей, ручьем вольнее,
как сердцем жизнь, как словом речь!



Изнурен суетой городской,
я ложусь в молодую траву.
И, к земле припадая щекою,
я шепчу, задыхаясь: ау!
Голос робкий кукушки из чащи,
колокольчик, разинувший рот.
И ручей на поляне, журчащий,



над которым синица поет.
Надо мною все выше и выше
в голубое береза летит.
И в душе моей шелест я слышу:
«Успокойся, будь выше обид!»
В дальних-дальних лесах нелюдимых
под торжественный, чудный их шум
нелюбимых моих и любимых
вспоминает взволнованный ум.
Память каждому встречному рада.
Я у самых небес на краю
ни обиды на них, ни досады,
ни упрека в душе не таю,



Уж я смотрю на жизнь трезвей и проще.
Но утренняя светит мне звезда.
И юности березовая роща
небесный шум струит через года.
На праздник жизни гостя молодая,
еще не зная скуки и обид,
среди ветвей душа моя лесная
косулею пугливую летит.
Теперь не то. Но путь лежит яснее,
и далеко еще до темноты,
и за спиною стыннут, пламенея,
в снегах рассветных юности мечты.
Дай посмотреть на прошлое бесстрастно
в тот час, когда в закатный входит стих
былинный дух родимого пространства
чертами современников моих.
Судьбы бездумный ветер дует в лица.
Как от костра, расширены зрачки.
И времени жестокий снег ложится
на молодые, как вино, виски.
Я славлю день их радостный, как утро!
Но где возьму я прежние слова!
Мне солнце густо впутается в кудри,
и золотую станет голова...
И вот стою — как будто жизнь сначала.
Зарям обeim руки подаю.
И на земле, исполненной молчанья,
я сердца песнь весеннюю пою.



Если я в городе занемогу,
Раннею ранью
Встану и смело отправлюсь в тайгу,
В ту, что бескрайня.
Чистую память и сердце легко
Птицам доверив,
Буду идти далеко-далеко,
Дальше деревьев.
И по дороге, верность храня,
Резвы и чутки,
Лечат от шума и грусти меня
Зайцы и утки.
Но оборвется где-то тайга,
И из тумана,
Словно из детства, ясна и строга,
Глянет поляна.
И от великой ее тишины
Я перед нею
Остановлюсь у последней сосны,
Сердцем светлея...
Вот он я — вышел в путь поутру —
Не заблудился!
Важно не место, где я умру, —
Где я родился!

Перевел В. ШАРГУНОВ.

Радий Кушнерович

КАМЫШИНСКИЕ

Рассказ о том, как были избраны Королева красоты и Первый парень города

Такое уж совпадение: «Мисс Америку» 1968 года и «Королеву города Камышина» избирали одновременно. Одну зовут Джуди Форд, другую — Наташа Куликова. Обе, конечно, и не подозревают о существовании друг друга. Их разделяют двадцать тысяч километров и многое другое, поэтому всякое сопоставление выглядит вроде бы неуместным, не правда ли?.. Впрочем, разберемся.

ПО ГЛАВНОМУ ПРОСПЕКТУ двигалась от горсовета лихая процессия. Молодые парни, ряженные скоморохами, в лаптях, плетенных из телефонного кабеля, горланили во всю мочь:

— Эй, граждане, горожане, пришлые и прирожденные камышане, не хлопайте ушами, а слушайте, слушайте! Кто молод, кто стар и кто душой не устал, пионеры и пенсионеры, подчиненные и начальники, веселые и печальные, супруги законные и просто так знакомые, слушайте!..

Слушателей вскоре набежало великое множество, главный скоморох — его звали, как потом выяснилось, Юра Гашев — выкрикнул суть события:

— Нашему славному Камышину триста лет! По такому случаю постановил горсовет: праздник на весь белый свет!

Город, что был три века назад основан при слиянии речки Камышинки с Волгой-рекой, — очень типичный русский городок, старинный и молодежный, центр сельского района и промышленный центр, некогда известный как «арбузная столица», а ныне славный мощнейшим в Европе хлопчатобумажным комбинатом (сокращенно — ХБК, расчетная мощность — почти миллион метров ткани в сутки), — этот город собирался на славу отметить свой трехсотый день рождения. Планировались ярмарка, народные гулянья, а также Ситцевый бал, который должен был завершиться избранием Первого парня и Коро-

левы. Необычное мероприятие — в России его «не проводили» со времен язычества. Правда, в западных странах устраивают конкурсы красоты ежегодно, но их опыт следовало считать скорее отрицательным, поскольку тамошним выборам неизменно сопутствует коммерческая реклама, нечистый ажиотаж. Так что сама идея сначала внушала сомнения: — А зачем, собственно? И так каждый год самых достойных выбираем — комсоргами.

Это мнение высказал не в шутку один работник Волгоградского обкома ВЛКСМ, и я цитирую отнюдь не для смеха. Действительно, мы настолько ожигались с представлением о Первом парне и Лучшей девушке как о борцах и мечтателях, как о личностях, прекрасных прежде всего своим внутренним миром, что вот теперь вдруг кого-то выбирать сугубо по внешности? Скидывая со счетов общественные и гражданские доблести, потому что их разве разглядишь на балу?..

Затяя кое-кому в Камышине показалась настолько «чреватой», что поступило предложение: наметить (и проверить!) кандидатуры заранее. Забегая вперед, скажу, что решено было все же довериться стихийному вкусу молодых камышан и что вкус этот сработал безупречно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ составит суть и ткань этого очерка. Диалоги, услышанные и записанные, когда вместе с хозяевами города я искал Лучшую и Первого.

— Как это Королева? — недоумевали некоторые. — «Мисс Камышин», что ли? И как же ее выбирать? По чину или по чему? Может, по экстерьеру?.. Это пусть там так выбирают..

А между прочим, и в Америке не так уж просто смотрят на эти выборы. Вот, скажем, газеты, и в них репортаж о бурной демонстрации возле Конгресс-за-

Д И А Л О Г И

ла, где выбирали «Мисс Америку». Пресса свидетельствует: демонстрантки были сплошь «привлекательные юные девушки из среднебуржуазной среды, судя по выговору, хорошо воспитанные и образованные, в европейской (то есть импортной) обуви» и т. п. А вот их лозунги: «Выборы Мисс Америки — или аукцион скототорговцев?...» «За мясом — к мяснику!» (В качестве иллюстрации изображение женского тела, разделанного на манер говяжьей туши, по всем правилам мясницкого искусства.) «Девушек коронуют — парней убивают!» (Короны и диадемы — почти единственная «одежда» претенденток; ну, а убивают известно где: во Вьетнаме.) «Мисс Америка есть, и она во гневе — она в Гарлеме!» (ведь среди претенденток ни одной негртянки!) «Игрушка? Кисанька? Талисман на счастье?... Я — женщина!»

Жюри тщательно оценивало объемы груди, бедер и другие данные молодых ткачих Людью Стороженко на высокий титул, подсчитывало шансы за и против...

Впрочем, я отвлекся: вернемся в Камышин.

— Что ж, — слышал я от горожан, — молодежь нынче красивая, есть что показать. Очень из себя показательные есть!

— Надо, надо молодежи себя увидеть с точки зрения... По сравнению... Но с умом надо: чтобы не одна красота виднелась.

— Жаль, заранее не объявили. При соответствующей подготовке можно очень все подтянуть. Я про общефизическую подготовку...

Мнения пришлось услышать разные. Здесь я привел суждения молодых ткачих Людью Стороженко и Лиды Силаковой, рабочего Вишнякова, одного учителя физкультуры. И впредь буду ссылаться на авторов, когда возможно. Город только и говорил о выборах, журналисту лишь поспевай записывать: в автобусе, в парке, в общежитиях.

— ГОРОДОК НАШ — НИЧЕГО, — кого ни спроси, все так начинают, — население таково: незамужние ткачихи... Что такое Камышин без ХБК? Островского проходили, «Грозу»? Город Калинов — это же и есть старый Камышин. Кабанихи разные, темное царство. Пятнадцать тысяч жителей. А теперь с комбинатом — без малого тысяч сто. И каких жителей — сплошной рабочий класс, из них и выбирайте!..

Эта беседа была личная, и пусть не поставят в вину С. К. Дмитриевой, великой патриотке нового, индустриального Камышина, ее запальчивость.

— Да, комбинат — это, конечно. Но и у нас предстория найдется. Островский, «Гроза» — это же про нас. Кулигин, самородок, — камышинский. Опять же луч света в темном царстве наш!..

— Обратили внимание: в Камышине, в его архитектурном облике — ни малейшей безвкусицы? Не в пример иным большим городам, увы! А старый Камышин просто красив. И своеобразен, неповторим. Истинно русский городок.

Последние высказывания принадлежат Диме Мамонову, художнику и поэту, и Нине Чхеидзе, художнице-керамистке. Оба — бывшие коренные ленинградцы (и прописка была!), а ныне камышане. Их уже зазывали в Волгоград, где они сработали великопанное мозаичное панно для нового цирка. Но они не поехали.

— Да ну, этот Камышин! Из кого тут Королеву выбирать? Не из общежитий же!

— И так, знаете, мне тут глянулось, и общежитие и девушки, что так я и не вышла... в другой город. А он сюда не поехал...

Последние высказывания нуждаются в комментарии. Неодобрительно про женские общежития ото-

звалась одна неподдельная блондинка, Лидя, прядильщица с 1-й фабрики ХБК (фамилии называть не стану, уж очень предвзятое это ее мнение, хотя, увы, не от нее одной слышанное). Дочка упомянутой С. К. Дмитриевой, представительница городской интеллигенции, отказалась пойти на диспут, поскольку проводился он в одном из общежитий: чтоб там ее и не видели! А что касается Лиды, то она, хоть и приезжая и не семейная, но принципиально живет «на квартире». И папа ее, когда привез дочку в Камышин и определил на комбинат, тоже строго-настрого ей наказал жить «исключительно не в общежитии», — уж он-то «знает, какое там безобразие; сам молодой был!»

ЖЕНСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ в новых кварталах — два десятка больших стандартных домов — действительно примечательны. Даже внешне. Они светятся. Буквально. Вечером во всех окнах общежития свет, и по нынешним временам, когда с квартирами утрясается и в обычных домах горит едва ли одно из трех окон, фасады общежитий во многом определяют облик города. А если еще учесть, что окна по причине мягкого климата сплошь распахнуты и на подоконниках сидят юные обитательницы и переговариваются друг с дружкой и с парнями, которые клубятся внизу, а во дворе под густыми деревьями гитара, то...

То что?! Хотя бы к сведению Лидино папаша могу сообщить, что пройти в камышинское общежитие можно, только минуя вахтера, который с пристрастием расспросит, к кому ты и по какому праву, а вдобавок еще и нюхает: не выпивши ли? В определенный неподзвонный час все гости должны покинуть дом, а еще часом позже соберутся с прогулкой все пятьсот хозяек, ибо дверь закроется, и опоздавшим придется иметь официальную беседу с комендантом общежития или задушевную — с воспитателем. Еще замечу, что проживание в общежитии стоит, включая постельное белье, душ, свет, газ, два рубля пятьдесят копеек в месяц. Отсюда:

— Королева — только не из тех, которые на квартирах живут, сами понимают!..

— В общежитии жизнь для девушки очень полезная. Если одна в комнате ходит на учебу, глядишь, и другие две туда же: мы же, молодые, очень поддаемся влиянию! А уж насчет парней — это как закон: если хоть у одной хороший юноша заведется, все его за пример берут. Хорошего всем видать, с хорошим разве станешь по-тихому дружить, по парадным?

— Или, к примеру, мини-юбки. Их и по телевизору показывали, и Дом моделей приезжал — носите, пожалуйста! Но никто не носил, хотя в семнадцатом общежитии одна не решилась. А уж тогда весь город! А вот туфли эти тупорылые так и лежат в магазинах. Общежития их не приняли!..

Вообще против общежития из тех, кто там уже живет, не высказалась ни одна. Некоторые даже чуть возмущались:

— Одной жить? В одиночестве? А зачем бы?

И только Ирина Мещерякова, та самая, которая «не вышла в другой город», вдруг сказала:

— Конечно, в одиночестве трудно. Хотя надо бы преодолевать трудности, да?..

Ирина окончила техникум и работает на инженерной должности, и лет ей уже двадцать четыре. Ей предлагали отдельную комнату, хотя в том же общежитии, ведь она помощница воспитательницы, председатель молодежного клуба. Но Ира не захотела жить одна. Или не смогла? Во всяком случае, она ничуть тем не гордится.

Еще добавлю, что Ирина начитанна, музыкальна и, несомненно, красива. Особенно хороша она была — тактичная, властная, увлеченная, — когда председательствовала на организованной ее клубом бурной дискуссии про то, что же такое Первый парень и Лучшая девушка. Я еще приведу многие высказывания, которые там услышал. А называется руководимый ею клуб не «Бригантина» или «Романтик», как в иных общежитиях. Называется — «Нежность»...

«ЛУЧШИЙ ПАРЕНЬ ТОТ, который отсюда уже уехал!» — эту решительную фразу сказала Вера Хлынина, студентка Волгоградского пединститута, а в Камышине она приехала к родителям на праздники. Свою мысль она пояснила просто:

— Первый парень — значит, он учится, к чему-то стремится, мечтает о невозможном... Ну, хочет чего-то к р о м е того, что имеет. А здесь... заработать-то ему дадут. Но, может, потому и деньги платят, что другого интереса парню дать не могут?

К цитированным заявлениям я еще вернусь, а сейчас — про автора. Вера весьма белокурая и черноглазая, фотогеничная, по всем статьям могла бы претендовать на роль Королевы. Однако принять участие в конкурсе не пожелала, проявив и тут самостоятельность суждений:

— Недолюбиваю я массовые праздники, все эти тематические танцульки. Кто мне сделает праздник, кроме меня самой?

Съемочная группа Центрального телевидения, приглашенная в Камышине на трехсотлетие, предложила Вере роль — не Королевскую, но не менее заманчивую — в снимающемся фильме. Какая девушка от такого откажется? Вера отказалась, тем самым немедленно набила себе цену, и уже не безумые ассистенты, а сам режиссер-постановщик, человек солидный, известный и с бородой, повторил предложение. Вера вновь ответила спокойным отказом и отбыла заканчивать свое образование, утвердив многих во мнении, что и лучшая девушка Камышина — та, которая уже уехала...

«СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ Камышинского ХБК от члена ВЛКСМ прядильщицы Зинаиды Ш. Прошу снять меня с учета из-за перемены места жительства на другой город...»

А порядок увольнения на ХБК таков. Заявление подают в общественный отдел кадров; в его составе партийные и комсомольские руководители, заведующий производством. Заседают раз в неделю, разбирают по двадцать — тридцать заявлений — это на каждой из фабрик, а всего по комбинату?.. Распрашивают, почему увольняешься. Доискиваются до истинных причин, стараются тут же устранили их. Если же серьезного резона не находят, то пишут на заявлении в углу: «Причин для расчета нет». Теперь расчет может дать только директор, но он первый заинтересован в кадрах... Словом, потребуются еще хлопоты, время — на это и рассчитывает общественность: а вдруг одумается, ведь причин-то для расчета не обнаружено, для некоторых остаться — только на пользу...

— Так вы куда уезжаете?

— В Ярославль.

— Непонятно. Здесь вас уже знают, ценят, заработок — грех жаловаться. Так зачем же уезжать?

— Ну... у меня тут глаза болят.

— Это поможем: переведем на другой участок.

— Нет, я уже решила. Увольняюсь.

— Но причина-то какая?!

— Ну... мне романтики хочется. Романтики дальних дорог. Молодости ведь свойственно мечтать об алых парусах.

— Какие еще дороги: три часа лету, и на месте!

— Да не останусь я! Ну... пора и о себе подумать, понятно? Двадцать три мне уже, двадцать три года!

— А! Парень туда зовет, что ли? Парень-то есть?

— Нет еще... Пока еще нет.

Резолюцию наложили «рассчитать». Потому что хотя парня пока и нет, но он будет — в Ярославле, где, кроме текстильной, имеется и другая, тяжелая, мужская промышленность. Не то что в Камышине: большое «производство средств производства» еще только строится, демографические проблемы только еще решаются, а девичьи годы уже идут...

— Почему увольняюсь? Да нет, замужем я, муж и надумал уехать. Я-то не мечтаю отсюда, но сам-то... Заедает его...

«Конкретнее» Алла Шацкая высказаться не хотела. Но когда она ушла, девушки и женщины, заседавшие в общественном отделе кадров, покачали головами: все понятно. Это опять к вопросу о Первом парне «Ситцевого городка». Здесь у него, у парня, перспективы заметно бледнее, чем у его подруги. Самые высокооплачиваемые и творческие профессии ныне у женщин.

— Да, тут нужна нежность в работе, плавность. Плавность присучки. Сами попробуйте, вот я вам ленту порву, ну! Ха-ха-ха, ну и присучили, комом! Уж не старайтесь, тоньше не выйдет — вон у вас моль от самописки; ласки у вас нету, в руках по крайней мере... Я заранее скажу: Королева будет из прядильщиц.

Недавно с комбината уволился последний ткач. Результат каких-то орехов в руководстве? Возможно. Или общая атмосфера «женского» производства?..

— Руки-то у меня рабочие, но у меня, может, и голова рабочая!

И правда, вполне мужественный парень и современный, толкует со смыслом и с иронией, как нынче положено. Сгодился бы на роль Первого... И я ловлю себя на мысли: тем больше он мне нравится, что надумал подать заявление: не желает ходить в «незаменимых подсобниках», в «дефицитных разнорабочих». И уже нечто истинно высокое видится в той вроде бы банальной истории с Ириной Мещеряковой: быть может, не в том дело, что «не сошлись характерами», «не поняли друг друга». Именно поняли: для нее здесь, в женском городке, жизнь складывается интересно, широко, богато — вот и сделала выбор. И он, кажется, ей под стать: не пожелал устроиться лишь бы как...

Вот парадокс: женщины в Камышине чувствуют себя хозяйками жизни, и по праву, а из парней наиболее победно, самонадеянно ведут себя как раз те, кто имеет к тому наименьшие основания: всякие «охломончики», «мелочь пузатая» (увы, опять цитаты из местных авторов!). Но эти-то мальцы и задают тон на улицах, в парке, на танцплощадке. «Я же мужчина, я ее всегда стою».

И вот без всяких объяснений, молча кладет на стол: «Заявление. Прошу уволить по собственному желанию. Кирильчук Надежда». А когда написали «причин нет», сказала:

— Все равно не удержите. Вы меня знаете!

Действительно, как не знать Надю Кирильчук! Первой из ткачих выполнила двухлетний план, награждена почетными грамотами, чем-то еще более почетным и звонким. Заработок завидный, комната на двоих, и в этой комнате на всем печать вкуса, основательности, особого, незагроможденного уюта. И сама красивая, рослая, с хозяйскими интонация-

ми, правильная вся. Уж у нее-то женихов хватает, не так ли, Надя?.. Но она верна себе, она собирает чемодан, не вдаваясь в подробности.

А в отделе кадров ХБК (не общественном, а обычном отделе кадров!) тоже очередь. Десятки девушек, от пятнадцати до двадцати, со всех концов страны. Разговор с ними короткий, берут всех, сразу направление в цех и в общежитие. Но надолго ли они? И главное: кто из них уйдет? Неужели лучшие?..

НА ТАНЦАХ продолжили мы наш поиск. Многие приходят искать Лучшую и Первого на эту площадку.

— Ой, танцы — это же разговор без слов, я бы всю жизнь, всю жизнь!..

— Совет танцевать, а сам сигареты изо рта выплюнул. Сразу и видно, может он уважать женщину или наоборот...

— А за что ее уважать-то?! Раз она ходит сюда, танцует со всеми!

— Если девушка танцевать не любит и не поет, то какая это Королева?!

— Вот все говорят: скромность, скромность! А на танцах на тихих, скромных внимания не обращают. А вот если на мне юбка минимальная, прическа выскокая...

— Интересно танцевать не со скромной, а с эрудированной, которая вносит в общество что-то новое.

— Первый парень? Ну, конечно, рост! И чтобы танцевать умел, поднять бодрость. Чтобы вообще умел вести себя: а то потанцует и даже до места не проводит. И насчет внутреннего содержания тоже можно определить: бывает, из себя хорош и культурный, а нахально так танцует, и отношение к нему уже не то!

ВО ДВОРАХ, НА СКАМЕЕЧКАХ тоже обсуждался интересующий нас вопрос.

— В старое время, до революции, как выбирали? На гулянке и выбирали: которая девка лучше празднует, хороводит — та, значит, и работу ломит. Та и есть лучшая девка, а как же?..

— Прежде еще как считалось: чтоб страх знала, божий или какой. А теперь которая в бесстрашии живет, та и лучшая.

— Раньше сколько у мужика жен ни помирай, а к весне все жениться надо: он в поле пашет, она дома со скотиной. В хозяйстве мужская и женская была работа. А теперь он зарплату в дом, и она тоже, деньги что мужские, что женские. Как тут угадаешь, которая первая девка? По любви приходится жениться. Семья нынче любовью держится, не хозяйством...

НАД КОМБИНАТОМ в три смены горят огромные слова: «Человек красив в труде». Когда приезжие киношники нацелились на эти буквы своими объективами, Галина Кирилловна Корепанова, секретарь парткома ХБК, заметно поморщилась:

— Лозунг-то... не исчерпывающий!

Уж она знает, как выглядят эти тысячи девочек, когда идут чуть свет на смену, а тем паче когда со смены. И взгляд у секретаря сочувственный, женский. То ли дело, когда они на отдыхе, выспавшись, нагулявшись. И все же человек в труде действительно красив. Прядильщица у станка — это же бабет! Ее движения выверены, неторопливы и стремительны одновременно, в них та абсолютная целесообразность, которая и составляет сущность всего прекрасного. А взгляд несуетный, увлеченный, ибо осложнения, которые возникают то и дело, нестандартны, заранее не предугадываются; словом, работа ее творческая. А цех вокруг нее огромный

и пустынный, трубы под стеклянным потолком распыляют воду для увлажнения воздуха, голубоватый туман клубится под ажурными фермами.

И вот именно в цехе, где только работа, работа и работа, девушки всегда приодеты, причесаны. Всем обликом своим они говорят, что готовы к чему-то обязательному и важному — к работе, например. Между прочим, неизвестно, стал бы ли, к примеру, Дон-Жуан так следить за своей внешностью или иной поэт за красотой созвучий там, где заведомо не встретит ценителей? А рабочий человек следит!..

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ тоже, естественно, обсуждали проблему Первого парня и Лучшей девушки.

— Ну, значит, так. Первым парнем достоин называться только тот, который честный, принципиальный, а также дисциплинированный производственник...

Мне повезло: Надя Сапогова, врио секретаря комитета 1-й фабрики, высказывалась исчерпывающе и даже замедляла течение слов, чтобы корреспондент мог записать в точности.

— Еще какие у вас, Надя, требования?

— Значит, так. Еще чтоб был чуткий, отзывчивый, образованный. Хотя образование — это не обязательно: всегда заставить можно, чтоб выучился... Как кто?! Девушка его заставит, любовь ведь творит чудеса, иначе это не любовь. Теперь внешность. Внешность не имеет значения. Никакого. Одна моя подруга очень зрело сказала: «Дело не во внешности твоей, а дело в человечности твоей». Потому что если у него барские замашки или слишком много вульгаризма, то такая внешность меня не только не радует, но и опозорить может. Да, бывает, идет красавчик, интеллигентный, а на нее даже не смотрит. А вот если сам неинтересный, но ведет ее бережно...

— Надя, что значит, по-вашему, «интеллигентный»?

— Как что: нафуфыренный, вид министерский... То есть это которые считают себя интеллигенцией... А вообще-то, я понимаю, интеллигентные не такие — это которые аккуратные, подтянутые и одетые со вкусом. В общем, врачи, учителя... Сама работа благоприятствует, чтобы одеваться со вкусом.

— Вы учитесь?

— Конечно. На педагогическом...

Я обратился еще к одному комсомольскому секретарю, Вере Фоминой.

— Ну, хороший производственник должен быть... — она тоже начала с уставных критериев, — эрудированный. Хотя это не главное...

У Веры стаж комсомольской работы побогаче, и опыт за ней: она поработала в цехах, и когда водила меня по фабрике, удовольствие было слушать ее объяснения, а еще больше — смотреть: она останавливала и запускала станки, заряжала веретена, присучивала с профессиональной сноровкой. Может быть, именно поэтому и не было у нее относительно идеала той безапелляционности, какую проявила ее коллега.

— Общественник... Но это тоже не главное. — И вдруг: — А то выбрать бы среднего производственника, но чтоб смотреть было приятно! А Королева — чтоб светился человек! И чтоб была непременно с косой! Хотя это тоже не главное!..

Вера призадумалась. Лучшая и Лучший? Для нее это вопрос не отвлеченный, ей воспитывать этих лучших. «Красота? Да, но это не все. Культура? Ну, это давно известно. Ум, сила? Старо. Нет, не то чтобы устарело, но...»

И так получалось, что для молодых камышан, которых по праву представляет комсорг Вера, все эти исконные мужские и женские добродетели не то чтобы устарели, но пополнились новым, порою взрывным смыслом. Да, новые понятия еще только вызревают в недрах стародавнего слова, но пользоваться пока приходится им же, и это прямо-таки раздражает моих собеседников.

— «Красота»? Терпеть не могу этого слова!

— «Умный мужик». Ну, что значит «умный»? Значит, не дурак, да? Выпить не дурак? Подкальмить не дурак?

Вот удивительно: и ткачиха Т. Быценко, и шофер Д. Мырнин, и многие, кого мы еще будем цитировать, едва задумавшись над нашим вопросом, сразу же стремились вступить в полемику с словом, которым люди искони определяли первых и лучших. Естественно, начинались муки: как выразить это нечто, идущее изнутри, из... Из души, что ли?

— Ха! Вы еще скажите «душевность»! Как в служебной характеристике: «душевный товарищ»!..

Впрочем, так ли это ново? Давным-давно известно, что правильность черт — еще не признак истинной красоты, для определения которой и придуманы «обаяние», «очарование», «симпатия». И когда наша знакомая Вера Хлынина сказала: «Свобода — это уже красота; смелость, честность — тоже красота», — то она, конечно, открытия не совершила. Да и сама духовность — ведь речь именно о ней — тоже разве неологизм?..

Да, мои друзья-камышане не нашли пока новых слов, определяющих человеческую красоту. Уродства души и тела отвращают их, молодых и здоровых. Хорошее лицо, глубокий разум, доброе сердце влекут, как и встарь. И все же это что-нибудь да значит, если и в красоте, и в уме, и в силе, и буквально в каждом столь же несомненном качестве они изо всех сил выскивают новые, по их суждению, современные признаки. Притом тенденция единая: от внешнего — к внутреннему!

ИТАК, УМ.

— Это хорошо, но если он только в своем деле умный, то это еще не ум!..

— За умным не пропадешь. Хотя... вот был у меня знакомый парень, двадцать шесть лет, уже прораб, квартира своя, в общем, не дурак. Все ходы-выходы знает, ничем его не удивишь... В общем, скука! (Люда Стороженко, ткачиха.)

— Если у тебя ум, чтобы им только для себя пользоваться, то какой же это ум? То есть ум-то это ум, но не интеллект. А вот если человек умом живет, да не выгадывает умом, а живет, то это уже современный человек. Интеллектуальный! (Слава Грибков, школьник.)

— ЮМОР — это и Королеве и Первому парню обязательно. Конечно, к работе, к своей — всерьез, а вот сам к себе — не обязательно. (А. Р. Смелчук, учитель.)

— По-моему, чувство юмора не в том, что умеешь повеселиться над человеком, то есть на чужой счет. Понять шутку — это всегда уметь. А вот принять шутку, то есть на свой счет посмеяться, — это уже юмор...

— РАБОТА — это же главное! Настроили дворцов культуры, аттракционов. А на комбинате многие подсобные работы не механизированы. Мне не отдыхать скучно, мне работать скучно!

— Конечно, энтузиазм, комсомольский задор — без этого нельзя. Хотя теперь пошла такая технология, что «давай, давай» уже не годится. Теперь профес-



Наташа Куликова

сиональная работа очень в цене, знать надо дело. (Общежитие № 22, беседа в красном уголке.)

— Труд создал человека. Труд, а не любовь. И все!

— КУЛЬТУРА — она не в воротничке-галстучке, это теперь у всех. А вот, бывает, он только спросит: «Девушка, который час», — и уже чувствуешь: культурный.

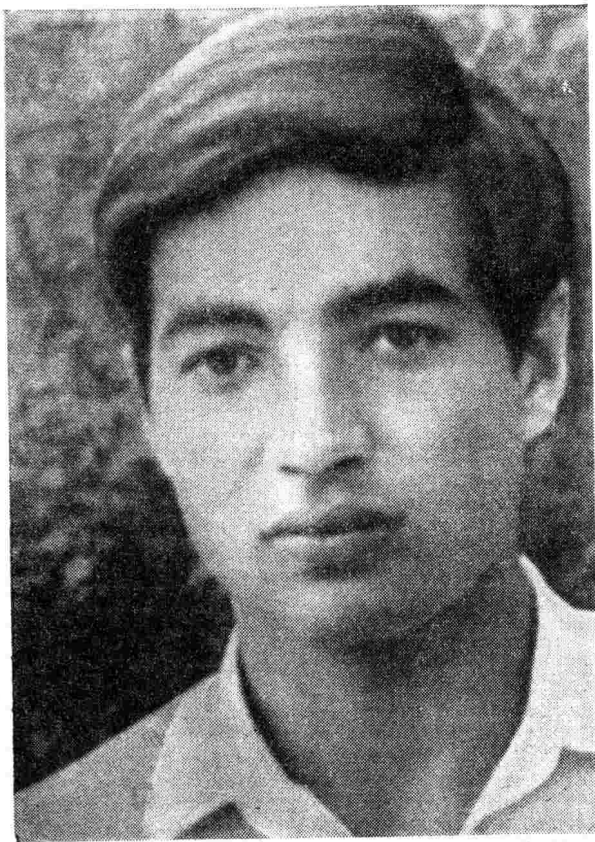
— Дурака, говорят, и в бане видать. А культурно в любой одежке, даже на воскреснике.

— Вид-то у него инженерский, но... Это как оса: тоже полосатенькая, тоже лоск, но не воск!

— МОДНОЕ — это, я считаю, дешевое. Сегодня купила — завтра выкинула. Тут и вкус можешь показать. А то какую моду взяли: джерси, сапоги за семьдесят рэ. При чем тут вкус?! Это уже не на одежду мода, это уже червонец в моду вошел!

— Как одет? Хорошо! Даже не помню, как.

ПОЛТЫСЯЧИ КРАСАВИЦ И КРАСАВЦЕВ собралось в городском парке на Ситцевый бал, конец и венец камышинского праздника. Спрос на билеты был чрезвычайный, сотню распространили через комсоргов и воспитателей общежитий, но большую часть получили победители разных «потешных» и не только «потешных» конкурсов. Самодеятельные затайники проводили эти частные состязания во время гуляний. К примеру, как выяснить самых сильных? А вот, кто большее число раз поднимет... детскую погремушку! А самые изобретательные массовики даже постарались выявить носителей таких абстрактных достоинств, как Доброта (разделить пять подарков четверем друзьям, один дар можно оста-



Володя Боженков.

вить себе — какой?); или родительские качества (кто лучше запеленает куклу-голыша?). Еще устроили конкурс на лучшее ситцевое платье — вот уж был парад красавиц! Победительницам — билет на бал. Ну, и еще сколько-то билетов «выбили» киношники; распространяли они их сугубо по знакомству, заботясь лишь о том, «что будет в кадре», и принципиально не интересуясь тем, что «не смотрится». Так что некоторые из устроителей опять забили тревогу:

— А не прорвется ли в Королевы какая-нибудь... не такая?

Вновь извлекли на свет давешние засекреченные планы; согласно проекту № 1, на соискание должности Королевы была выдвинута одна видная общественница, проверенная по всем анкетным данным, и вообще комсорг большого предприятия. Предполагалось, что компетентное жюри «все обеспечит», особенно если автор проекта окажется в этом жюри председателем. Имелась еще одна красивая кандидатура, зав. галантерейным отделом, и к тому же «королевское» платье, заказанное в ателье индпошива, оказалось как раз по ее мерке; словом, девушка «без страха и упрека». (Не ставить же ей в упрек, что она согласилась не проявлять эмоций, когда ей при входе на бал невзначай дадут номер 89, и, напротив, выразить чувство застенчивого удивления, когда этот номер вдруг объявят выигравшим?)

Однако эти и подобные проекты были отвергнуты, выборы состоялись прямыми, тайными, абсолютно демократическими. Конечно, организаторы бала устроили игры и хороводы, чтобы «избиратели» могли лучше разглядеть друг друга, и все же результат удивил многих.

Представьте себе стройного шатена, глаза веселые, лицо спокойное. В конкурсе бальных силачей он переживает (рука против руки!) одного за другим остальных претендентов. Что ж, я готов почитать девушек, которые отдали за него голоса. Хотя были и другие парни, тоже вполне пригожие.

Вежливо знакомлюсь. Расспрашиваю с осторожностью.

Зря вы боялись, товарищи устроители! Да и я сам, признаться, опасался: что доложу моим читателям про Первого парня города Камышина? Что он модный и видный — и только?

Володя Боженков оказался и силачом, и участником самодеятельности, и патриотом Камышина (получил образование в большом городе и вернулся), и остро-словом, и работягой (сейчас сам перестраивает старый отцовский дом!), и преподавателем музыкальной школы!

И Королева была избрана так же безошибочно — по чистому массовому наитию, не иначе. Она явно не готовилась получить корону, даже платье надела самодеятельного пошива и не ситцевое, как было обусловлено для претенденток. И, кроме того, в ней наблюдалось множество несовершенств, и самое милое из них — разные глаза: один серый, а другой наполовину серый, а наполовину (четкая грань через всю радужную) карий. Словом, очаровательную и небанальную Королеву избрали себе камышане. Это стало особенно ясно, когда обнаружилось, что она, имея законченное среднее образование и уже работая лаборанткой, может сплясать мастерски, и спеть может артистично, и вообще неподдельно «заводная» — и все это в 17 лет!.. А зовут камышинскую Королеву Наташей, по фамилии Куликова.

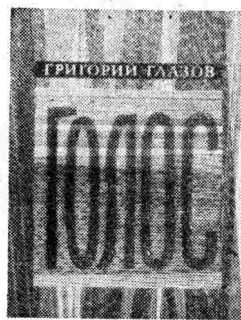
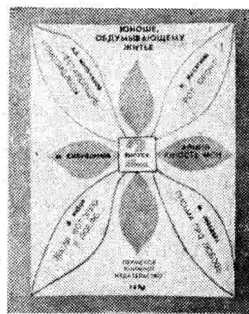
СУДЯ ПО ФОТОГРАФИЯМ, параметры американской королевы, объявленные оптимально совершенными, по-видимому, таковыми и являются. Соотношения ее объемов уже разосланы во все портновские фирмы: ее бедра, бюст, улыбка опубликованы и размножены; туалеты, от нижнего белья до вечерних платьев (идентичность копий гарантируется!), уже в широкой продаже. Красота поступила на поток. Собственно, так оно и задумано: определенная часть общества желает иметь наглядный идеал для подражания, притом идеал, в принципе достижимый, без признаков личности, которая, разумеется, всегда неповторима, уникальна и тем самым исключает бездумное копирование.

Стандарт — этим словом чаще всего определяют «Мисс Америку» в самой Америке. Соответственно роль ее — стать эталонным экземпляром человеческой породы в производстве ширпотреба и главное в его рекламе. Весь год она проработает главной манекенщицей, на нее будут примерять ситцы и меха, автомобили и мебель, губную помаду и даже политику. Побывает она и во Вьетнаме, дабы ободрить соотечественников, одетых в стандартное, но, увы, немодное хаки...

Нет, мы не собираемся сравнивать. Камышинская Королева, как и Первый парень, для прямого подражания непригодны: индивидуальность в них явно проглядывает, и тут ничего не поделаешь!..

— Лучшая девушка? Главное, она должна отличаться, а не быть похожей, — сказал Владимир Боженков, избранный Первым парнем города Камышина.

— Да, славный молодой человек... есть в нем... что-то свое. Я тоже за него голосовала. Я считаю, Первый парень должен быть прежде всего самим собой, — сказала Наташа Куликова, Королева города Камышина.



Их даже трудно назвать брошюрами, потому что со словом «брошюра» обычно связаны понятия политического, социального и экономического характера, а так как здесь разговор пойдет о нравственности, то, пожалуй, было бы удобней назвать их маленькими книгами, объединенными одной серией — «Юноше, обдумывающему житье» (Пермское книжное изд-во).

«Земля, которую я люблю...» Д. Ризова говорит о любви к Родине, но не как об абстракции, а как о знакомом, теплом клочке земли. Для автора любовь к Родине не особая заслуга, а естественное, органично связанное с человеком состояние и отсутствие ее — болезнь, уродство, вещь непонятная, как для слепого неизвестно понятие цвета. Д. Ризов часто обращается к воспоминаниям детства, юности, но это не попытка автобиографии, а скорее средство показать людей и природу. Многие главы книги пронизаны лирикой, чувством глубокого понимания окружающего мира. Может быть, поэтому особую тревогу автора вызывают заросшие пруды, вырубленные деревья в парке, груды развалин вместо церкви. Ризов, рассказывая о знаменитом поселке Ильинское, где жили ученый-лесовод А. Е. Теплоухов, ботаник-профессор П. В. Сюев и крупнейший русский архитектор А. Н. Воронихин, с горечью говорит о том, что местная молодежь почти ничего не знает о знаменитых жителях своего поселка. Правда, после выступления газеты три улицы Ильинского были названы именами Теплоухова, Сюева, Ворони-

хина, но это мало что изменило.

Мир, в котором живут герои книги, имеет два начала. Одно из них — «Мое!» «Мне!» «Я!»; второе — неписаный человеческий закон: бери от земли меньше, чем способен отдать, то есть бережное, чуткое отношение к земле, а значит, и к людям, населяющим ее.

Я рассказал всего об одной из пяти книг, адресованных молодежи, но это, конечно, не значит, что она лучшая или главная. Другие книги не менее серьезны и интересны: «Рот фронт» И. Масеткина рассказывает о борьбе заключенных в фашистские концентрационные лагеря, «Письма про любовь» М. Лебедевой — о сложности и красоте человеческих взаимоотношений, «Армия — юность моя» М. Смородинова — о буднях и тревогах армейской жизни, «Нестареющие комсомольцы» бывшего секретаря ЦК ВЛКСМ А. Мильчанова — о делах и судьбах первых комсомольцев Перми.

А. АФАНАСЬЕВ

Сборник стихотворений Григория Глазова открывается своеобразным обращением, данным себе и читателю:

Я приступаю к новой книге.

Вот стол.
Вот чистая тетрадь.
Войны тяжелые вериги
я не хочу с собою брать.

Но не так-то легко сдержать это обещание поэту фронтового поколения. Не так-то легко уйти от трудного начала:

«То спотнусь на дымном слове, то в память провалюсь по грудь». Память беспощадна. Идет жизнь, давно прошла война, но «все помнят вдовы», но в тиши поговоров «на табличках надписи кричат».

Тоненькая ниточка соединяет прошлое с настоящим и будущим. Это сын, мальчишка, который «из булочной идет, обкусывая край крутой буханки», и не догадывается, что, видя его, вспоминает отец совсем другие дни: «поле, черный год, зерно во рту, а за спиной — танки...»

У Глазова есть свое, обостренное ощущение мира, и суть этого мироощущения заложена в строчках о природе:

Не разрушай взаимосвязи
ее сплоченной красоты.
Ты просто чувствуй,
как из грязи
восходят чистые цветы.

Поэт стремится почувствовать все взаимосвязи жизни и поделиться с читателем своим богатством. Это богатство — «дар удивления», дар постоянно открывать в мире что-то свое, новое и неповторимое. Каждый может заметить, что толпа «однообразна и вроде глупа», но лишь немногим дано понять и сказать больше: «Смешались в ней все моды, нравы, стили. Толпа смеется, разевая рот. Но вспомните, когда у стен Бастилий она же превращается в народ!»

Сборник «Голос» проникнут мужественной добротой. Когда-то давно, вначале, мир казался автору черно-белым. «Мне были ни к чему полутона», — искренне признавался поэт. Но это — тогда. А теперь, когда пришла зрелость, Глазов не может писать без полутонов, без едва уловимых оттенков чувств и настроений. И они помогают поэту в его стремле-

нии к той совершенной простоте, о которой лучше всего говорят сами стихи:

Отходов нет.
Ни горсти плака.
И совесть чистая его.
Ни красок-примесей.

Ни лака.

Начало.

Суть.

И естество.

Алла КИРЕЕВА

Сергей Есенин считал: «Вся жизнь наша есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками».

Лия Стурва — молодая поэтесса — пытается прочесть эти рисунки («Деревья в городе». Стихи. Авторизованный перевод с грузинского А. Глезера. Изд-во «Молодая гвардия», 1968).

Бесхитростные знаки — точка, ротик, поворотик, — что оставляют дети на мостовой. Хитроумные изображения «новой огромной, цвета киноленты» — «бесформенное красное пятно, четыре окровавленных ноги и главное — прекраснейшая грива, похожая на хлебные поля созревшие», — разбросанные в мастерской неутомимого художника... Стремясь расшифровать эти маленькие и большие тайны человеческого творения, оставленных в мире, Лия Стурва менее всего подходит к ним как исследователь, ученый, по части восстанавливающий целое, или как мыслитель, философ, за единичным просматривающий общее (для этого пока у нее, помимо всего прочего, нет необходимого жизненного опыта).

Она решает говорящие загадки бытия чисто



поэтическим способом, и в этом особенность дарования Л. Стурва. Символом ее романтической мечты, образным эквивалентом, становится дерево. Дерево как живая истина, как первичность естества, кровная часть родной Грузии, противостоящая замкнутой вторичности города: «и очертанья города нечетким душа деревьев противостоит».

Есть еще одно поэтическое звучание, которое сопутствует образу дерева в живописных рисунках Стурва:

В деревьях,
в их причудливых
стволах,
Летающих вверх под
солнце и под ветер,
Грузинское есть что-то,
как в быках,
К рогам которых
прикрепляют свечи.

Это память о родном селении, о национальных традициях и народных грузинских мотивах, в которые естественно впадают этические сказания о злых человекоподобных сказочных существах — дэвах, и пронзительное «далай» — плач горцев над умершим, и трогательная повесть о горянке Хварамзе, пожелавшей быть пшеничным полем, которое должен скосить ее любимый...

В поэтической системе Стурва, несколько замкнутой и бескомпромиссной, с этой памятью открывается выход к подлинным реалиям народной жизни.

И. РОСТОВЦЕВА

Вот уж кто медлительнее, так это Владимир Гусев! («Утро и день». Изд-во «Советская Россия»). Чтобы семикласснику Алеше,

бросив уроки, махнуть вниз сыграть с пацанами в хонкей — идет страшно десять доброй старой прозы с внутренними монологами, с экскурсами, с разветвленными попутными описаниями того, как по-разному скрипят ступени, и как скрипит вся деревянная лестница, и как рядом спешно восстановлены двухэтажные домики, а университет еще в развалинах, и наков послевоенный воздух в этом среднерусском городе, и каково небо, и каковы тучки...

Зря говорили, что литературные критики, переходя на прозу, продолжают держаться «проблем».— Вл. Гусев, строгий ученый, стиховед и строитель концепций, пошел в прозу явно не за подкреплением идей. Следы абстрактного мышления едва угадываются здесь. В обилии иронических и иных навыков, в любовных экскурсах по разным концам знаний, да еще, может быть, в упражнениях с прозаическим ритмом: один рассказик у Гусева так-таки и написан почти белым стихом, это ужасно; читая его, я чувствовал себя в гостях у Вас. Лоханкина, хотя, возможно, эти ритмы субъективно навеяны предвоенным Мартыновым, или ранним Горьким, или даже А. Белым. Оставим это: здесь Гусев-прозаик наиболее образован и наименее интересен.

Есть, однако, в его медлительной прозе какая-то тяжело-бытийная, сплошная, густая и независимая жизненность, которая заставляет ждать, что в Гусеве осуществляется крупный художник. В бесконечных цепочках эпитетов угадывается неоступная цепкость глаза; во взгляде В. Гусева есть обнажающая зоркость, есть и душевное

чувье. В лучших рассказах В. Гусев старается продолжить традиционную тему русской прозы,— я имею в виду то старое, идущее от мальчиков Достоевского и от толстовской трилогии ощущение становящейся души.

Когда будете читать, обратите внимание на два рассказа. Вернее, на двух героев, принципиально важных для Гусева. Один из них — экскурсовод, молоденький трезвый, деловой, выкручивающий словесные пируэты перед «интеллектуальной» публикой, тайно презирающий ее и при этом попутно чувствующий, что пока все в порядке и он в безопасности. Другой гусевский герой, тот самый семиклассник Алеша — тоже парень с подтекстом и тоже видит насмех, но подтекст тут другой. Различая в себе и в людях под показным сокровенное, там, в сокровенной душе, он хранит чуткую, святую мечтательность. Как интересно, как удивительно, как странно все!..

Провинциальные мальчики, среди скудного послевоенного быта вынашивающие эту неистребимую мечтательность, этот неразрешимый остаток в душах, эту открытость, этот просвет,— вот герои Вл. Гусева. Провинциальные мальчики — живая кровь России, ее плоть, ее взрослеющие дети, ее завтра.

Л. АННИНСКИЙ

Это книга удивления (Вадим Шефнер «Залоздалый и стрелок», изд-во «Советский писатель»). Правда, за последнее время мы как-то отвыкаем удивляться. Достижения техники до того ошеломительны и так проворно обгоняют друг друга, что невольно боишься оказаться простаком и торопишься усвоить очередное новшество, находя особое удовольствие в том, чтобы попасть в первую шеренгу уже осведомленных. Но удивление вовсе не признание в собственной неосведомленности, а прежде всего готовность дивиться чуду всего сущего, первооснова поэтического видения мира, того доверия к любой невероятности, которым так сказочно окрашены наши ранние годы и которое инстинктивно и порой безудержно сопротивляется любым умственным предписаниям. Собственно силой этого первоздан-

ного простодушия и пленяет нас сказочный мир Андерсена и Грина.

Проза поэта Шефнера дышит тем же простодушным удивлением перед каждой, пусть только что воображенной явью открывающегося ему мира. И хотя ему не близки ни условная экзотика Грина, ни андерсеновская самоотдача видения детства; и хотя он воссоздает прежде всего наш реальный мир — будь это дети первых двух десятилетий революции, или наполненная невероятностями повседневность, или полуидиллия двадцать второго века,— все равно в его мире всегда присутствует какая-то добрая тайна и сказка.

Вот, к примеру, герой заглавной повести, отнесенной в близкое будущее. Он мог бы, и все от него этого ждут, стать талантливым авиаконструктором, но неожиданно остается почтарем в своем захолустье, а потом — по какому-то наитию и чтобы помочь письмоодецу в распутицу — придумывает и сооружает себе крылья. И все его любит за простоту и благожелательность, а отчасти и сочувствуют, узнавая, что параметры его безмоторной конструкции в век реактивных скоростей устроит разве что начинающий влюбленный. И сам он часто томится, что его избрание, воплотившее наконец древнюю мечту о свободном полете птиц, как бы опоздало назов времени. Но почему-то постепенно начинаешь верить, что его крылья все-таки очень важны людям, даже если бы автор и не известил нас, что они пригодились первооткрывателям Венеры. А когда читаешь, как их запускают в производство деятели, скажем, далекие от поэзии, то и смеешься и немного грустишь, но отчего-то становится и легче на душе...

В соревнованиях текущего дня безыскусственность и простодушие нередко ступеньками перед претензиями моды. Но всегда внятны и голоса художника, исполненного неистощимой любви и удивления перед чудом естественных проявлений жизни... Сохранять верность этому глубинному приятно миру; отстаивать без вызова это свое достояние от суеты умствований и празднословия и так чистосердечно, бескомпромиссно и ненавязчиво выразить то, что видишь и во что веришь... Думаю, что этой книге суждена долгая жизнь.

В. БАРЛАС

To the readers of JUNOST
with the best wishes

from

Thor Heyerdal
Safi, 23.5.1969



Владимир
Ступишин

Через океан на «клочке бумаги»

Этот репортаж мы засылаем в набор, когда номер уже «в машине». Только что мы получили его из Марокко от специального корреспондента «Юности» Владимира Ступишина. Отсюда отправился в путь Тур Хейердал с интернациональным экипажем. Ступишин был в числе тех, кто проводил в океан отважного исследователя. Обо всем остальном — в репортаже.

В 1952 году в болливийских Андах Тур Хейердал обнаружил гончарные изделия, изготовленные задолго до возникновения цивилизации инков. И на них — рисунок странного двухпалубного судна в форме полумесяца. Это было, по его мнению, как раз то самое судно из тростника, которое поразило испанских конкистадоров, когда они добрались до пустынного перуанского берега через экваториальные джунгли.

«Инки сохранили в своих легендах память о нашествии светловолосых и бородатых людей, которых они называли «виракочас», — говорил Хейердал в своем недавнем интервью в «Пари-матч». — Индейцы думали, что испанские завоеватели были потомками этих мифических существ, легендарных путешественников, прибывших с другого континента тысячи лет назад».

В 1956 году на острове Пасхи Хейердал обнаруживает на верхних сводах гротов рисунки тростниковых лодок. Он находит и каменные статуэтки этих лодок под парусами. Точно такие же суда, только трехмачтовые, изображены и на груди каменных великанов на острове.

Двадцатилетние раздумья, исследования, сопоставления многочисленных материальных свидетельств, взвешивание всевозможных аргументов «за» и «против» привели Хейердала к убеждению, что культура Океании уходит своими корнями не в Азию, а в Америку.

Но «изоляциялисты» — сторонники теории независимого, параллельного развития цивилизаций, отрицающие возможность взаимопроникновения культур, их влияния друг на друга в древности, когда океан, по их мнению, был непреодолимым препятствием общения между народами разных континентов, — выдвигают все новые и новые возражения. Экспедиции на «Кон-Тики» и «Аку-Аку» их не убедили. Один из противников Хейердала пытается доказать,

В е р х у — факсимиле Тура Хейердала: «Читателям «Юности» с наилучшими пожеланиями от Тура Хейердала. Сафи, 23.5.1969».

что тростниковые лодки никогда не плавали от берегов Перу к островам Океании.

И тогда Хейердал принимает решение: выяснить возможность таких путешествий практически, как он это делал и ранее. Он уверен в отличных мореходных качествах этих судов и в блестящем умении Древних управлять ими и покорять океаны.

Мысль его идет дальше. От перуанского берега люди уходили в океан на бальзовых плотках или тростниковых судах. В этом у Хейердала нет сомнений. Но если это так, то напрашивается предположение: а не могли ли сами эти суда оказаться в Америке в результате существовавших некогда связей между этим континентом и Северной Африкой? Ведь сходный черт между античными культурами Средиземноморья и Центральной Америки очень много.

Хейердал едет на озеро Чад. Там до сих пор местные жители плавают на тростниковых лодках под парусом. В приозерной деревеньке Боль, принадлежащей племени будума, он узнает, что эти лодки сооружаются из папируса, того самого папируса, из которого Древние египтяне делали бумагу. Он находит и людей, умеющих строить такие лодки. Среди них Абдулай Джибри, ставший затем одним из членов интернационального экипажа папирусной лодки, названной Хейердалом именем древнеегипетского бога солнца Ра.

Когда «Ра» уже был спущен на воду в марокканском порту Сафи, я забрался на его палубу и первым делом спросил Абдулая:

— Что ты думаешь о степени надежности «Ра»?

— Судно надежно. У нас дома такие лодки строили с незапамятных времен, и, когда в 1968 году к нам в деревню приехал Хейердал, мы долго беседовали с ним о папирусных лодках, и я согласился вместе с моими двумя товарищами отправиться в Египет и строить там эту лодку.

Сейчас, когда «Ра» находится далеко в океане, все, что связано с подготовкой к экспедиции, кажется довольно простым. На самом же деле трудностей было немало. Хейердал просит правительство ОАР предоставить в его распоряжение участок пустыни у пирамид, чтобы начать сооружение «Ра» там, где сосредоточены символы общности Древнего Египта с Юкатаном, озером Титикака, островом Пасхи... Специалисты сомневаются, надо ли удовлетворить просьбу Хейердала. Тростниковые лодки, говорят они, могли плавать лишь по Нилу. Никто не слышал, чтобы древние египтяне когда-либо плавали на них по морю. Президент Египетского института папируса Хасин Рагаб утверждает, что соленая вода разрушает в две недели стебли тростника. Он сам лично наблюдал, как папирус, погруженный в ванну, начинает гнить. Предприятие Хейердала, дескать, граничит с самоубийством.

Нет, говорит Хейердал. Опыты Рагаба ничего не доказывают, так как, во-первых, у «Ра» такая форма, что концы стеблей папируса, из которых будет сплетать лодку Абдулай Джибри с товарищами, подняты вверх, и вода не сможет проникать вовнутрь и оказывать вредное воздействие на мягкую сердцевину; во-вторых, океан не ванна, и вода под лодкой не застаивается. Наконец, лодка из папируса, построенная по принципу плетеной корзины, не может прохудиться, и вычерпывать из нее воду не придется. Уже перед самым отплытием «Ра» Тур наглядно продемонстрировал «принцип плетеной корзины» в Сафи, на прощальном ужине, устроенном в честь отважных путешественников советским послом в Марокко Лукой Фомичем Пала-

марчуком. Продемонстрировал с помощью обыкновенной вилки:

— Вы видите, когда я вынимаю вилку из воды, вода уходит вниз. Так и наша лодка. Она будет покачиваться на волнах, отдавая обратно океану ту воду, что окажется внутри нее между стеблями папируса. «Ра» не может дать течь и набраться воды. Его плавучесть обеспечивается исключительной легкостью папируса, а не формой, позволяющей плавать другим судам, которые в наши дни сооружаются, как правило, из материалов тяжелее воды.

Через несколько дней все, кто провожал «Ра» в океан, могли видеть, как то один, то другой борт папирусного судна, слегка покачиваемого волнами, «отдает» просачивающуюся в него воду.

И вот в январе этого года с разрешения правительства ОАР Тур Хейердал приступает к оборудованию верфи в песках, у подножия Третьей Пирамиды. Сюда будет доставлен папирус.

Но папирус давно не растет в Египте, а с берегов озера Чад его доставлять сложно. Нужно не меньше 12 тонн стеблей длиной до 5—6 метров. Самолетом их не переправишь: очень дорого! Тур едет в Эфиопию. Здесь вокруг озер Тана и Цваи он находит заросли нужного ему папируса. Предприимчивый итальянец организует доставку папируса на берег Красного моря. Отсюда на греческом судне папирус плывет в Суэц, попав по дороге под обстрел...

Наконец, папирус на месте и спрятан от солнца под тентами. Хейердал списывается с Абдулаем Джибрином и его друзьями Мусой Булуми и Омаром М'Булу, посылает всем трем авиалеты и деньги на дорогу. А сам снова летит в Южную Америку, на озеро Титикака (где он впервые увидел тростниковые суда, на которых еще плавают некоторые индейцы), чтобы еще раз проверить свои знания о технике их сооружения.

В Нью-Йорке его настигает известие о том, что Абдулай с товарищами оказались в тюрьме, так как получение ими билетов на самолет и денег «от какого-то иностранца» вызвало подозрения властей Республики Чад. Личное письмо генерального секретаря ООН У Тана быстро улаживает недоразумение.

— Уже 6 марта, — рассказывал впоследствии Абдулай, — я отправился в Египет. Там, у пирамид, мы начали строить нашу лодку с помощью египетских рабочих. Работали с 10 марта до 28 апреля.

Там же, в Египте, начали знакомиться между собой члены экипажа «Ра». К уже известному нам Абдулаю Джибрину из Республики Чад присоединился самый молодой участник экспедиции двадцатидевятилетний египтянин Жорж Суриаль, отличный знаток моря и его обитателей, а также египетской кухни, парикмахерского дела, подводной кинесъемки и подводной охоты, мастер на все руки, веселый, остроумный человек, блестяще владеющий тонкостями не только французского, но и английского, немецкого и других языков.

— Хочу во время нашего плавания, — сказал Жорж, — выучить русский язык. Думаю, Юра мне в этом поможет.

Юра, он же Юрий Александрович Сенкевич, — советский врач, на котором лежит ответственная обязанность не только следить за состоянием здоровья и рационом питания участников экспедиции, но и вести научные наблюдения медико-психологического характера. Дело интереснейшее: ведь небольшая разноплеменная и разноязычная группа людей оказывается в столь необычных условиях, как плавание в открытом океане на «клочке бумаги», по образному выражению Хейердала. Юра быстро нашел общий язык со своими спутниками. И тут дел

конечно, не только в знании английского, на котором, кроме африканца, говорят все члены экипажа, но и в открытом, общительном, чисто русском его характере. Он удивительно спокоен, деловит, за словом в карман не полезет. И в общем деле, и в дружеском споре, и в непринужденной застольной беседе Юра под стать своим новым друзьям, искренне полюбившим его.

Уже в Египте начал выполнять свои функции кино- и фотолетописца экспедиции итальянец Карло Маори. Он, как и Юра, работал в Антарктике и не скрывает радости плыть вместе со своим русским «земляком». «Думаю,— говорит он,— мы с Юрой станем большим друзьями».

Дружба, братство объединяют всех участников плавания на «Ра»: и американского моряка Нормана Бейкера (на его плечах — управление судном вместе с Абдулаем и радиосвязь) и известного мексиканского антрополога Сант-Яго Женовезе, присоединившегося к экспедиции уже на последнем этапе приготовлений. Пока профессор исполняет обязанности матроса, грузчика, наладчика, мастера. Спокойно, без суетливости и нервозности. Как, впрочем, и все остальные.

Итак, 28 апреля сооружение корпуса и жилой кабины на палубе «Ра» было закончено.

Лодку погрузили на трейлер, доставили в Александрию, а оттуда на шведском грузовом судне «Сагахольм» оно прибыло в марокканский порт Танжер. 13 мая началось его последнее сухопутное передвижение. Пройдя 700 километров по дорогам Марокко, 16 мая «Ра» был уже в Сафи и на следующий день торжественно спущен на воду.

Но почему Хейердал выбрал именно Сафи?

«Дело в том,— говорит Хейердал,— что порт Сафи был известен еще финикийцам. Это крайняя точка на западном побережье Африки, до которой, насколько мы знаем, добирались их суда. И здесь они попадали в незнакомые морские течения, которые уносили зазевавшихся мореходов в открытый океан в сторону Америки. Это достоверный факт. Сравнительно недалеко отсюда берет свое начало Канарское течение. У островов Зеленого Мыса оно раздваивается. Одна ветвь движется в южном направлении и превращается в Гвинейское течение, другая — идет к берегам Центральной Америки. Это Северо-пассатное течение и могло в принципе быть использовано древними для преодоления океанских просторов. Когда «Ра» будет окончательно готов к отплытию, мы воспользуемся обычным для этих мест в это время года северо-восточным ветром и под парусом попытаемся добраться до Канарского течения. Ну а там можно будет и отдохнуть: течение само понесет «Ра» куда надо».

Я впервые увидел «Ра» у причала фосфатной гавани порта Сафи, известного далеко за пределами Марокко своими сардиновыми консервами, продолговатые баночки которых можно найти, пожалуй, в любом московском «Гастрономе».

День выдался солнечный, теплый, а главное — тихий, что не совсем обычно для Сафи, где всегда очень ветрено. На «папирусе» — так называют лодку марокканцы — идет работа.

Надо поставить мачту для паруса и рули. Они уже здесь. Пока «Ра» двигался в направлении Сафи, марокканские мастера корабельного дела работали над этими единственными деталями судна, материалом для изготовления которых послужил не папирус, а кедр.

Особой изобретательности требует двухосновная мачта. Гвоздями ее к папирусу не пришьешь. Привязать к бортам канатами? Решение находит Жорж

Суриаль. Он только что появился из воды, выбравшись на баржу, к которой пришвартован «Ра», и освобождается от акваланга. Товарищи растирают ему спину махровым полотенцем. Юра дает стакан спирта: Марокко — страна, конечно, африканская, и лето здесь как будто бы уже наступило, но после трех с половиной часов работы под водой, пожалуй, без этого «лекарства» не обойдешься.

— Жорж вчера «купался» пять с лишним часов,— говорит Юра.— И вот сегодня опять. Он крепит мачту снизу, работая под днищем лодки. Все это довольно хитрая механика. Оба основания мачты фиксируются к днищу манильскими канатами. Всю толщу лодки прокалывают трехметровыми иглами — их Жорж сам изготовил в Каире. Он же внизу, под водой, делает узлы и передает иглы обратно наверх.

— Ну, как там дела, Жорж?

— Да, в общем, нормально. Шьем!

Тур Хейердал постоянно находится здесь же. Он руководит всеми работами, отдает распоряжения. Ему помогают капитан Хартман, командовавший некогда «Аку-Аку», и жена Ивонна. Она следит за тем, чтобы члены экипажа вовремя поели, отдохнули, чтобы им не очень мешали многочисленные корреспонденты, съехавшие сюда со всего света, и просто любопытствующие.

Тур Хейердал при всей своей занятости, узнав, что я представляю журнал «Юность», который познакомил советских читателей с его книгами о плавании на «Кон-Тики» и о тайнах острова Пасхи, охотно делится со мной своими соображениями:

«До сих пор я очень доволен всем ходом подготовки этого путешествия. Должен признаться, нам всем особенно интересно было увидеть, как наше судно, которое я бы назвал даже потоком, впервые соприкоснется с водой. Ведь мы пока что могли наблюдать его сначала в пустыне, где оно переносило песчаные бури, потом видели на улицах Каира и Александрии, на палубе «Сагахольма» и снова на улицах, теперь уже Танжера. Оно «плыло» по дорогам Марокко. И вот только здесь, в Сафи, позавчера познакомились с морской водой. Было поистине огромным удовольствием видеть его наконец плывущим, как большая морская птица».

Первые пять дней «Ра» на воде — самые критические. Они должны показать, как судно впитывает в себя воду. Пока все идет отлично. Осадка совсем невелика, несмотря на то, что мы уже водрузили шестисоткилограммовую мачту и погрузили на палубу множество всяких вещей. С самого начала я был и остаюсь настроенным на оптимистический лад. Папирусные лодки я видел на озерах. Их плавучесть поразительна. Интересно посмотреть, как «Ра» поведет себя в океане. Думаю, эта экспедиция позволит на деле показать, что папирусные суда могли плавать не только по рекам и озерам, но способны бороться с океанскими волнами и не боятся соленой морской воды.

У меня, собственно говоря, нет никакой априорной теории насчет того, что папирусные суда уже пересекали когда-то Атлантику. Но есть немало ученых, убежденных в том, что в свое время посланцы древней североафриканской цивилизации преодолели океан и принесли свои идеи в цивилизацию Центральной Америки. Есть, разумеется, и думающие иначе. Они утверждают, что центральноамериканская цивилизация абсолютно самостоятельна и никакого влияния североафриканской культуры не испытывала.

Чтобы дискуссия могла быть плодотворно продолжена, важно узнать, осуществимо ли путешествие

через Атлантику на папирусном судне — таком, на каких плавали древние египтяне. Причем именно на папирусном. Когда говорят о больших египетских судах из кедра, якобы плававших по морю и пригодных для длительных морских путешествий, это неверно. Большие египетские суда из кедра имели весьма определенное назначение. Они были очень красивы, но годились лишь для увеселительных прогулок фараонов и использовались на празднествах, которые устраивались на Ниле. При первом же столкновении с морскими волнами они разваливались, и, следовательно, в дальние плавания на них египтяне пускаться не могли. Вот финикийцы, те действительно плавали по морю на судах из кедра, только их деревянные корабли по своим мореходным качествам намного превосходили египетские. Не исключено, что финикийские корабли могли пересекать и Атлантический океан. Однако между мексиканской и финикийской цивилизациями нет таких сходств, какие наблюдаются между цивилизациями мексиканской и египетской. Остается предположить, что, если эти сходства не удивительная и труднообъяснимая случайность, египтяне преодолели Атлантику. В силу необходимости они могли это сделать лишь на судах из папируса».

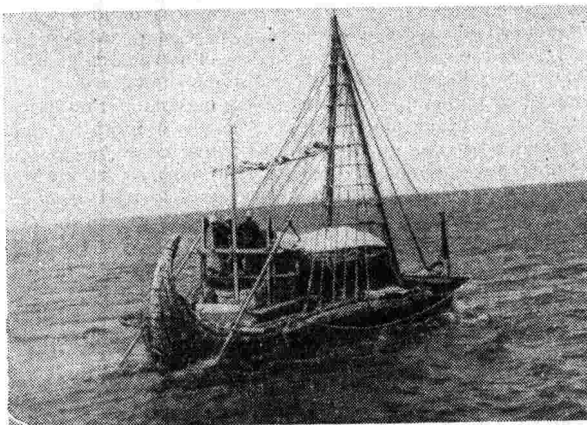
О связующих звеньях, которые свидетельствуют о вероятных отношениях в древности между цивилизациями, сложившимися по обе стороны океана, мне говорит и Сант-Яго Женовезе:

«Я хочу сказать вполне определенно и ясно, что, насколько нам об этом известно, почти все, что исторически происходило у нас, на американском континенте, строилось, в общем, на тех же принципах, что и в Азии, Северной Африке, Европе. Непосредственно в Америку азиаты, по-видимому, могли попасть лишь через Берингов пролив. Можно предположить, что именно азиаты прошли в Америке определенную эволюцию и создали достаточно крупные цивилизации. Но существуют, однако, такие элементы нашего развития, для понимания которых недостаточно того, чем мы располагаем там, у себя в Америке. Есть, видимо, что-то пока не раскрытое. Но есть, наверное, и вещи, связанные с влиянием отсюда, из Северной Африки. И если нам удастся совершить задуманное путешествие, откроются возможности серьезного изучения этой последней вероятности. Все может быть. Посмотрим, могло ли влияние прийти отсюда.»

Сам я антрополог-физиолог. Но меня занимает не только биология человека. Я работаю и в области социальной антропологии, очень близкой к психологии. «Ра» будет весьма интересной лабораторией изучения человеческих отношений. Некоторым кажется, что нет ничего особенного в совместной жизни семи совершенно разных человек на ограниченном пространстве и в течение продолжительного отрезка времени. Думаю, что это несерьезное мнение. Один только факт вынужденного общения с помощью неродного языка — уже сам по себе проблема. Такой способ общения может вызвать психическую усталость, а это источник, из которого возникают осложнения. Да и люди собрались не только разноязычные и разноплеменные, но разные по характеру и темпераменту, образованию и профессии, привычкам и взглядам. Семеро в одной лодке, обреченные на непрерывное общение только между собой в течение нескольких месяцев, не такое уж легкое дело.

Эти слова Сант-Яго напомнили мне принцип подбора экипажа «Ра», о котором говорил Хейердал:

«Когда совершается столь трудное путешествие, важно, чтобы в него отправлялись не давнишние



На снимках: наш корреспондент берет интервью у Тура Хейердала на набережной Сафи (вверху); «Ра» выходит в океан; врач экипажа Юрий Сеневич.

Фото автора.

друзья, которым все друг о друге известно и каждый знает наперед, что может рассказать ему другой. Члены этой экспедиции познакомились между собой совсем недавно. Уверен, что каждый день они будут узнавать друг от друга что-то новое и это облегчит нам всем плавание на «папирусе». Я очень доволен всеми моими спутниками. Они народ веселый, общительный, немелочной, ссориться по пустякам не будут. Можно сказать, мы уже с самого начала стали братьями, и я уверен, что, когда мы пристанем к другому берегу океана, с борта «Ра» сойдут на землю настоящие друзья на всю жизнь».

С Юрой Сенкевичем мы уединились в кафе морского клуба. О себе он рассказывать не захотел, говорили об экспедиции:

— Когда лодку доставили в Сафи и спустили в воду, встал вопрос о размещении на ней грузов. Мы берем с собой около ста тонн, но ведь надо все расположить так, чтобы не нарушилась устойчивость судна. Пищу, лекарства, всякие хозяйственные принадлежности поместили в большие ящики, ящики поставили в кабину, на них лягут матрасы, а сверху спальные мешки; каждый уже знает свое место. Воды берем одну тонну, может, чуть больше из расчета примерно один литр на человека в день — только для питья и приготовления пищи. Тур говорит, на «Кон-Тики» хватало. Возможный дополнительный источник — дожди. Для хозяйственных нужд пойдет морская вода. Есть для этого и специальное мыло. Пресную воду брали из одного артезианского колодца в окрестностях Сафи. Мне пришлось обследовать несколько таких источников, чтобы выбрать подходящий. Сделали бактериологический анализ и наполнили водой козьи шкуры и глиняные горшки. В таких же горшках повезем и продукты: сухие фрукты и овощи, сухое мясо, соленую рыбу, пряности, кокосовые орехи, чай, кофе, рис, сахар. Жорж Суриаль привез специальный сыр из Египта — меш — очень соленый. Он же заготовил хлебные лепешки, какими пользовались его предки, обмазал их растительным маслом, чтобы не мокли. То же самое он проделал и с черными сухарями, которые я взял с собой из Москвы. Дали нам в дорогу немного вина из выведенных советскими селекционерами сортов винограда, названных в честь Хейердала «Кон-Тики» и «Аку-Аку». Будем пить и египетский мятный напиток «каркаде», который для успокоения наших нервов собираются готовить Жорж Суриаль. В общем, берем примерно то, чем могли питаться древние египтяне, даже десяток живых кур — на первые дни — и садок с лангустами. Но это так, чтобы отметить выход в океан. Конечно, дополнительным источником питания будет добыча плодов моря: среди современного оборудования на борту «Ра» есть акваланги и ружье для подводной охоты. Сегодня погрузили нетонущий спасательный плотик из пробки и каучука. В нем есть все необходимое, запас воды и продуктов на несколько дней, портативная рация с ручным приводом, медикаменты. Остается разместить на нашем «папирусе» радиостанцию и электрогенератор для нее и подводной кинокамеры. Так что, как видишь, не все древнее на «Ра». Тур во избежание бесполезного риска не отказывается от применения современной техники безопасности, насколько это возможно.

Любопытно, что жена Башкирова, крупного рыбопромышленника Сафи, выходя из России, сейнер которого «Святая Тереза» провожал «Ра» в океан, обижалась на Тура Хейердала:

— Почему вы отказываетесь от наших сардиновых консервов? Ведь не все же у вас, как у древних. И радио у вас есть, и ружье для подводной охоты, небось, берете, и — как это называется? — спиннинг!
— Да, берем, — охотно отвечал Хейердал. — Море-то сейчас ведь не то, что в древности. Да и рыба пошла хитрая. Ее голыми руками не возьмешь. И сами мы уже не те, что пять тысяч лет назад. И забыли многое из того, что умели наши предки. Но максимально приблизить условия экспедиции к тем, в каких плавали наши вероятные предшественники, мы можем. Поэтому и не берем не только консервов, но и многого другого, чем не располагали египетские мореплаватели.

В один из вечеров мы ужинали с Сант-Яго, Жоржем и Юрой в небольшом ресторанчике на высоком, обрывистом океанском берегу. Далеко внизу — Сафи. Где-то там у причала примостился «папирус». Что-то ждет его экипаж в океане? Но пока Жорж и Сант-Яго добродушно пикируются с хозяйкой, затем ее кузен, бывший моряк, приносит томик «Кон-Тики» и просит автографы.

— Рыбу есть не будем, нам она еще вот как надоест, — смеется Жорж. — Ну а от креветок, пожалуй, не откажемся. И главное, давайте побольше мяса. Свежего, с кровинкой.

Было решено: «Ра» выходит в океан 23 мая утром. Мне удалось поспеть вовремя. Но в назначенный час в порту было совершенно спокойно. Никого не оказалось и на самом «папирусе». Что случилось? Узнаем: вчера вечером метеосводка показала совершенно неожиданный северо-западный ветер, а Туру, чтобы уйти от берега под парусом в сторону Канарского течения, нужен норд-ост. Вот и пришлось отложить выход в океан, хотя все уже было практически готово. Критические пять дней дали отличные результаты. Несмотря на почти полную загрузку — на пирсе осталось совсем мало вещей, — судно держалось на воде так же, как в первый день.

Воскресным утром 25 мая в порту собрались тысячи людей. Настал момент ухода «Ра» в его долгий и трудный путь. Над «бумажным корабликом» ползут флаги государств, чьи представители отправляются в плавание. Между ними государственный флаг гостеприимного Марокко, где, если считать, со дня прибытия Юры Сенкевича (а он был первым), участники экспедиции провели 16 дней. И флаг ООН. Незадолго до вступления экспедиции в свою решающую фазу У Тан пожелал ей успеха. И Тур Хейердал ответил от имени всех тех, кто согласился рискнуть вместе с ним жизнью ради науки и во имя торжества человеческого разума. «Все мы верим, — писал он генеральному секретарю ООН, — что судьбу человечества будут решать люди, которые работают вместе, а не дерутся между собой».

«Наша цель, — постоянно говорит Хейердал, — служить не только науке, но и делу мира на земле». Об этом он сказал и в своей прощальной речи.

«Ра» взяли на буксир четыре веселых лодки, как это должно было происходить в стародавние времена, и, сопровождаемый приветственными гудками буквально «столпившихся» вокруг него рыбацких судов, славный «папирус» двинулся к выходу из порта Сафи. Здесь гребцов сменил рыбацкий сейнер, которому предстояло вывести «Ра» под благоприятный ветер за пределы дуги, образуемой в этом месте берегом Африки.

Несколько советских людей и русская семья, обосновавшаяся сорок лет назад в Сафи, довольно долго провожали на «Святой Терезе» семерку отважных, среди которых и наш Юра Сенкевич.

Я заканчиваю эти строки 2 июня. «Ра» находится сейчас где-то на траверзе Дакара. «Папирус» прекрасно справился с двухнедельным сроком, ответственным ему «знатоками», предсказывавшими гибельность для него контакта с морской соленой водой. «Все в порядке», — радирует Норман Бейкер. У членов экипажа отличное самочувствие и хорошее настроение, в том числе и у обезьянки Сафи, поначалу с трудом переносившей плавание.

Счастливого плавания, дорогие друзья!

Рабат, 2 июня 1969 года.



**Михаил
Левитин:**

«Спектакль — монолог режиссера»

Фото А. Карзанова.



Слишком малый возраст актрисы или, на крайний случай, дрессировщика львов умиляет, но режиссер, по общему мнению, должен быть многоопытен — эдакий зубр, закаленный в различного рода баталиях. Но Левитин, отнюдь не будучи эдаким зубром, набрался творческой смелости и поставил на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке пьесу известного немецкого драматурга Петера Вайса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился». Польский режиссер Конрад Свинарский, который открыл для сцены драматургию Петера Вайса, сказал, что постановка театра на Таганке — лучшая из всех постановок «Мокинпотта», которые он видел на сценах Европы.

А Миша весело мне повествует о своих злосчастиях:

— До сих пор скрываю свой возраст. Скрывал и когда поступал на режиссерский факультет ГИТИСа. Мне тогда было семнадцать, и у меня были жутко пошлые усы — явился в Москву с типично одесскими усиками. И понял, что если приду с такими усиками на первый тур, то мне конец. Я сбрил усы и сказал, что мне двадцать лет. И на Таганке я долго дурачил актеров, — говорил, что мне двадцать семь, и только после премьеры они узнали, что мне двадцать три.

— И уже в семнадцать вы хотели быть исключительно режиссером, а не актером, допустим?

— Я с детства помню запах книг по режиссуре. А как мне нравилась фамилия Варпаховский, — вот, думал, фамилия для режиссера! Но особенно я был увлечен Камерным театром — собирал книги об этом театре, о самом Таирове. Мое первое яркое театральное впечатление — радиоспектакль «Мадам Бовари» с Алисой Коонен в главной роли. Театр я прежде всего воспринимаю на слух. Сначала слушаю весь спектакль, закрыв глаза, и ухо подсказывает, есть фальшь или нет, а уж затем смотрю. Поверьте или нет, но тогда, в детстве, когда я услышал Алису Коонен, у меня возникло предчувствие, что я

буду обязательно режиссером и встречу с театром, столь же высоким, как театр Таирова и Коонен. И, конечно, сразу же я написал письмо Алисе Коонен, она мне ответила, завязалась переписка. ...На втором курсе ГИТИСа я пришел к ней, представился: «Здравствуйте, я Миша». Алиса Георгиевна только спросила: «Из Одессы?»

— Вы еще не ответили на мой вопрос.

— Я никогда не хотел быть актером. Я хотел быть клоуном. Мама вела в нашем одесском цирке политеатра, и я ужасно гордился, когда перед началом представления лысый дирижер поворачивался к нашей ложе и эффектно раскланивался. Я ходил в цирк на все представления и мечтал стать клоуном.

— Значит, артистом все же?

— Нет. Я нуждался в авторстве, а артист казался мне лишь исполнителем. И я хотел быть клоуном.

— Как случилось, что Любимов пригласил вас, еще студента, ставить в своем театре спектакль?

— Я пришел к Любимову совершенно с улицы и предложил ему пьесу Сельвинского «Командарм-2». Юрий Петрович минут двадцать слушал меня, а потом сказал: «Давайте делать со мной Вайса». Я согласился — у меня сразу возникла авантюрная мысль: отбить у него спектакль. Через четыре дня, которые мне были даны на подготовку к спектаклю, я сказал Любимову, что костюмы артистов вижу так: цветные меха и голое тело — блеск и нищета. Эта идея не была осуществлена — лишь Вурсту мы надели фрак на голую грудь, — но Любимову она тогда очень понравилась. Я «умирал» на каждой репетиции, и, наконец, Юрий Петрович доверил мне полностью «Мокинпотта».

— Это ваша первая самостоятельная постановка?

— Нет. Я уже поставил «Варшавскую мелодию» в Казани и «Синюю птицу» в Рижском ТЮЗе. Моя «Синяя птица» — детская трагедия, я даже хотел, чтобы спектакль назывался: «Избиение младенцев». Как жаль, что вы не видели мою «Синюю птицу»...

В Казани и Риге я как раз подружился с художником Татьяной Ильиничной Сельвинской и композитором Владимиром Дашкевичем, которые делали со мной и «Мокинпотта». Мне не удалось, к сожалению, отстоять тот «поп-арт», который предложила для «Мокинпотта» Сельвинская. Оформление и сейчас хорошо смотрится, но, с моей точки зрения, оно излишне функционально. Театральное оформление — это как дом, который должен быть не только удобен, но и красив. А что удачно, по-моему, так это броские трафареты: «Made in USA» и т. д., — написанные на полу сцены, на реквизите и прямо на костюмах артистов. И мне крайне важна в спектакле музыка — я на ней пластику строю. Володя Дашкевич сидел на репетициях, как всегда, невпопад смеялся и написал в конечном счете музыку, которая передает точный характер тех садистских игр, в которые играют с Мокинпоттом все действующие лица.

— Вот мы беседуем и, кажется, понимаем друг друга, но я боюсь, Миша, что многие читатели «Юности» незнакомы с пьесой Вайса и тем более не видели ваш спектакль...

— Пьеса Вайса — это современный раек, насыщенный социальными мотивами. Некий обыватель, господин Мокинпотт, подвергается жестокому осмеянию, ибо он настолько глуп, что в мире несправедливости продолжает уповать на честность, любовь и даже на господя бога! Такова пьеса, но я попытался влить в нее свою кровь — более грубо и жестоко, чем у Вайса, высказав свою ненависть и любовь. Лев Гинзбург, переводчик Вайса, был напуган таким обращением с пьесой и страдал меня: «Приедет Вайс и придет в дикий ужас». И одно время мне даже снился Вайс под руку с Гинзбургом в ужасно свирепом виде. Но, закончив работу, я сказал Гинзбургу: «А я уверен, что Вайсу спектакль понравится».

— Наибольшие превращения в спектакле, кажется, претерпел образ Вурста?

— Ганс Вурст — традиционный персонаж немецкого балагана. Его обжорство и плебейский юмор привычны лишь немецкому зрителю. Можно было, конечно, превратить Вурста в русского Петрушку, но я сделал Вурста авторским персонажем. Вурст — это я. Чтобы высказаться, мне нужны монологи, но их в пьесе не было. Я дал Вурсту, который в исполнении артиста Бориса Хмельницкого скорее похож на хиппи,¹ чем на Петрушку, два монолога отчаяния, включив в спектакль стихи Ганса Магнуса Энценсбергера. Первым монологом: «Люди только мешают, путаются под ногами, вечно чего-то хотят, от них одни неприятности...» — и открывается спектакль. Игры, которые в соответствии с жанром пьесы ведут с Мокинпоттом все действующие лица, я определил для себя, как жестокие игры сатиров на черном дворе, и уже придумал посреди сцены символическую выгребную яму и вдруг нахожу у Энценсбергера аналогичную метафору: «Здесь, где в мусоросбрасывателе смердит непрощенное прошлое, а ненаступившее будущее скрежет вставными зубами, здесь все идет вверх...» Так появился второй монолог Вурста, и без этих монологов спектакль не существует. А Вурст, читающий подобные монологи, естественно, должен бороться за Мокинпотта и в отличие от пьесы бороться за него.

— Мне кажется, вы испытываете явные симпатии и к господину Мокинпотту...

— Мокинпотт — уже незаурядная личность, раз в нем столько веры, наивности. Нет, я не хотел, чтобы Мокинпотт выглядел в спектакле идиотом. Он скорее дворовый Христос, которого бьют даже костыли, когда он пытается на них опереться.

— Но разве, шагая в финале по воздуху, Мокинпотт избавляется от своих злосчастий?

— Это липовые, конечно, шаги. Абсурдны попытки сохранить веру в том собственническом мире, в котором живет Мокинпотт.

— Вы довольны своей работой?

— Нет. Начать с того, что у меня было лишь четыре дня на подготовку к спектаклю. Концепцию я для себя уяснил, но язык спектакля пришлось искать в процессе работы. Отсюда «Мокинпотту» не хватает некоторой целостности, время от времени мне приходилось идти на компромиссы, и какие-то сцены я считаю чужими, они сделаны по инерции, они лежат вне моего мироощущения. Зритель приходит в театр не за тем, что он уже знает, и не за тем, чтобы получить указку, кто хорош, а кто плох, а приходит понять точку зрения авторов спектакля на мир. Я считаю (быть может, по молодости?), что спектакль — это монолог режиссера, высказанный с помощью единомышленников. Но при первой встрече трудно добиться единомыслия даже с такими чуткими, талантливыми людьми, как актеры театра на Таганке. Однако если вы меня спросите: доволен ли я работой актеров? — я отвечу: «И все же да». Доволен их огромной самоотверженностью. Они не побоялись выгладеть на сцене некрасивыми, злыми, жестокими, ибо таковы персонажи, окружающие злосчастного Мокинпотта. Я особенно благодарен Рамзесу Джабраилову, который вместе со мной совершенно вслепую искал образ «нежного гада» — организатора всех этих игр с Мокинпоттом. Такого единого образа в пьесе нет, а в спектакле он появился: исполняя роли Тюремщика, Любовника и Слуги, Рамзес фактически ведет спектакль. Меня поразило огромное актерское достоинство, которое присуще Алле Демидовой, — она играет Жену. Я очень рад, что в спектакле незаметны мои разногласия с Вениамином Смеховым — Адвокат, Врач, Господь Бог, — который упрекал меня постоянно в отсутствии чувства юмора. От спектакля к спектаклю все тоньше и тоньше играет совсем молодой артист театра Виталий Шаповалов в роли Мокинпотта. Очень точен в ролях Хозяина и Начальника тюрьмы Игорь Петров. Мне кажется, что артистам — и не только Джабраилову, но и тем, у которых более скромные роли, — нравится играть этот спектакль. Премьера уже позади, но они не теряют трепетности, а это самое страшное, если будет потеряна трепетность! Борис Хмельницкий должен быть непременно поэтом, играя Вурста. И все артисты должны быть в этом спектакле поэтами.

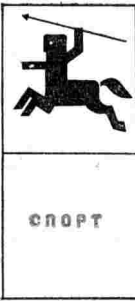
— С чего, по вашему мнению, начинается режиссер?

— С умения драться за свой театр. До безумия. До конца.

— Есть ли пьеса, которую вы так хотите поставить, что предпочтете ее сейчас шедеврам мировой драматургии?

— В архиве Юрия Олеши осталась недописанная пьеса: «Смерть Занда». В сценах, которые я читал, такой насыщенный диалог, что знаки препинания надо ставить! Автора занимает проблема борьбы характеров в бесклассовом обществе. Ах, какие читал я сцены!.. Я познакомился с вдовой Олеши, пил с ней чай, но, очевидно, смутил, напугал ее своим азартом, и в конечном счете она не допустила меня к архиву!.. А я уже заочно продумал этот спектакль — «Смерть Занда». Мне хочется рассказать на сцене историю написания пьесы, над которой Олеша работал двенадцать лет. Это будет живой черновик.

Беседу вел Ю. ЗЕРЧАНИНОВ



Станислав Токарев

ТЕБЕ, ПОСЛЕД- НЕМУ ИЗ ЗОЛОТОЙ ШЕСТЕРКИ

*Письмо велосипедисту
Сайдхужину,
заслуженному
мастеру спорта.*

Здравствуй, Гарик! Я называю тебя именем, которым звала тебя команда начала 60-х годов, именем, которое ты любил и которым нынешние, молодые, тебя не зовут, может быть, потому, что не знают, а может, просто ты не так им близок, как прежним, как мне.

Многое из того, что мне предстоит сказать, будет трудно сказать, но я чувствую себя в этом обязаным, потому что твоя судьба принадлежит не только тебе, как судьба каждого большого и прославленного спортсмена, которого знают и любят. А тебя любят, и ты умеешь быть любимым, черноусый красавец с глазами, как сливы, и улыбкой, лукавой и чарующей. Твой Сочи в дни весенней гонки живет тобой, и толпы мальчишек с букетами первых нарциссов, тюльпанов и гиацинтов осаждают гостиницу «Приморская», где селятся по традиции велосипедисты. И прежние сочинские кумиры — Родислав Чижиков, которому писали на всех заборах «Чижик, давай!», Алексей Петров и прочие — давно забыты, и один теперь кумир — ты.

Но это совсем не потому, что ты прописан в Сочи. В тебя влюблены Берлин, Прага и Варшава, чинный готический Галле, могучий флотский Щецин и какой-нибудь крохотный сухопутный Плоцк. Ты обаятелен и находчив: однажды в день отдыха велогонки Мира во время телепередачи репортеры спросили тебя: «Гайнан, знаете ли вы, что на перевале у Карловых Вар лежит снег?» И ты, артистически съездившись, картинно воскликнул: «О, где мои шуба и валенки?» А в день раздельного старта под Лейпцигом, в день, когда гонщику дорога каждая крупинка времени, ты мчался, сурово вжавшись в руль, а из толпы помачала тебе девочка, дочь моего немецкого коллеги и твоего приятеля. Ты придержал машину, сверкнул улыбкой и салютовал в ответ. Девочка была счастлива, даже не зная, что вместе с улыбкой ты щедро отдал ей, быть может, целую секунду.

Конечно, ты, Гарик, всегда был малость актер, что в принципе свойственно многим людям, чья жизнь на виду миллионов, и это, право же, неплохо. Я-то любил тебя за другое и разлюбил за другое, о чем и хочу рассказать.

Мы познакомились девять лет назад в гонке Мира, которая была для нас неудачной: первый состав сборной готовился к римской Олимпиаде, второй же, куда входил ты, был неопытен. Я мало помню тогдашнего тебя, разве что вот при первом знакомстве за обедом ты научил меня есть простоквашу с вареньем, это было вкусно, а ты, веселый, дружелюбный и ласковый, всегда быстро сходился с людьми. Быстро — в ту пору.

Помнится, я ругал тебя в своих отчетах за тактическое недомыслие. Однажды ты за 80 километров до финиша отважно ринулся вперед в одиночку и крутил, что называется, на зубах, пока не обессилел, пока тебя не настигли уже чуть ли не перед самой белой чертой. Я ругал и был прав, а в то же время не прав. Неправоту я понимаю только сейчас, мягко выражаясь, повзрослев, повидав многих и многих юных старичков, любителей добраться до финиша тихой сапой, за чужими спинами. Велосипедный же спорт, шоссейный, тяжелый, если хочешь, ломовой, таит и свою романтику — романтику риска: пан или пропал, и шапка об пол. В нем есть легенды, и самая, быть может, прекрасная — о Томе Симпсоне, который, умирая на горячем асфальте, прошептал напоследок: «Посадите меня в седло».

Шоссейники — моя первая любовь в спорте и спортивной журналистике. Потому что законы их трудного дела благородно просты, и песня у них есть

такая: «Не бойся пота, напор удвой, крути, работай, и финиш твой». Но чем стремительней ты крутишь, тем тяжелее наваливается на тебя воздух, обращаясь во встречный ветер. И ты, проведя свою очередь, свою смену, уступаешь лидерское место тому, который позади,— и так по цепочке, один за другим, а без помощи спутника вовсе плохо. Полтора десятка дней по сотне с лишним километров: здесь команда связана между собой, как альпинисты — канатом, только незримым.

Ты, Гарик, не был талантливей других в те золотые для нашего велоспорта годы. Может, ярче всех был Леша Петров — кучерявый блондин есенинского облика и строя души, что, вероятно, его и сгубило: после бурного вечера Леша выходил наутро и побеждал, а не побеждал — наплевать, он был умен, ироничен и немножко циник, и его хватало ненадолго. Ярче тебя был и Юра Мелихов, тяжелый, ширококостный, озорной, опасный в ярости — истый гонщик по характеру. Мелихову нелегко давались горы, подъемы, но на спусках он был король, и когда на сумасшедшем вираже у других свистели и выли тормоза, Юра пушечным ядром проносился мимо, непостижимо успевая мимоходом царапнуть соперников презрительной усмешкой. Я уж не говорю о Вите Капитонове, который как-никак олимпийский чемпион: он был отважен и везуч.

Что же тебя-то сделало гонщиком экстра-класса? Два свойства, пожалуй. Во-первых, быстрый, острый и практичный ум. Ты мгновенно разобрался в тактической игре и научился делать в ней только верные ходы. Очень вскоре тебя уже было не заставить приложить лишнюю калорию усилий, если рядом ехали конкуренты: пусть, считал ты, они работают на трассе, я же — на финише. А их естественное недовольство ты смягчал улыбкой своей, шармом. Во-вторых, Гарик, ты всегда хорошо спал, что бы ни случилось сегодня и что бы ни предстояло завтра. Была в тебе душевная ясность и, видимо, вера в судьбу. А значит, спокойные нервы.

Если я регулярно и много писал о каком-либо виде спорта, то непременно в одного спортсмена влюблялся. Почему, за какие твои замечательные качества я полюбил тебя, об этом, кажется, выше сказано, а если не до конца, то ведь любовь, в сущности, необъяснима. Только когда ты в 1962 году выиграл гонку Мира, я был счастлив, ей-богу, не меньше тебя. Был очень ясный день в Варшаве, трава стадиона слепила зеленью, небо — голубизной, трибуны — пестротой, но я не поручусь, что слезы у меня текли от этой ослепительности и у тебя тоже, и как же крепко мы тогда обнимались!

Леша Петров серьезно и ответственно сказал мне, что решено в случае победы сбрызнуть тебе усы, и я легкомысленно передал об этом в свою редакцию, а Леша-то разыграл меня — вот была неприятность!

Но я расскажу о другом — как ты стал капитаном команды. Эту историю мало кто знает, но времени прошло порядочно, и можно открыть секрет. В Варшаву на старт велогонки Мира 1961 года капитаном приехал Виктор Капитонов, олимпийский чемпион. Он старательно готовился, полный желания доказать, что его римская победа была не случайной. Однако в тот год Мелихов оказался на голову выше всех и пошел выигрывать этап за этапом. А есть у нашей — да и не у нашей, любой, пожалуй, шоссейной команды — неписаное правило: если кто-то выходит в лидеры, остальные обязаны неукошнительно его поддерживать. И вот был этап на Берлине: длинный, двести с лишним километров. В отрыв ушла небольшая группа, в которой наших не было, да и вообще особо приличных гонщиков не было, так, слабаки. А до-

стать их не смогли. Мы едва не проиграли. Вечером наш тренер Леонид Михайлович Шелешнев собрал команду, пригласил меня — обычно журналистов тренеры на такие мероприятия пускать не любят, но тут случай был особый. И в весьма остром разговоре выяснилось, что капитан команды Виктор Капитонов в ходе гонки решил сблочноковать Мелихова, не дать ему возможности уйти вперед. Другими словами, Капитонов, стремясь выиграть сам, нарушил закон товарищества. Горячее всего, яростнее судил тогда Виктор ты, Гарик. И капитана переизбрали — выбрали тебя. Самого молодого.

Я не сразу сумел в должной мере понять, за что именно тебе была оказана такая честь. Только на следующем этапе я кое в чем разобрался. Капитонов тогда вел себя как настоящий боец, отбивал все атаки, ликвидировал все отрывы, опасные для команды и для Мелихова, и до того «набросался», что сознание потерял на стадионе. Как же хлопотал ты над ним, Гарик, как разыскивал молоко, чтобы его отпить, и заботливо вливал сквозь длинные, намертво сцепленные зубы! И позже, на финишах других этапов, я видел, как ты, сойдя с седла, не успев даже умыться, бежал узнавать, все ли приехали, всем ли хватило сосисок и чаю, не нужно ли кому чего.

...Пять лет я не бывал в гонке Мира и, значит, не видел тебя. Только время от времени, к праздникам, из Сочи приходили поздравительные открытки, подписанные: «Гайнан С.».

Всего пять лет прошло, но резко переломилась судьба нашего велосипедного спорта. Что с ним стряслось — это разговор долгий и сложный настолько, что вести его детально в этом письме я не берусь. Во многом, вероятно, виноват Шелешнев — человек, скроенный из противоречий. Говорят, к методике он подходил чисто эмпирически, более того, гадательно, на авось. Говорят, тяжелыми нагрузками, применяемыми поголовно, без учета конкретного человека, кое-кого «замучил». Говорят опять же, что, долгое время безраздельно царя в сборной, он не вырастил тренера себе на смену, и все его многочисленные помощники играли при нем роль механиков, прислуги, не более. И в то же время Шелешнев как тренер-лоцман, тренер-рулевой, твердой рукой ведущий команду по дорогам многодневной гонки, был незаменим. Но и он, как говорится, «пошел на понижение», и другой, даже под стать ему, не нашлся.

И вот пять лет спустя я снова сел в машину с буквой «П» (пресса) на красном номере, а ты, Гарик, вывел команду на старт. Команда была гораздо слабее той, прежней, и из золотой шестерки в седле остался ты один.

А почему один? Не потому, разумеется, что был их моложе. Все равно 32 — возраст критический, когда притупляется острота реакции и труднее поймать тот единственный, неповторимый миг, когда надо крепче нажать на педаль. А именно этот жим, обозначающий начало рывка, должен быть для соперников неожидан и мгновенен, как нокаутирующий удар, и тогда рывок становится неотразимым.

Что вообще заставляет спортсмена, когда все сроки побед позади, упорно цепляться за прошлое? Любовь, страсть — понимаю, и об этом, что называется, писано-переписано. Но разве одна только страсть? Не боязнь ли отказаться и от славы и от неких вполне ощутимых благ, связанных с этой славой? Не страх ли перед будущим, которое порой неизвестно, потому что, во-первых, стать тренером сумеет не всякий, а, во-вторых, между соревнованиями и сборами учиться можно все-таки кое-как, с пятого на десятое?

Но о тебе, Гарик, я так не думал. Я мечтал увидеть прежнего Сайдухину, которому — бываю же на

свете чудеса! — не три, а два десятка лет, и все при нем: задор, отвага, обаяние. Положа руку на сердце, могу сказать: самый-то исход гонки был для меня столь же (а может, малость менее) интересен и волнующ, сколь твоя в ней судьба.

Я смотрел и гадал: тот ты или не тот? Кажется, тот.

И когда по старой памяти ты подходил ко мне на стадионе после финиша, чтобы сказать что-то самое главное, — а говорил большей частью одно: «Ну, коллективчик мне достался, ну, дуболомы», — я не воркотню, не пустое брюзжание слышал в этих словах, но справедливый гнев работника на лентяев. И подчеркнутое в твоём тоне слово «мне» слух не резало.

Потом лидером стал Володя Черкасов. Честно говоря, он не экстра-гонщик, так, середнячок. Этапов он не выигрывал, просто удачно сложились обстоятельства. Компетентные лица сочли его калифом на час, но день шел за днем, а он держался в лидерах, хотя от соперников его отделяли мизерные секунды. Простой, честный и прямолинейный парень, он жестоко страдал от неспособности закрепить свое положение, от боязни не сегодня-завтра проиграть, от бессонницы и робкой надежды. И вот тут-то мне стало казаться, что ты, Гарик, не слишком стараешься для его выигрыша, что он, Володька, представляется тебе много ниже тебя и твоих славных сверстников, — стоит ли, мол, из-за такого ломаться?



Этапа за три до финиша гонки сложилась запутанная ситуация. По указанию тренера Виктора Вершинина тактический наш план сводился в те дни к тому, чтобы отпустить вперед из общей группы кого угодно, только не ближайших соперников Черкасова. Уйти, значит, в глухую защиту, поскольку нападать сил не было. И вот уехала одна такая группка, а с ней, Гарик, ты. Разрыв рос и рос, дошел минут до десяти, как вдруг в нашей машине с ужасом сообразили, что, если так пойдет дальше, Черкасов проиграл — не ближнему, а дальнему конкуренту.

«Неужто, — подумали мы, — ты, Гарик, такой мудрец и стратег, не сообразишь что к чему? Неужто не затормозишь?» Наша машина рванулась вперед, мы догнали твою группу, и я на пальцах, голосом, вернее, истощенным криком, попытался растолковать тебе

ситуацию. Ты понял, кивнул. И прибавил скорость. Да, прибавил, я это видел отчетливо.

Володька Черкасов проиграл. Он даже просто сошел с трассы. А ты стал вторым. Утром ты мне сказал — помнишь, что ты мне сказал? — «Я знал, что рано или поздно так случится. И что я своего не упущу. Я ждал этот момент. И дождался».

Что ж, Гарик, у тебя появился реальный шанс еще раз выиграть гонку. Какой ценой, неважно, но выиграть. Вряд ли в этот момент ты вспомнил Берлин, год 1961-й, собрание, на котором тебя выбрали капитаном взамен Виктора Капитонова. Я вспомнил.

Но ты, Гарик, не выиграл. Да и не мог. Хотя доказывал, горячился, кипел. Была та же Варшава, тот же стадион, только солнце тусклее — или это казалось? Ты стоял возле меня и винил всех, кого мог. Меня, что во время гонки с раздельным стартом я не кричал тебе секунды твои и соперников, а я, честное слово, кричал. Команду, что она не помогла тебе выиграть промежуточный финиш: «А уж если бы я загасил промежуток, то здесь, в Варшаве, я бы себя показал!» Гарик, Гарик, ты же сам дня за три до того откровенно признался мне, что у тебя нет сил финишировать, нет рывка. Тебе тридцать два, и это тяжело.

Я увидел вдруг, что у тебя потухли глаза. Я вспомнил, что за всю гонку ни разу не заметил твоей лучезарной улыбки.

Что случилось, Гарик? Я понимаю, с седлом расстаться трудно. Может, не до конца, не до всей боли, но понимаю. Однако разве стоит отказываться от прекрасного прошлого ради попытки еще год усидеть в седле?

Ты усидел. Ты опять этим маем повел команду на трассу гонки Мира.

И, думая об этом, я ловлю себя на том, что мне трудно, даже просто невозможно вычеркнуть из блокнота, из души, если хочешь, тебя с твоей прежней улыбкой, что солгал я, написав «разлюбил». Люди не меняются так вот вдруг, и, как ни пытаются жизнь ломать и мять их характеры, основа остается прежней, а сказать себе, что прежде я тебя выдумывал, я не хочу и не могу.

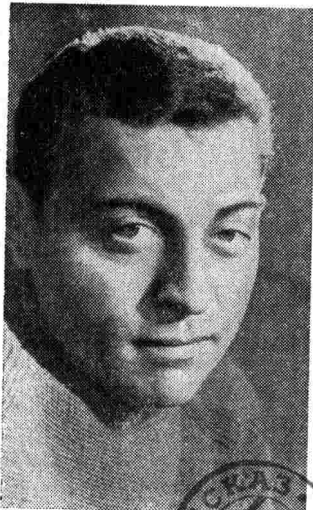
Все эти дни, когда под колеса твоего велосипеда будут лететь асфальт, брусчатка и клинker гонки, я буду болеть за тебя. Но мне не победа твоя дорога, не любое высокое место в итоговом протоколе, а сам ты, Гайнан Сайдухжин — товарищ, спутник, спортивный герой. Так что же будет, Гарик, моя молодость?

Р. С. Велогонка Мира закончилась. Наши заняли второе место, а ты, Гарик, — девятый. Это даже лучше, чем ожидалось, так что Виктора Капитонова, нового тренера, можно поздравить с успешным дебютом.

Виктор сказал о тебе коротко, что ты — работал, был организатором. Особенно на больших этапах, то есть когда трудно.

«Работал», «работник» — это у велосипедистов большая похвала. И не только по словам Виктора можно судить, что ты ее заслужил, — по твоему лицу. Очень уж ты похудел.

И смотря на эту твою фотографию, я думаю теперь, что пусть не традиционная, многократно описанная улыбка останется от тебя в памяти, а вот это худое, суровое и страстное лицо.



Владимир Гоник

КРАСИВЫЙ ДОСУГ ЛОЖКИНА

Они приехали большим автобусом и долго не могли выбрать место; мужчины бродили по лесу — искали поляну, женщины сидели на траве у автобуса, вели свои разговоры и ждали.

Потом все шли по тропинке в глубь леса, несли корзины с провизией.

Поляну с трех сторон охватывал лес, и только с одной стороны блестело на солнце озеро; деревья подступали к воде, но на поляне было просторно и росла густая трава.

Было жарко, мужчины остались в трусах, а женщины — в купальниках, потом быстро и ловко расстелили на траве скатерти, разложили снедь, расставили бутылки.

Массовый выезд на природу начался.

В лесу мужчины носили женщин на руках.

— Ложкин! — закричала машинистка Зина. Голос ее звенел, как призыв боевой трубы. — Товарищ Ложкин!

Он задумчиво поднял голову.

— Я занят, — сказал техник и постучал по шахматной доске. — Я решаю задачу.

В душе Ложкин страдал. Стоило тупому верзиле Бабакину поднять девушку на руки — она начинала хихикать и повизгивать.

«Как мало им нужно, — с горечью подумал Ложкин. Он смотрел на играющих под солнцем сослуживцев. — А в мире столько проблем».

Приятно, конечно, стянуть рубаху и подставить тело теплему ветерку и солнцу. Но как тогда думать о чем-то большом и важном?

Ложкин остался в ботинках, в брюках и в рубашке с галстуком. После завтрака все разбрелись.

«Как это мелко, — подумал техник. — На земле еще столько нерешенных вопросов. Как эгоистично... Зато я живу богатой духовной жизнью».

На поляне было шумно и весело. А как хорошо собраться всем вместе и почитать вслух! Или Ложкин поделился бы своими мыслями: в каждом человеке есть струна — тронь ее, она зазвучит, и люди будут духовно близки и будут жить богатой, наполненной жизнью.

«За них нужно бороться», — подумал Ложкин. Он встал и подошел к Бабакину, который стоял в длинных черных сатиновых трусах и улыбался.

— Вы знаете, — сказал техник, — в Полинезии можно встретить матриархат.

— Да? — спросил Бабакин и посмотрел на Ложкина. Тот спокойно ел бутерброд.

— Вы, я вижу, любите поесть?

— Нет, я равнодушен к еде, — с достоинством ответил техник. — Просто это помогает сосредоточиться.

— А почему вы не разденетесь? Ложкин хотел сказать, что для него главное — это духовная

жизнь, но не успел. Бабакин подпрыгнул, повалил техника, измазал его губы маслом, повозил по траве и, вскочив, вприпрыжку побежал, путаясь в длинных трусах, к воде.

«Что от него еще ждать!» — подумал Ложкин, поправляя галстук и облизывая с губ масло. Он взял несколько бутербродов, сел в тень и открыл справочник.

Все, что здесь было написано, было так тонко и значительно и так облагораживало, что Ложкин чувствовал, как, читая, он становится лучше, умнее и выше. Он медленно ел бутерброд, читал и старался запомнить прочитанное. Иногда он поднимал голову и рассеянно смотрел по сторонам.

На траве белели расстеленные скатерти с оставленной едой и бутылками; по всей поляне были разбросаны корзины и одежда; и плеск воды, голоса людей, стук мячей и крик транзисторов слились в веселый, звонкий шум: эхо прыгало и бежало по лесу.

Все это было недостойно того, что он читал!

«Их можно пожалеть, — подумал он, — все это так мелко в сравнении с настоящей жизнью, они сами себя обкрадывают».

Он поднимал голову и с сожалением смотрел на сослуживцев и жалел их, как детей, мудрой взрослой жалостью.

Но они не знали его мыслей и затеяли грубую игру — старались попасть в него мячом.

«Ограниченные люди», — подумал техник. Но мяч прыгал, больно бил по телу, отвлекал и заставлял защищаться. Ложкин сел за дерево, его оставили в покое.

«Кто живет духовно, всегда одинок», — подумал Ложкин и вздрогнул. Рядом с собой он увидел стройные женские ноги.

Он не поднял головы и старательно смотрел в книгу: в который раз, не понимая смысла, он перечитывал одну и ту же строчку.

— Ло-о-ожкин... — нежно пропела машинистка, опускаясь на траву. Он сделал вид, что занят чтением, и не смотрел на нее. Но она травинкой стала щекотать его шею и ухо. Ни один мыслитель не мог бы работать в таких условиях.

Пальцем он заложил страницу и строго посмотрел на машинистку. Она играла стебельком и, улыбаясь, поглядывала на Ложкина.

— Ложкин, — сказала она. — А что вы читаете?

Он с сомнением посмотрел на нее. Но лицо ее было искренним и честным.

«Человеку необходимо понима-

ние», — подумал техник. Он взглянул ей в глаза.

— Вы знаете, Зина, самка комара откладывает тысячи личинок, — сказал он тихо и откровенно.

Он хотел, чтобы она спросила у него еще что-нибудь, а он ответит, и между ними установились бы те редкие человеческие отношения, когда люди все понимают и доверяют друг другу. Он поймал ее взгляд и почувствовал, что они уже духовно близки.

— Я очень рад, — сказал Ложкин, глядя ей в лицо. — Вы знаете, Зина, если растопить весь лед, вода на много метров покроет землю.

Он видел, что она его понимает, и испытывал радость.

— И у мыши и у жирафы одинаковое число позвонков, — сказал Ложкин, радуясь тому, что может быть с ней откровенным, и оттого, что его понимают.

«Как хорошо, когда люди духовно близки», — подумал он, глядя на нее.

— Человеческий мозг содержит шесть миллиардов нервных клеток, — сказал он тихо и доверительно посмотрел на нее.

— Давайте перейдем на ты, — сказала она, подняв на него глаза. Ложкин поморщился.

— Ну зачем так... — сказал он огорченно. — Зачем так сразу. Это успеется. Зачем опешать... Мы еще недостаточно узнали друг друга.

— А вам не хочется меня обнять? — спросила она.

Ему показалось, что он ослышался. Воздух стал вдруг густым, стало трудно дышать.

— Как обнять? — спросил он упавшим голосом.

— Руками, — просто ответила она и подняла брови. — Разве это трудно?

— Я не понимаю вашего вопроса, — сказал он с горьким достоинством. У него заныло в груди. — И вы... и вы... — горько повторил Ложкин, сокрушенно качая головой.

— Что и я? — невинно спросила Зина.

— И вы, как все, — сказал Ложкин.

Она засмеялась — смех причинил ему боль.

«Это отвратительно», — подумал техник.

А Зина вскочила, позвала других женщин, и они подняли техника и под смех мужчин, понесли его к озеру; кто-то наигрывал на гитаре похоронный марш. Лес звенел от хохота, эхо скакало от дерева к дереву, гомон голосов напугал птиц.

— Я не хочу, пустите меня, вы не смеете! — кричал техник, но среди шума и смеха его не было слышно.

Они принесли его на берег. Дружным хором все прокричали:

— Ра-аз, два-а, — и кратко, — три! — и бросили его в воду.

«За убеждения...» — успел подумать Ложкин, окунаясь с головой. Вода ударила в нос.

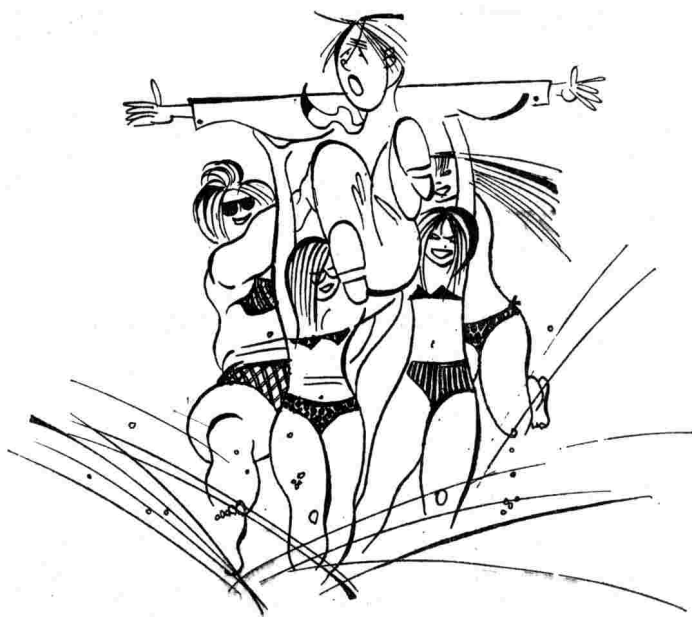
Он встал, сделал два шага к берегу и остановился, он стоял по колено в воде и смотрел на поляну, с одежды бежали ручьи. Все прыгали, и смеялись, и радовались, он стоял и молча смотрел на них.

Ложкин разделся и на кустах развесил одежду. Он сел на траву и открыл книгу. Древние греки уединялись и в тени деревьев думали в одиночестве. Теперь и он был наедине с природой и мог спокойно размышлять. Он раскрыл книгу.

«Подумать только! — удивился Ложкин. — Шерсти одной овцы хватает на два платья».

Он немного подумал над этим, потом расставил фигуры и решил задачу в три хода. Потом он снова почитал, размышляя над прочитанным. Ложкин был счастлив: он жил богатой внутренней жизнью. Он подумал, что хорошо бы

Рисунок Г. Саевича.



Он не двигался, ничего не говорил и не выходил из воды. Люди смеялись, но уже не так весело; потом они перестали прыгать, а смех затих, лишь одинокие его всплески были слышны на поляне; потом стало совсем тихо. Все стояли и молча смотрели на Ложкина.

В тишине он вышел на берег, поднял упавшую книгу, взял шахматную доску и, не говоря ни слова, ушел в лес.

— Ну что вы, Ложкин, что вы!.. — сказал вслед кто-то, и все стали его звать.

Он шел, не останавливаясь, пока не стихли голоса, пока вокруг не сомкнулась тишина, пока не стали стеной деревья. Теперь он был один.

В тишине он услышал птиц. Под слабым ветром шумели листья, а солнце играло в траве яркими бликами, и мягко светились березы.

остаться в лесу бродить и размышлять; вместо службы в конторе среди грубых людей он слушал бы пение птиц и шум листьев, читал бы любимую книгу и решал шахматные задачи.

«Как было бы прекрасно, — подумал Ложкин. — Жаль только, что не с кем поделиться».

Солнце, должно быть, шло к закату, в лесу стояла густая тень, яркие блики уже не играли на траве.

— Автобус может уйти, — подумал Ложкин. Он вспомнил Зину и закрыл книгу. Может быть, сейчас этот тупица Бабакин носит машинистку на руках.

Ложкин нашел на земле толстую и длинную сухую ветку, поднял и двумя руками поднес к груди. Тяжеловато, но ничего, нести можно, Зина не тяжелее.

Он пошел назад.

КАКОВ ВОПРОС —



ТАКОВ ОТВЕТ!

Галя К-ва, г. Караганда.

Дорогая Галочка!

... У меня тоже возник вопрос. Чаще всего любовь приходит весной. А можно ли влюбиться в другое время года?

ОТВЕТ: Дорогая Галочка!

Лучше всего для этой цели подходит переменная облачность, ветер слабый до умеренного, температура утром +6°, днем от 13 до 17 градусов тепла. Возможен дождь.

Вероника Кер, г. Челябинск.

Галчонок, милый!

Посоветуй мне, как поступить, если меня любит один Александр, а я люблю другого Александра. Что делать? Дай точный ответ.

ОТВЕТ: Вероника, милая!

Я бы на твоём месте выбра-

ла того Александра, которого зовут Саша.

Мила Пец, г. Кишинев.

Милая Галочка!

Что мне делать?! Можно ли верить гадам? Нагадали, что выйду замуж за Колю, но я люблю Мишу. Как быть? Жду ответа, как соловей лета.

ОТВЕТ: Милая Милочка!

Любовь требует жертв. Дай гадалке еще рубль, и будет тебе Миша.

Юра Д-ов, г. Житомир.

Милая, любимая Галочка!

Я считаю тебя умнейшей женщиной, но ведь женщины, обладающие умом, не славятся красотой, и наоборот. Что ты скажешь?

ОТВЕТ: Милый Юра!

Если это правило распространяется и на мужчин, представляю, какой ты красавец.

Вл. Владин

ПЯТЕРКА ЗА ДЕЛО

Я сидел перед Сергеем Никитичем и маялся.

Перечитал еще раз свой экзаменационный билет, и вдруг меня осенило. На первый вопрос «Принцип относительности и квантовая механика» я прямо так и начал:

— Понимаете, Сергей Никитич, иду это вчера по улице, вдруг вижу пожар! Не раздумывая ни секунды, бросаюсь в огонь, выношу парализованную старушку, девочку-дошкольницу и собачку. Хорошая такая собачка, пушистая... Руки вот немножко обжог.

— Позвольте, так это о вас писали в «Вечерке»?

— Обо мне, — смущенно сказал я.

— Ах, какой вы молодец, просто герой! — С этими словами взволнованный экзаменатор вынул газету и звенящим голосом прочел заметку:

Заметка называлась «Неизвестный скрылся».

«Мария А., как всегда, утром торопилась на работу. В спешке она забыла выключить электрический утюг, телевизор, магнитофон, пылесос и электробритву. Кроме того, Мария не убрала в укромное

место спички. Они лежали в кроватке трехлетней дочери Людмилы В., которая оставалась в комнате одна вместе с парализованной бабушкой Виолеттой В. и больной Г.

Девочка вместо того, чтобы, как всегда, сесть за рояль и разучивать свои фуги Баха, взяла спички и... Последствия не преминули сказаться: малышка подожгла инструмент. Сначала загорелись белые клавиши, потом черные, а вскоре уже пылал весь дом.

Быть беде, если бы мимо в это время не проходил невысокий паренек в замшевом пиджаке, галстук-бабочке и джинсах. Не раздумывая ни секунды, он взбежал на 12-й этаж и выломал дверь. Затем, взяв в одну руку внучку, в другую бабушку, осторожно начал спускаться по водосточной трубе.

Люди были спасены! Но юный герой помнил, что где-то там, наверху, жалобно лает собачка. Хорошая такая собачка, пушистая. Его пробовали удержать, но где там! Молодой человек опять исчез в дыму, чтобы вскоре вновь появиться с болонкой.

На вопросы постового милиционера Степана Д. юноша, зардевшись, ответил: «Зачем вам мое имя? На моем месте так поступил бы каждый!» После чего вскочил в проезжающий мимо трамвай и скрылся. Кто ты, юный герой, отзовись!»

Сергей Никитич кончил читать и вытер слезу.

Тут-то все и началось!

Меня поздравляли, качали. Откуда-то вдруг появился декан. Он ласково поворошил мои волосы и тихо спросил:

— А чего ж не назвали? Из скромности?

— Из нее, — зардевшись, отвечал я.

Сергей Никитич поставил мне пятерку, и тут я понял, что дело кислое.

В отчаянии бродил я по городу. И вдруг, когда стало ясно, что единственный выход — это забрать документы из института, надо мной раздался душераздирающий крик: «Помогите! Горим!»

Раздумывать было некогда. Мне представлялся случай доказать, что пятерку мне поставили за дело. Я буквально влетел на двенадцатый этаж. Выбил плечом первую попавшуюся дверь и чуть не свалил стоящего за ней плотно-го мужчину в сетке-безрукавке и пижамных штанах.

— Ну, чего хулиганишь?

— Я... — заикаясь, начал я, — мне бы этого... как его... из огня бы кого вынести... подвиг бы какой совершить...

— А мы без сопливых... Сами совершим, если надо будет.

Из глубины квартиры вдруг раздался старческий голос:

— Федор, кто там? Мосгаз?

— Не отвлекайтесь, мамаша. Упаковывайте телевизор. Горим ведь...

И он захлопнул дверь перед моим носом.

Я в растерянности стоял на площадке. Дыму все прибавлялось: Вдруг раскрылась дверь, и Федор сказал:

— Ты в 138-ю ворвись. Может, там кого спасать надо.

В 138-й квартире действительно были девочка и старушка, но старушка вполне бойкая. Она вежливо отказалась от услуг и сама вывела одетую внучку. Старушка посоветовала взломать дверь у

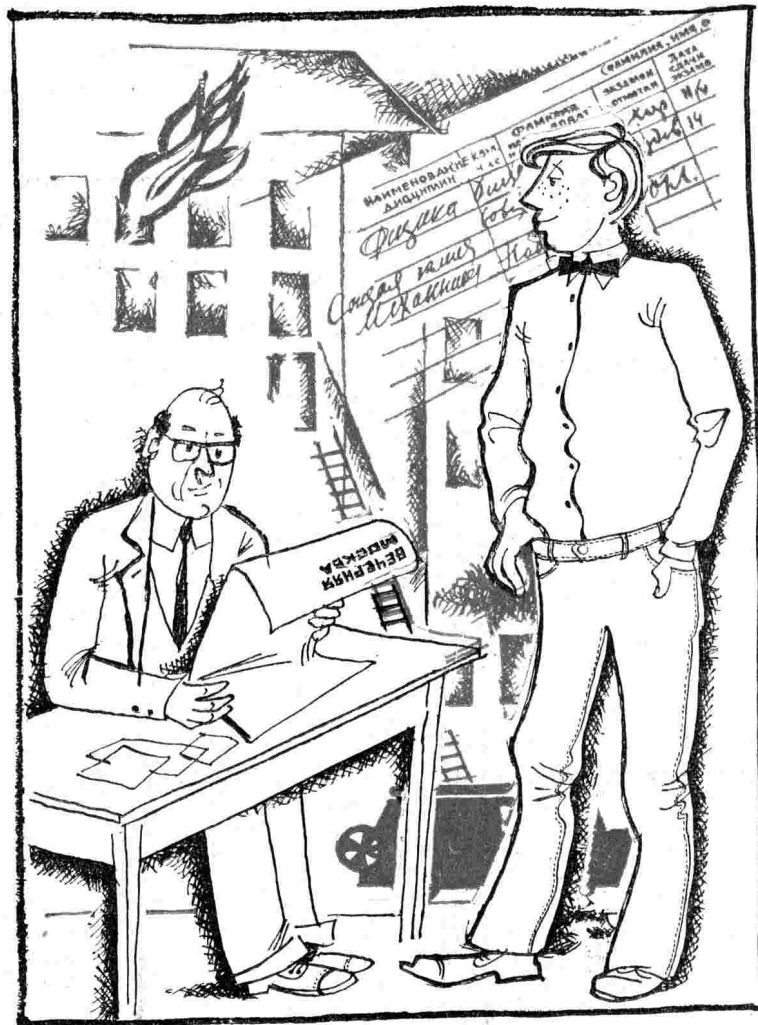


Рисунок Игоря Сусллова.

каких-то Ивановых, что этажом ниже. «Но мне нужен двенадцатый этаж!» — взмолился я.

— Ничем не можем помочь, — сказала внучка.

В полном отчаянии я бросился в огонь, спас из квартиры напротив молодую учительницу, спас пожилого пенсионера, спас нескольких детей... Для моего подвига везде чего-то не хватало: либо рояля, либо девочки, либо болонки... Я метался по дому, уже не обращая внимания на этаж, и спасал, спасал! Вдруг в одной из квартир мне наконец повезло: в дыму стояла немощная старушка, плакала девочка.

И здесь меня осенило: я быстро перенес их на двенадцатый этаж, в пустую комнату, туда же доставил с большим трудом найденную болонку из квартиры

84-й. Попросил моего знакомого Федора помочь мне внести с третьего этажа рояль и принялся совершать подвиг...

Внизу меня встречала толпа. «Кто вы? Назовитесь!» — кричали люди, а симпатичный милиционер уже вынимал ручку и блокнот.

Но я вырвался из рук толпы, торопливо бросив на ходу: «Запишите: «Наоёмместекаждыйпоступилбытакже», — вскочил в проходящий мимо трамвай и скрылся.

Дома я быстро переоделся в обгорелые джинсы и мятый галстук-бабочку. Но вот замшевого пиджака так и не достал. Даже рваного.

Однако, несмотря на это, я все же подтвердил пятерку в своей зачетке.

ОДУВАНЧИК

Я сорвал одуванчик и дунул. Одуванчик не разлетелся большими искрами, одуванчик остался. Я еще раз дунул.

В небе запел жаворонок. Вдали чернел осинник. Где-то рядом журчал поток. Плотная белая головка одуванчика по-прежнему напоминала нестандартный бильярдный шар. Я подумал и дунул еще раз.

— Вот видите, не разлетается! — торжествующе воскликнул кто-то рядом.

Я обернулся. Это был ниже среднего роста загорелый человек в сомбреро. Он резко и сильно дунул на одуванчик. Я рухнул на землю. Целый одуванчик упал рядом.

— Здорово! — вырвалось у меня. — Это ваш?

— Да, то есть наш. Институт мы, — представился он. — Двенадцать лет экспериментировали. И вот итог...

— Не разлетается! — раздалось сзади. Я обернулся. Это был среднего роста загорелый человек в сомбреро. Он сел рядом с нами.

В это время на поляну вышел еще кто-то. Он деловито дунул на одуванчик, записал что-то в тетрадь и направился к нам. Он оказался выше среднего роста человеком в сомбреро.

В небе пел жаворонок. Вдали чернел осинник. Где-то рядом журчал поток.

— А как размножается новый сорт? — спросил я.

Они помрачнели.

— Наш одуванчик пока выводится только искусственным путем, — вздохнул младший научный сотрудник. — Вся беда в том, что семена находятся в ударостойкой головке...



Рисунок И. Оффенгендена.

— Профессор Матьмачехин выдвинул предложение о выведении живородящего одуванчика, — продолжил средний научный сотрудник. — Но, как вы понимаете, это сопряжено с определенными трудностями...

Мы задумались. Вдруг меня осенило. Я закричал:

— А что, если пойти по пути облегчения конструкции головки, значительно снизить ее плот-

ность и, используя локальные завихрения воздуха, создаваемые специальными насосами повышенной мощности, выдувать семена? Их распространение на большие расстояния будет осуществляться постоянно передвигающимися массами воздуха, проще говоря, ветром!

Несколько минут на меня смотрели молча. Наконец старший научный сотрудник произнес:

— Обними меня, гений!

— Гений? — взвизгнул средний научный сотрудник. — Но ведь это возврат к старому! Нас сбросит на двенадцать лет назад, к исходной точке, к разлетающимся одуванчикам...

— Да, они будут разлетаться, но и будут зато размножаться, — прервал его старший. — И это лучше, чем живородящий одуванчик...

Средний научный сотрудник безропотно опустил голову.

Старший снова обратился ко мне:

— Разлетающийся одуванчик, говорите? Но вы подумали о неисчислимых трудностях, которые встанут на нашем пути? Знаете ли вы, что на создание одуванчика, размножающегося подобным образом, может пойти жизнь?..

— Я готов, — прошептал я.

Мне выдали сомбреро.

Мы шли к корпусу лаборатории. У меня побаливала грудь; вероятно, я слишком много сегодня дул. Увидев, как я несколько раз глубоко вдохнул, младший научный сотрудник ласково похлопал меня по плечу и сказал:

— Ничего, это с непривычки. Пройдет...

РИТМЫ МОЛДАВИИ

«В» вы хотите увидеть ищущих, думающих художников, из числа тех, чьи работы не часто можно встретить в московских выставочных залах? Так поезжайте в Молдавию, — такой совет дали мне осенью прошлого года в Союзе художников СССР. Я послушался, поехал и не жалею. Встречи с художниками Кишинева раскрыли передо мной яркую картину упорного творческого труда, горячих споров, в которых нащупываются пути соединения глубоких национальных традиций с современными достижениями изобразительного искусства.

В местном творческом союзе я познакомился с некоторыми молодыми молдавскими графиками. Так родилась идея организации очередной выставки «На стендах «Юности». Вскоре из Кишинева в редакцию прибыли произведения Геннадия Зыкова, Владимира Лавренова, Африкана Усова и Эдуарда Усова. Работы всех четырех художников оказались интересными, разными по тематике и творческой манере.

Рассматривая работы Эдуарда Усова, я вспомнил рассказ одного московского художника, вернувшегося из творческой поездки на теплоходе по Волге. Он рассказал, что в их группе обращал на себя всеобщее внимание молодой акварелист из Молдавии,



А. УСОВ.
Из иллюстраций
к книге «Лирика»
Д. БАЙРОНА.
Гравюра на дереве.

который удивлял своих товарищей самобытным талантом и смелой интерпретацией окружающей природы. Это и был Эдуард Усов.

До сих пор художники из Прибалтики всегда находили много подражателей среди акварелистов из других братских республик. Но молодого молдавского художника нельзя было причислить к числу этих подражателей, так как в его живописи наряду с ярким колоритом и интересными акварельными «затеканиями» всегда присутствовал свой, молдавский национальный акцент. Он был выражен в нежных и теплых тонах, напоминающих цвета южных осенних плодов.

За какой сюжет ни берется Э. Усов, то ли это портрет сельской невесты, то ли молдавский осенний пейзаж, то ли русские равнины на родине Есенина, всюду он вносит свою теплую гамму красок, широкий мазок, неповторимую сочность акварельной техники.

Его однофамилец Африкан Усов приехал в Молдавию, окончив художественно-промышленное училище в Ленинграде. После сложных поисков Африкан пришел к графике. Под влиянием работ В. Фаворского А. Усов стал резать на дереве тонкие мини-

тюры — книжные иллюстрации. На нашей выставке представлены его иллюстрации к книге Д. Байрона «Лирика», выполненные с большим вкусом. Но наряду с графикой малых форм художник начинает захватывать станковую гравюру большого формата. Одну из стен выставки занимает большой лист — «Квартет № 8 Д. Шостаковича». Композиция листа представляет собой как бы памятник погибшим узникам фашистских застенков. Квартет сиропачей, изображенный в виде рельефа на фоне высеченных названий гитлеровских лагерей смерти, исполняет траурную музыку. Вся монументальная композиция воспринимается как величественный реквием, созвучный опусу Д. Шостаковича. Большие размеры эстампов А. Усова иногда кажутся неуместными для графики, но Африкан тянет к двумерным листам, большими форматами он хочет подчеркнуть значимость темы и усилить ее эмоциональное воздействие.

Большую серию интересных линогравюр представил Владимир Лавренов — молодой учитель из города Бельцы. Он получил художественное образование в Смоленске и считает Молдавию своей второй родиной. Тонкая наблюдательность позволила художнику с большой любовью показать уклад жизни колхозного села во всех ее проявлениях, стать настоящим певцом молдавской деревни.

Особенностью всех работ В. Лавренова является четкая композиционная организация листа. Так, в гравюре с изображением семьи табановодов художник умело использовал ритмы гирлянд табачных листьев, развешенных для просушки. Изображая поющих девушек под аккомпанемент музыкантов, играющих на национальных инструментах, он применил светлую ажурную технику, как бы созвучную высоким девичьим голосам. Сюжет сельской свадьбы Лавренов передает плотными экспрессивными штрихами, а композицию листа под названием «Утро» крепко связывает рисунок свешивающегося шести колодезного «журавля», обрамляющего сверху весь пейзаж деревенской улицы.

Геннадий Зыков — молодой график из Тирасполя — идет в искусстве своим путем, не похожим на путь коллег по выставке. Его декоративные листы подчас символичны и целиком подчинены «литературному» рассказу, раскрывающему тему. Многие его работы посвящены борьбе за мир. Например, в композиции «Безмолвие» изображена настенная фреска Мадонны, пробитая орудийным снарядом. Осколки от снаряда, как брызги, прочертили в разных направлениях стену, похоже на то, что они нанесли незаживающие раны светлоте творению древнего живописца. Эта картина настраивает зрителя на серьезные раздумья.

Некоторые художники считают, что чрезмерное увлечение символикой, а иногда и иллюзорностью мешает Г. Зыкову найти самостоятельный творческий язык и тем самым выйти из-под влияния наилучших образцов изобразительного искусства начала нашего века. Пусть молодежь спорит, но пусть она будет неповторимой в творчестве, пусть дерзает и находит то, что может взволновать зрителя и обогатить его духовно.

Ю. ЦИШЕВСКИЙ.

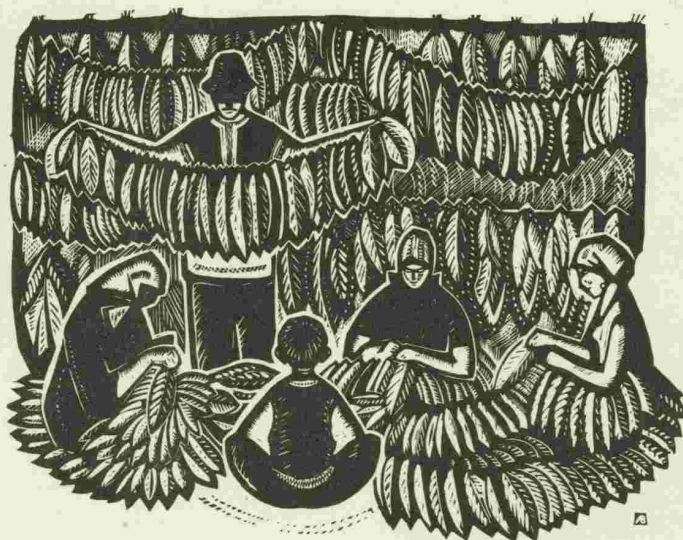


В. ЛАВРЕНОВ. Вечер. Линогравюра.

На стендах
«ЮНОСТИ»

**МОЛОДЫЕ
ХУДОЖНИКИ
МОЛДАВИИ**

Э. УСОВ.
Крестьянский дворик.
[Акварель].



В. ЛАВРЕНОВ. Табакороды. [Линогравюра].



Э. УСОВ. Девушка в профиль.
[Акварель].

Г. ЗЫКОВ.
Безмолвие.
[Гуашь].





Цена 40 коп.



Главный редактор **Б. Н. ПОЛЕВОЙ.**

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: **А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ,**
В. И. ВОРОНОВ [зам. главного редактора], **В. Н. ГОРЯЕВ,**
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), **А. В. КУЗНЕЦОВ, К. Ш. КУЛИЕВ,**
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Индекс
71120